

Новый Журнал

77

THE NEW
REVIEWS

THE
New Review
Новый Журнал



Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать третий год издания

КН. 77

НЬЮ ИОРК

1964

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

*NEW REVIEW, September 1964
Quarterly, No. 77*

*2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.*

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Елена Ишутина — Нарым</i>	5
<i>Д. Кленовский — Стихи</i>	38
<i>Ив. Бунин — Лита</i>	41
<i>Вл. Корвин-Пиотровский — Стихи</i>	43
<i>Мендель Манн — Смерть «Короля Лира»</i>	46
<i>О. Алексина — Стихи</i>	71
<i>Алексис Реннит — О Вячеславе Иванове и его «Свете вечернем»</i>	74
<i>Я. Бергер — Обыкновенная история. Стихи</i>	95
<i>Евг. Замятин — Оязыке</i>	97
<i>Игорь Чиннов — Стихи</i>	114
<i>В. Вейдле — Осмысле стихов</i>	116
<i>Н. Туроверов — Два стихотворения</i>	138
<i>Н. Трубецкой — О«Записках из подполья» и «Игроке»</i>	139
 ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Сергей Маковский — Николай Гумилев по личным воспоминаниям</i>	157
<i>Л. Пастернак — Из записок</i>	190
 ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Д. Анин — Что принять, что отбросить</i>	215
<i>Д. Шуб — Три биографии Ленина</i>	236
<i>Г. Вернадский — Милюков и месторазвитие русского народа...</i>	254
 БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Роман Гуль — «Реквием» Анны Ахматовой. Н. Берберова — I Rediscovered Russia, by I. Don Levine. Морис Фридберг — «Евгений Онегин» в переводе Набокова. Юрий Иваск — Vic- tor Erlich, The Double Image. В. В. — Louis Armand, Plai- doyer pour l'avenir</i>	290

Из-за внезапной болезни Р. Б. Гуля некролог «Н. В. Вольский» будет напечатан в следующем номере 78. Там же будут напечатаны исправления для книги 75 и список книг, поступивших для отзыва.

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET, NEW YORK, N. Y. 10013

НАРЫМ *

ДНЕВНИК ССЫЛЬНОЙ

28.II.43. Поселок Костырево, Новосибирской области. Нарымский край. Глухая ночь. Собственно говоря уже 1-го марта, т. к. теперь без 20 минут 2 часа ночи. До 9 ч. вечера работала в конторе, потом у себя дома. За окнами буран. Порывистый ветер засыпает окна сухим снегом. Все в доме спят, похрапывает и мой товарищ по Нарыму О. И., свернувшись маленьkim калачиком. Такая она жалкая, маленькая, беспомощная, поседевшая. Мы точно загнанные в капкан зверьки. Несмотря на пимы, и ноги и нос у меня холодные. Сегодня часа 2 была у нас «молодая мать» К. Л.. Она решила найти себе цель в жизни — усыновила 3-летнюю девочку, проделав все формальности. В соседнем поселке была мать (из нашего этапа), имевшая, кажется, 10 или 9 детей. Конечно у нее нужда, а К. Л. здесь одна и, по сравнению с многими нами, — «помещица». Поэтому и решила позволить себе эту роскошь — приобрести в Нарыме готовую дочурку, которая скрасит ее одиночество, даст цель жизни (детей у них не было) и.. оградит ее от мобилизационных работ в отъезд, т. к. матерей с детьми до 7-летнего возраста не брали. Мать, имевшая 9-10 детей, в Нарыме без мужа — охотно отдала девочку, так как видела, что ребенок попадет в хорошие руки и иные условия. Согласилась не посещать и не напоминать ребенку о себе. К. Л. преобразилась. Помолодела, повеселела. Занялась ребенком. Нашила богатое для Нарыма приданое и «дочка» не сходила у нее с рук. «Молодая мать» могла часами рассказывать о «дочке», прожившей у нее еще только несколько дней. Мы назвали ее «нашей» нарымской общей дочкой. Я устала и

* См. кн. 76 «Н. Ж.»

хочу скорей лечь, но хочу и записать, а вдруг когда-нибудь приведется прочесть эти строчки и, может быть, с кем-нибудь родными и близким вместе воскресить в памяти минувшее. Когда-нибудь! Когда? С кем-нибудь — с кем? Быть может никогда. А всё же пишу. Говорю не шутя: я прожила 40 лет! (Обычно я прибавляла себе годы) и страшнее всего теперь слово — итоги. Сорок лет! Много! Когда же это промелькнули эти сорок лет? С ними навсегда ушло всё лучшее в жизни. Ушли у меня: молодость, энергия, подъем, душевные порывы, пережитые радости, которые уже никогда не повторятся и останутся только в воспоминаниях! А что еще выпадет на мою долю?! «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне? Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Сегодня отмечаю уже некоторые особенности «солидного» бальзаковского возраста: отяжелевшие ноги... это первый сигнал, моя бедная старушка! Теперь я понимаю тебя, мама, что ноги могут быть тяжелые, а до сих пор я брала твои слова так — на «веру». Понимаю, что значит опухоль ног. «Память — из рук вон плохая», — мама, случалось, говорила, забыв о приготовленном соусе за ужином. Тогда мне было это непонятно, а мама говорила: «доживешь до моих лет — поймешь». И вот я поняла и поняла многое другое, что важнее: «увяданья золотом охваченный, — я не буду больше молодым». Сегодня я осознала, что мне 40, а тебе, мамуленок, теперь уже так много! Моя ты седенькая, беззубая старушка! Кстати, я здесь теряю уже третий зуб. Лечить нечем — можно только ужасно «драть». Вот ослабели и глаза — особенно один — вижу всё, как через дымку. Печальные итоги! Время без милостно отсчитывает дни, а тебя, Николенька, всё нет и нет весточки о тебе. Неужели всё еще томишься в тюрьме? Чем больше я загадываю и гадаю, — тем гадается всё хуже. И я умолкаю; решу, что это недостойно меня и опять невольно забываю. Ну, довольно! С завтрашнего дня опять будем много и допоздна работать и писать будет некогда. Совсем превращаемся в бездушных роботов. Покойной ночи, Николенька! Ты бы посмеялся, как я вырвала в Нарыме третий зуб. Случилась у нас ссыльная, как и мы, рижанка-дантистка. Она живет от нас километров за 40 и к нам пришла без своей козьей ножки. Я рассказала ей о своем визите к местному «дантисту». Она сама предложила мне посмотреть зуб и в два счета вынула его ма-

стерски при помощи... взятых у меня небольших ножниц и своих ловких сильных пальцев. Я держала себя «геройски» и не позволила держать меня, как она предложила соседке, думая, что я пущу в ход руки!

4.III. Слова украинского стихотворения: «Заснулы думы, серце спыть, чы я жыву, чы дожываю, чы можэ так по свити волочусь... бо вжэ нэ плачу, нэ смиюсь»... «Доля, дэ ты? Нэма никого»...

Нет бумаги, нет времени и писать нечего. А, может быть, и было бы что написать, если бы свободно села писать. Но я и так пишу всегда наспех, ночью, когда все спят и так как ложусь последняя, то Феня прозвала меня «копухой» (долго копается). Но Феня не сердится на меня. Она очень добрая и относится ко мне исключительно хорошо. Со мной и с О. И. она вполне откровенна и говорит, что думает. Меня так и подмывает, чтобы записать ее — Фенину рифму: «с..ть велят по килограмму, а хлеба дают по 200 грамм... окуль возьмешь килограмм?». «Не сердись, Елена, да уж очень распирает сказать тебе»...

5.III. Нет керосина, ни свечей, часто изба в подвале, где есть каминок, освещается, добытым откуда-то медвежьим салом. Нарымская экзотика. До 1941 года было лучше, но немногим.

8.III. Сегодня международный день женщины — совпал с первым днем Великого Поста. «Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми... Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми...» Вспомнила церковную службу... и здешнюю наглоухо закрытую, обезглавленную церковь, без креста.

Как-то однажды Феня показала мне проходившего рыжего мужчину, со свернутой налево головой. Нос почти касался левого плеча. Сказала, что это тот, что снимал крест с церкви, а потом играл на гармошке, сидя на куполе. По ее словам, вскоре после этого, его «ударили паралич».

Сегодня женщины, особенно молодежь, веселятся после работы. Женщин освободили двумя часами раньше. У меня работы очень много, и я работала и вечером, т. е. пришла после 1 часа ночи. Эта сумасшедшая работа хранит меня от дополнительной работы «Кати» — но сколько времени я выдержу такую жизнь? Когда конец войне? Красная армия

ЕЛЕНА ИШУТИНА

продолжает успешно продвигаться вперед. А ведь это ведет к развязке. Хочется верить, что весной или летом немцев отбросят. Тогда станет реальной возможность увидеть мамуленьку и сестру. Я так переутомлена, что засыпаю в 5 минут.

14.III.43. Здравствуй, моя седенькая старушка! Я помню сегодня о тебе и мысленно весь день с тобой. Жива ли ты? И что с тобой? Наверно, сегодня вспоминала обо мне... Нет меня и нет подарков от меня. А я живу еще пока. Постарела, сморщилась, пошел 41-ый год, появилась седина, пропала память, отяжелели ноги, ослабело зрение...

Слушала по радио о немецких зверствах в Курске — волосы дыбом, ужас. Тоже читала в польской газете, которая доходит до нас редко и с большим опозданием. Сегодня читала рождественский номер. У нас, кажется, начинается паспортизация. Амнистия предвидела трехмесячный срок обмена наших удостоверений на паспорта. И только теперь местные власти потребовали списки всего нового контингента опять (в который раз), все считают, переписывают. Читать некогда, но в доме появилась книга: «Обрыв» Гончарова. Как-то вечером, при последнем керосине О. И. вслух почитала немного. Как я соскучилась по книге! Я забыла, слушая, обо всем: о войне, Нарыне, о всех бедах. Что стоит теперешняя наша жизнь? Да и можно ли ее назвать жизнью? Кончуя.

17.III. Первый час ночи. Пришла с работы. Принесла немного раздобытого керосина. В свободную минуту (суббота) и ежедневно в вечерний перерыв (от 6.30 — 8.30) будем хоть по несколько минут читать после обеда на десерт «Войну и мир». Такое наслаждение послушать полчаса. Я лежу, а О. И. читает. За пару шелковых чулок я достала «Бесы» Достоевского, и, как гордый собственник, говорю — «моя»; жаль, что много страниц выкурил муж Фени.

А вот стишок из яслей: «Я связала варежки бабушке Варварушке. Думала, подумала и дарить раздумала... Отшлю на фронт бойцу — вдруг достанутся отцу... Ну, а если не отцу, так другому храбрецу. Будет рад и он, и я и Варварушка моя». Этот стишок прекрасно декламирует моя тезка — четырехлетняя девочка. Вместо если, она говорит «еслиб».

Вчера по приказу Верховного Командования эвакуировали Харьков. Я уже писала, что в Костареве живет одна польская семья. Дневником дочери заинтересовался приезжавший

наш делегат из посольства. Она уже вытребована и работает в посольстве в Куйбышеве. Теперь мать уже получила деньги и ждет документы и визы на выезд, очевидно, к дочери, в Куйбышев. Стоят морозы, вьюги, бураны, но ведь по-нашему март и дело должно идти к весне. В спешке время идет быстро. Я уже обзавелась деревянным чемоданом и сундуком, т. к. мои старые от всех перетасовок и путешествий пришли в негодность.

В Парабели в артели металлистов работал заведующим хлебопекарней латвийский адмирал — Слады. Высокий, плечистый, борода лопатой, как у Киржака. Как-то был он у нас, в конторе. Жаловался, что память у него совсем пропала. Видно не старость причина, а перемена профессии. Недавно его осудили на два года... за выпуск недоброкачественного хлеба: сырой; и за то, что не следит за чистотой, в хлебе нашли не то мышь, не то кузнечика. Осудили и угнали в Колпашево. Оттуда навряд ли вернется — режим очень тяжелый. А многие говорят, из тюрьмы выпускают. Очевидно, какая-то амнистия для уголовных. Одна из женщин поджидает мужа. Был осужден за вредительство на 10 лет. Но осужден, по рассказам, невинно. Рассказывают, что в годы, когда преследовались и судились троцкисты — сюда в Нарым, в окрестности нашего Тарска и Путина (куда я чуть-чуть не попала) привозили тысячи людей, и они в Путине гибли от лихорадки и гнуса (мошка). Люди, спасаясь от гнуса, сидели в воде по бороду и умирали от лихорадки... Давно хочется написать хоть несколько слов о гужевом транспорте... Я ежедневно из окна нашего Рыбкоопа вижу 6-8 женщин (польки, румынки, бессарабки, реже латышки), впряженных в сани, нагруженные кирпичом или тесом. Возят они этот кирпич с Кировского завода в Парабель — 4 кл. И так каждый день. Нормальная работа. Сегодня я могла бы еще много писать, но уже второй час, а завтра надо считать, подсчитывать колонны цифр о рыбкоопских приходах-расходах. В нашем Рыбкоопе есть «закрытый» магазин, где есть и икра, и балыки, и сахар, и чай, и шоколадные конфеты «Сказка». Там «отовариваются», т. е. получают продукты, только избранные. Однажды я, к концу месяца, снимала «остатки», т. е. все перевешивала. Я была в числе и в качестве комиссии. Вместо 400 гр. сахара (ежемесячный паек) я взяла 400 гр. конфет «Сказка», давно забыли вкус шоколадных конфет. По приходе домой пили чай с моей

старухой (О. И.) со «Сказкой». Всю зиму в Рыбкоопе нам в связи с ненормальнойочной работой давали настоящий крепкий час с печеньем.

19.III. Меня вызвали с работы и велели отправиться срочно домой за документами (удостоверение и амнистия) и вернуться в Парабель за паспортом. Стол для получения паспорта. Придя в паспортный стол (он же отделение милиции и НКВД) увидела, что всё двухэтажное здание кишмя кишит — везде очереди и всё наши люди (поляки). Все были утром срочно оповещены о немедленной явке. Явились и работающие, и стар и мал, и труженик и иждивенец. Каждый получил для заполнения большую, со многими параграфами анкету. Кто, что, где, когда, как... дедушки, бабушки, прабабушки, кто из знакомых и родных живет за границей и т. д. После не легкого дела выполнения анкеты — в конце ее выяснилось, что я получаю (как и все остальные) не польский... а советский паспорт!.. Я обомлела. Посольство есть, функционирует, недавно были телеграммы оттуда, есть наша уполномоченная. Никаких известий или указаний на этот случай не было. Как же посольство будет опекать, если мы стали советскими подданными? Что будет с нами?! Дойдя до последнего пункта, где надо было расписаться в получении советского подданства, — я категорически отказалась. Ведь я польская подданная и, принимая сов. подданство, теряю свое польское подданство. А ведь у меня на руках документ о том, что я амнистированная польская гражданка и удостоверение подлежит в течение трех месяцев обмену на польский паспорт. В ответ на мои возражения мне стали объяснять, что я, принимая участие в голосовании в Верховный Совет, сама голосовала за присоединение Западной Белоруссии и т. д. Я возражала: Ведь этот документ об амнистии и польском подданстве я получила здесь, у вас, в этом же здании, из ваших рук; ведь наше посольство есть, и я не могу отказаться от своего подданства. Меня повели в другую комнату. Там было другое начальство. Началось повторение в присутствии двух начальников. Затем пошли еще в одну комнату и еще в другую, уже этажем выше. И везде всё одно и то же. Я своё — начальство своё. Я еще раз вспомнила всё пережитое в этом доме, в этих комнатах, при защелкнутых механическими замками дверях и Нику, его тюрьму и была тверда: я от своего подданства не откажусь.

И так эта торжественная церемония «вручения подданства» продолжалась от 10 часов утра до сумерек. Меня водили без конца из одной комнаты в другую. Наконец к начальнику Кунину. Тут разговор закончился: «Я вынужден вас арестовать!» Я почти обрадовалась — напряжение нервов начинало превышать мои силы, и я была рада, что, наконец, отдохну. День кончился, кончились мучения. Кунин позвонил и пришла стража. Меня вывели. В коридоре еще стояли наши люди, с паспортами в руках. Меня отвели в одиночку, во дворе этого дома. Когда, наконец, защелкнулся замок и с грохотом закрыли двери на железную штангу, — я свободно вздохнула — можно хоть немного придти в себя и сосредоточиться. Я ни минуты не сомневалась, что поступила правильно. Это не что иное, как акт насилия над нами и горе тем, кто паспорт возьмет. Я — на правильном пути. Мне больше, чем кому бы то ни было, нельзя отказываться от своего польского подданства. Ведь я не смогу спасать Нику. Я поступила правильно, и я облегченно вздохнула.

Одиночка была малая, темная, вверху была щель в окне, в дверях глазок для наблюдателя. Параша не было и пришлось постучать, но мне сказали, что уже выводили.. В конце концов дверь открылась и стражник вкатил ногой вонючий боченок. Я так же ногой остановила его... «А ты привыкай, привыкай, руками — нечего»... Было холодно, и я всё время шагала туда и назад. Ночью меня опять вызвали и водили в сопровождении стража и волка к начальству — не одумалась ли я. Но я была тверда. На следующий день опять водили, опять то же. Я сказала, что хочу видеться с нашей доверенной. Через несколько часов ее привели. Свидание произошло в кабинете Кунина. Разрешил говорить по-польски. Я спросила ее, правда ли это, что она ночью, с 19 на 20-е получила паспорт? Правда. А какой — польский или советский? — «Советский», был ответ. — А имели ли вы по этому поводу какие-нибудь инструкции из нашего посольства? — спросила я. — «Нет, не получила». Я поблагодарила — больше говорить было не о чем. Я утвердилась в своей правоте. Меня увили.

К принесенной в миске бурде и куску хлеба я не притронулась: была сыта своим духом и размышляла, то стоя, то шагая. Днем падало сверху немного света и, приглядевшись к стенам, я увидела, что все они исписаны различными запи-

сями быв. заключенных. Нашла какой-то гвоздик и тоже написала дату и за что вызывали и как начальник сказал: «мне жаль вас, но я вынужден отправить вас в Колпашево». Я была непоколебима и попросила вызвать О. И., чтобы она дала мне что может из белья. Я решила, что лучше попасть и кончить жизнь в Колпашевской тюрьме, чем очутиться на 20 лет во власти этих «людей».

Прошла еще ночь. Днем пришла опять доверенная с О. И. Меня вывели, и обе они заплаканные сказали, что не уйдут без меня, что абсолютно все в Костареве уже получили паспорта.

Оказалось, что все приняли, кроме меня одной. Отказ 800 человек — это какой-то акт, имеющий значение. Протест одной — кончится очень скоро в Колпашевской тюрьме и не будет иметь значения. Когда 19-го к концу дня я объяснила свое упорство тем, что хочу вернуться туда, откуда приехала, мне ответили: «Такие как вы не возвращаются. Вы бунтовщица!» «Нет! Я действую только от себя и только за себя...» И вот теперь что же мне делать? Надо было принять решение. Колпашево — это последний путь, протест без результата и конец всему. Я уже слышала, что тот представитель из посольства, который мне давал совет лавировать и удирать на лыжах, если умею ездить, — уже умер в Колпашеве. Оттуда мало кто выходит. И я решила, что этот выход ничего не даст. .

Пошла наверх, оставив в приемной ожидающих меня товарок по несчастью. Нервы не выдержали, и я при первом слове расплакалась. Мне предложили холодной воды.. и торжественный акт принятия советского подданства состоялся: я отдала дрожащими руками свою амнистию и подписала согласие в получении советского паспорта... Через полчаса я имела паспорт, при чем национальность была указана белорусская... Возвращались втроем молча. Каждая думала о своем. Был вечер субботы. В воскресенье, я «отдыхала», а в понедельник пошла в Рыбкооп, вперед зная, что уже там работать не буду. «Передайте стол», коротко бросил заведующий. Получив справку о работе в Рыбкоопе, где указывалось, что работала в качестве счетовода по такое-то и уволена на основании кодекса закона о труде, ст. такая-то, параграф такой-то — пошла домой. Необходимо было прийти хоть немного в

себя, помыться, заснуть, залататься. А там подумаем о работе, т. к. безработной жить нельзя, если бы даже было на что жить...

26.III.43. Сегодня видела во сне покойного отца, очень плохо одетую сестру и Ники. Брови и волосы у Ники были светлые, давно не бритый. Потом ушел и скоро вернулся в обычном виде: лицо видела ясно, близко и проснувшись не открывала глаза, желая продолжить сон, но в избе, в 4-х шагах от меня, отделенная ширмой, стояла уже неделю Фенина корова с маленьким теленком, появившимся на свет 3 дня тому назад, тут же в избе. «Буренушка» замычала и сон отошел, действительность напомнила о себе. Буренку Феня взяла в избу из-за сильных морозов, боясь заморозить теленка. Изба теперь наша представляет Ноев Ковчег. В Нарыме случается и не такое..

27.III. Склад делегатуры нашей, где были нерозданные запасы, присланные из Американского Красного Креста, продуктов и одежды, — опечатали. Жаль, что люди не успели воспользоваться, шерстяные чулки и белье лежат, а люди мерзнут..

16.IV.43. Я не отываю, т. к. работаю дома: всё грязное стираю, пользуясь снежной водой, переделываю «туалеты». Опять вернулись скворцы и на сей раз поселились в нашей скворешне. И опять весна и опять свершилось какое-то чудо, и сама не знаю я как и откуда и цветы, и мечты... и любовь. Завтра вербная суббота и душа хочет затеплиться весенней, пасхальной радостью..

Дети из польских детских домов в Томске возвращаются к родителям. Прошли 500 км пешком. С началом навигации все уедут, имея визу в Куйбышев. Позавчера ходили хоронить нашего слесаря. Лопнул нарыв в ухе. Осталась жена 60 лет и дочь. Копая могилу, наткнулись на гроб (не было видно, что копали могилу). Земля мерзлая, а потому решили гроб вынуть; углубили могилу и поставили гробы один на другой. Кто-то сострил по-польски: «хорошо, что поляк наверху»..

Сегодня О. И. пошла в кино, а я осталась дома с Достоевским. Люблю Достоевского. На фронтах без перемен.

24.IV. Великая Суббота. Выпал снег. Льды прошли и ожидается первый пароход. У меня нашлись акварельные краски и

накрасили яиц. Вызывались молодые одиночки для посылки в Нарым на шпалзавод.

26.IV. Польскому послу в СССР Ромеру — Молотовым вручена нота о прекращении дипломатических отношений с СССР.

9.V. Я, наконец, устроилась на работу чернорабочей в подсобное хозяйство в больнице. Все мои попытки найти работу где-нибудь в конторах, редакции и в других учреждениях по счетной части — оказались безуспешны. Сразу охотно было принимали, но, прочитав мою «справочку», просили зайти через 2-3 недели... Наконец, я догадалась в чем дело. «Справочка» оказалась желтым или черным паспортом. А при физической работе справки с прежней работы не требовалось. Привилегия рабочего класса! «Получай 15 в день и жуй...» (Маяковский). И я воспользовалась этой привилегией: приду с работы и свободна! А в Рыбкоопе работой по 15-17 часов в сутки я уже сильно ослабила свое зрение, память притупилась, спина согнулась. Довольно, надо переменить профессию! Добросовестно я смогу и тут работать. Когда пришла в больницу, главный врач предложил мне работу сиделки-санитарки. Надо делать всё, не исключая ношения трупов в мертвецкую. А я, ожидая врача, заглянула нечаянно в оконце избушки во дворе больницы — это была мертвецкая: там на столе были нагромождены мертвцы, и я попросилась в подсобное хозяйство. — «Вам будет тяжело». — «Справлюсь — я сильная». Согласился. «Хозяйственник», одноглазый, довольно добродушный дядя, осмотрел меня и сказал: «Тебя как звать?» — «Елена». — «Так вот, Елена! Ты подбери себе бригаду из ваших поляков, рулить умеешь?» Я сообразила и сразу говорю — нет, рулить (управлять лодкой) я не умею. «Будете возить дрова для больницы... 10-титонной лодкой. Туда на веслах с течением...»

Нашла я только двух: захудалую слабую женщину и 19-летнего бессараба, — ну и я. В первый день работы было холодно, ветрено, то дождь, то град, то снег, то солнце. Поехали мы за 5-6 км в лес за дровами. Парень рулил, а мы гребли. В лес надо было с реки Парабель свернуть в широкий лесной ручей. Нагрузили 5 кубометров и отправились назад уже по течению, но ветер был встречный и 4 раза садились на мель. Напрягаем все силы, а лодки сдвинуть не можем. К

вечеру приехали и в нескольких метрах от берега опять сели на мель и основательно. Пришлось транспорт оставить на ночь, т. к. все разошлись. Бессараб по колено в воде вышел на берег и приехал за нами душегубкой. На утро меньшей лодкой перевезли дрова; по крутым берегам на руках перетаскали их наверх, на кухню (больница стояла на крутом берегу реки), в контору, прачечную, амбулаторию и т. д. Потом пилили, рубили, потом копали огород и сеяли морковь. В Парамбели оживление: пришли первые пароходы, тоже садятся на мель. Приехали фронтовики, уезжают новобранцы. Уезжает и наш хозяин, Феня собирает его.

12.V.43. Я побежденная, покоренная, но рада, что избавилась от Рыбкооповской атмосферы. Сегодня слышала остяцкую шутку: кака кулянка (гулянка), рас не было траки (драки). Не знаю, долго ли так смогу жить.

13.V. У меня без перемен, а ведь в действительности их так много. Хочу еще вернуться к паспортизации. У нас она была проведена молниеносно быстро, в «три мига», с 19-го по 21-е марта, и я считала, что над нами в Костареве и Парамбели совершено очередное насилие: при аресте в Польше у нас отобрали абсолютно все документы; по прибытии на место ссылки все получили документ, начинавшийся словами: «ссыльный или ссыльная такой-то, такая-то, сроком на 20 лет». Затем отобрав этот документ, вручили амнистию, и мы опять стали польскими гражданами, с указанием места рождения. 19 марта 1943 г. у нас опять отобрали амнистию и вручили советское подданство. А месяцем позже, 26.IV.43 г. я прочла о разрыве дипломатических отношений с Польшей. Нас считали, переписывали, давали моральную и материальную поддержку, а что же теперь? Мы «добровольно» и единогласно «безропотно» приняли чужое подданство. И мой протест — ничтожная капля — пропал без пользы. 19.III. я никак не предполагала, что произошел акт такой гибельный для нас. Теперь, видимо, 20 лет — «актуальный». «Заест тебя мошка, через 10 лет выйдешь за остяка...» Еще вернусь к паспортизации. В отдельных поселках, где были наши люди, она проводилась месяцем позже, т. е. в апреле. Когда «паспортный стол» развернул работу в поселке Новиково, расположенном от нашего Костарева за 100 с лишним километров, где между прочим, жил мой б. коллега-учитель, он тоже отказался принять советское поддан-

ство и его с женой и дочерью арестовали и этапным порядком в мороз — пешком прогнали больше чем 100 км к нам, в Парабель, в ту же предварительную тюрьму. В тюрьме, случайно получив газету, он из нее узнал о прекращении дипломатических отношений и понял, что сопротивление бесполезно. После этого, вместе с другими они все «торжественно» получили подданство. При встрече, выйдя из «холодной», он рассказывал мне, что они так страшно переутомились, идя этапом по тяжелой заснеженной дороге (он болен астмой), что войдя во двор тюрьмы, он сказал: «дома»... Мой поступок поднял меня в глазах наших людей на целую сажень, а в Костареве жена нашего сапожника — полька, видевшая как меня под конвоем отводили к вечеру «на отдых», со слезами сказала: «поляки ей этого не забудут», но сама стояла еще в очереди и, получив паспорт пошла домой. А мой поступок не был геройством: это был естественный протест, крик души, инстинктивная самозащита.

Только я и несколько человек знали, сколько нравственных пыток вынесла я за эти почти два года в стенах этого жуткого дома и потому для меня этот поступок был естественной потребностью. А результаты поступка уже начали сказываться: увольнение с места работы, как бунтовщицы, и «документик-справочка», по которому, как зачумленную на работу никто принять не хотел или права не имел — параграфы, статьи и пункты, перечисленные в справке — для меня являются нерасшифрованной тайной, но советские чиновники — осведомлены. И, прочитав справку, сразу меняют тон. Хорошо, что от физических тружеников не требуется «справочек». От всех переживаний в голове сумбур. Трудно думать. Остается сказать: поживем — увидим! Всё зависит от хода войны, а она принимает грозные размеры.

Все дни дождь, холод, буран. Объ бушует. Много жертв. Сегодня анатомировали в больнице утопленницу. Она на лодке провожала брата на фронт. Лодка опрокинулась и спасти упавшую не удалось. Ей 25 лет. Я видела ее в мертвецкой. Лицо страшное. Санитары и санитарки обходятся с мертвецами, как мы с дровами в лодке. Неосторожное движение и тело падает с глухим стуком со стола на пол. Хорошо, что я работаю по хозяйственной части, несмотря на то, что водяные пузыри от первой поездки за дровами еще не сошли.

17.V. Всё то же. Холод, дожди. Работа идет плохо: часто, промокнув до нитки, идем домой. Вода в Оби прибывает, разлилась очень широко. Обласки часто опрокидываются. Вчера, в воскресенье работали за рекой (там огороды больницы) и когда возвращались, волны бросали нашей лодкой (не обласком). На днях, в мартовских газетах прочла о смерти Рахманинова. Умер в Америке. Пишут, что в последнее время часто отдавал доходы с своих концертов на оборону своей первой родины. Родина — глубокое слово. Она может дать много и может взять много... Вчера К. Л. должна была возвратить неразумной матери свою приемную дочь. Дело в том, что мать узнала, что при наличии 9-10 человек детей мать в Советском Союзе получает единовременную денежную награду и потому потребовала ребенка назад. А К. Л. так уже привыкла к ребенку и девочка тоже.

Теперь в Парабели движение — много приезжает народа. Цены поднялись. Ведро картофеля — 100 рублей. Пароходы увозят всё новых и новых призывников. Тунис освобожден от немцев.

19.V.43. Ездим ежедневно на работу три новые товарки по лопате: Феша, Поля и рижанка Валя. Наш «благородный» огородник — одноглазый молодой еврей из Волковыска — Арнольд (торговавший в лавочке) стал вдруг знаменитым агрономом и теперь командует нами, заложив руки за спину. Я не выдержала и сказала ему пару слов правды. Дружба врозь. Прочла в газете от 6.V.43 (у нас это еще очень «свежие» новости) выступление Вышинского о польско-советских отношениях и о причинах разрыва. Образовавшаяся после амнистии армия Андерса бережет себя, не торопясь на фронт.

23.V. Всё еще сеем огороды: свекла, репа, огурцы, садим, поливаем с 8 утра до 8 вечера, час на обед. Обещали варить за рекой обед: похлебка из картофеля и кислой капусты (15 грамм капусты и 500 грамм картофеля). Предложил завхоз соленую конину, но мы отказались. Сегодня я работала одна, сеяла, потом принесла 69 ведер воды.

26.V. Сажали картофель. Я весь день копала, а привилегированные работницы бросали картофель в лунки. По радио на фронте ничего существенного. В Вашингтоне происходит конференция союзных держав; в текущем году врагу будет нанесен мощный удар.

3.VI. Ожидаются холода. Продолжаем сажать картофель и капусту. Вчера я неводником (лодка) ездила за Обь. Надо было перевезти корову. Завхоз командует: «Елена, давай, сведи корову к лодке». А я побаиваюсь коровы — большие рога, злая. Кое-как привела. Очевидно, корове я показалась заслуживающей доверия. Поместили «пассажира» в лодку. Мужчина рулит, а мы двое гребем. Пока пересекли Обь, нас около километра несло. Были моменты более чем неприятные, когда моментально застывало все в теле. На самом глубоком месте неспокойный «пассажир» начинает биться, ступать на край, лодка накреняется и достаточно мгновения, — мы в воде. Мелькают обрывки последних мыслей. Но буренушка утихомирилась и — все живы. Так было несколько раз. Все вспотели. Вернулись, напилили дров за несколько минут до грозы. Жутко на Оби в ветреную погоду.

6.VI (Воскресенье). Взяла выходной, чтобы посадить свой картофель за рекой, на отведенных мне 70-ти метрах. Купленные семена принесла к пристани, лодки не оказалось, а тут подошла гроза. Промотались весь день, устали, а дела не сделали... О. И. (моя старуха, иждивенка) устроилась неожиданно на работу счетоводом-кассиром в Райлесхозе. Вторая неделя адских холодов. В шерстяных чулках, американской зеленой шинели и 2-х платках холодно. Мерзнут ноги. Грозы, град, дожди с холодным ветром. Сажали, пололи гряды. На воздухе аппетит волчий — 600 гр. хлеба в один присест. Организм истощен, жиров нет. Чеснок и зеленый лук плюс колба (листья похожие на ландыши, в большом употреблении).

7.VI. Есть слухи, что нас около 20-го будут куда-то переселять. Будет образована польская колония. Теперь вывозят латышей и бессарабов в Колпашево, Тарск и Иникино. А нас куда? Хорошо ясновидящим.

10.VI. Да здравствует дождь! Работы нет за рекой. Дома. Вымылась, убралась, залаталась, смазала обувь дегтем. Сварила суп и в ожидании трудовой интеллигентки О. И. сажусь почитать Тургенева. Это минуты короткого отдыха, когда невольно забываешь о всех мытарствах и о том, что ты подневольный раб, а не свободный человек. Через 9 дней исполнится два года жизни в «другом районе», как объявили мне при аресте ночью 19.V.41 г.: «Сможете писать письма и посыпать посылки, работать будете по специальности». Никто из

нас не знал, что ни одному слову верить нельзя. А бедный Ника, еще дома, читая в советских газетах объявления о том, что нужны инженеры-землемеры, счетоводы и т. п. для работы на дальнем севере, в Колыме — был готов отправиться туда вместе со мной добровольно, по собственному желанию. Перерыв. Вынуждена заказать себе здешнюю обувь — чирки, что-то вроде опорок. Они из мягкой кожи, не пропускают воду, смазываются дегтем, закрывают ноги до щиколотки. Удобны во время сенокосов. По радио: бои местного значения. Подписка на второй заем. Подписала $1\frac{1}{2}$ -месячный заработок — 225 руб. Наличными внесла 100 рублей.

13.VI.43. Выходной (Троица). Вчера устала до крайнего предела. Высадила и полила 1.200 штук капусты. После работы всё же сажала свой картофель, едва ворочая лопатой не-вспаханный дерн. Уже около недели боль в спине мешает ходить. Вечером едва приползла домой. Сегодня ради выходного были на базаре, купили ведро картофеля, молока и даже — первый раз за всё время — несколько яиц. Испекла свой хлеб.

15.VI. Первый день мошки. Ноги в волдырях; всё тело, где накусано, горит и чешется. Дождь — укрыться негде. Посадила, наконец, свои три ведра картофеля, оставаясь после работы, как и в прошлом году. Мучилась, пыхтела, потела, садила и гадала: чет — нечет — буду ли собирать? Сегодня была военная комиссия для бывших польских граждан от 18 до 50 лет. Уедут, видимо, на-днях. По радио прекрасная скрипка — она умеет плакать. Хочется почитать, но безжалостный рассудок не позволяет, велит стирать, латать, копошиться, точно навозный жук. Лягу — всё болит от усталости. Хочу забыться и заснуть.

17.VI. Приехали ленинградские артисты. О. И. пошла, а я свой билет отдала Гале — усталость взяла верх.

20.VI. Вчера ездила за Обь и вернулась с полпути — было слишком рискованно. Одноглазый Арнольд всё больше допекает. Я не хотела разбрасывать навоз руками т. к. для этого есть вилы, а он меня заставил *Мразь* — не человек... Утром была на базаре; продавала свои пожитки и покупала «жратву» всяную, между прочим, пучек зеленого луку, но самое главное, в первый раз за 2 года (только два года) купила букетик цветов, вроде ландышей, розового цвета.

26.VI. Сегодня я была за Обью на лесозаготовке — все босые и в коротком, без брюк. Пилой спускали осины и березы, обрубали сучья, затем пилили на 50 см. куски, ставя в кубометры.

После большого перерыва сегодня видела во сне тебя, Ника. Ты в присутствии одноглазого взял меня на руки и понес куда-то от Арнольда. Я пыталась остановить тебя, но ты пошутил: «Вам не удобно? А мне очень удобно». Лицо было довольное, улыбающееся. Я проснулась в каком-то радостном подъеме. Вечером зашел сослуживец О. И. из Лесхоза, вернее ее начальник — Василий Васильевич. Было отрадно видеть культурного человека. Сразу произвел хорошее впечатление, хотя не слишком разговорчив. Одет по-нарымски — скромно. Просидели долго, т. к. задержала сильная гроза. При свете молний различали лица, за окном лило. Здесь изумительно красивы закаты и прекрасны утра. В субботу была в тайге. Какая красота! Лес лиственный, масса цветущего, ароматного шиповника. На лугах высочайшая трава, с множеством цветов.

28.VI. Лесозаготовка отложена. Окучиваем картофель. Сегодня с 14-летним мальчиком пилила на берегу реки, у больницы, в грязи по колено, 4 кубометра дров.

1.VII. Окучивали, вернее пололи невероятно заросший картофель. Я положенную норму 0,05 га на 1 день выполняю в два дня. Из 8 человек нормы никто не выполнил. Уже нестерпимо жарко. Наднях призывали девушек от 18 до 24 лет. Годной оказалась и дочка нашей Фени — Галя — строевая. Феня очень озабочена. Даже печь не топила. Теперь тут белые ночи: всю ночь светло. Но жизнь не такова, чтобы видеть и наблюдать красоты. Наднях призванные девушки уедут. Фронт. Люди убивают друг друга, а по радио прекрасная музыка Шопена. Успела уже вымыться. Я бронзового цвета. Никакие пляжи не дадут такого загара. И крем не нужен. Сгорает кожа на солнце и сходит, вырастает из-под нее новая, точно на уже. Но в зеркало смотреть избегаю. Уж больно «хороша».

3.VII. Я мобилизована исполнкомом на сезон сеноуборки от больницы вместе с двумя 19-ти летними девушками (мы все одинокие) в Городищенский сельсовет. До Нарыма пароходом, дальше лодкой. Нарымское словцо «гнус» — значит мошка. Была на пристани. Расписания нет. Надо приходить с вещами и ждать. Говорят в течение 2-х суток «должон» быть..

Сегодня 4.VII. выходной день и всех формальностей, — прописка, расчет, увольнительное удостоверение — получить нельзя. Собираюсь. Новые чирки смазала дёгтем, напекла хлеба (всё за велосипед). Купила за 400 руб. килограмм масла, деревянный чемодан, штаны (тенисные, мужа О. И.), сетку, скрипидар от гнуса, а учиться владеть косой... буду на месте! Не стать привыкать. Лесозаготовка шла сверх ожидания хорошо. А моей мобилизацией, как я узнала, я обязана «одноглазому». Но, может быть, сон будет в руку: Ника, видно, на расстоянии чувствовал, что он издевается надо мной и вынес меня на руках от него.

6.VII. Я еще дома. Всё нет парохода, срок продлен до 8-го.

7. VII. Приехали три парабельских грации. Было странно после 2-х лет покупать билет в кассе. Куда? — В Нарым.. Здорово! Нехорошо, но здорово. Приехав, одну из нас оставили с вещами, а мы две пошли разыскивать. Зашли в поселок, да не тот. Комары съели нас дотла! Духота. В шинели, с котомкой на спине. Наконец отыскали. Остановились в председателя колхоза. Завтра идем на покос. Глухой поселок. Радио нет. Сенокос продлится 2-2½ месяца. Есть плюсы. Поселок рыбный. Жена председателя колхоза — рыбачит.

8.VII. Первый день работы. Ставили «силос». Звучит погречески, а означает зимний корм для скота. Косили траву и складывали ее в свежевыкопанную яму, утрамбовывали, и яму закрывали дерном и землей. Жара, слепни, комары и гнус — все нарымские удовольствия, не хватает лихорадки. В течение дня 3-4 раза дождь. Вернулись, а в комнату через выбитое стекло налетело за день столько комаров, что сна не предвидится.

11.VII. Всё дожди, духота, мокнем до нитки. Косим, когда можно. Нам здесь дают по литру молока и ½ кг. творогу. У хозяйки покупаю свежую щуку. Время тянется ужасно тоскливо. Ночью от комаров надеваю сетку, а ночью еще едят клопы. Я почти не сплю, всё жгу свечу, собираю их с себя: разбегаются они, а через минуту опять нападают. Сплю на полу, на чистом собственном тюфяке с сеном, подушка тоже из сена; но клопы — это неизведанная пытка. А лезут они на меня из-за перегородки, где спят хозяева с дочкой, и они храпят! .

12.VII. Моих шумливых товарок отправили косить за Обь.

Меня, как пока не косящую, оставили здесь. Сегодня день Петра и Павла. Молите Бога за нас.

13.VII. Весь день косила. Начали поздно. Колхозницы получают 400 гр. хлеба, а мы мобилизованные по 600 гр. плюс молоко и творог, и потому я сдала экзамен. Я в покосе всегда шла последняя и пока дойду покос до конца, — меня все, отыкая, ожидают. Вернувшись варила уху рыбную. На ночь уложили в нашей комнате еще какого-то молодого человека из комиссии по призыву лошадей. Нарым — не Европа — здесь всё можно.

15.VII. Идут дни. Особенно тоскливо в дождь, когда мокнем и не работаем. Встаю с восходом солнца. Нет уже часов, их бессовестным образом украл «инженер» Воробьев. Он такой же инженер, как я королева. Вошел в доверие, сказавшись сродни полякам (по бабушке). Соврал, что умеет чинить часы, и я, обрадовавшись доброму человеку, дала для починки часы плюс $\frac{1}{2}$ килограмма южного табаку. Через несколько дней узнала, что мой воробей улетел с моими часами. А мне без них так плохо. Сегодня утром смотрю, а рядом со мной спят большие парни — сопят как паровозы. Председатель почти всегда кого-нибудь должен принять на ночь. За это время я уже привыкла ко всему. Неделя без радио, очевидно идут сильные бои. Несмотря на тяжелую работу (я ночью не могу спать от клопов и переутомления) и обстановку — мне здесь среди лугов лучше, чем в Парабели. Ходим косить далеко и идем лугами, которым нет конца. В солнечные дни луга представляют сказочную красоту. Разнообразие невиданных мною цветов. Трава по пояс. Вспомнила родные места. Там, наверное, солнце еще не взошло. Живы ли они там? Что ждет нас всех? За стеной злая мачеха ругает свою 15-летнюю падчерицу. Противная баба — льстивая, жадная и хитрая — мегера. Вечером пришла почта, писем нет. В «Сталинском Знамени» прочла короткую заметку о гибели Сикорского и других членов генерального штаба в Гибралтаре. Самолет упал и все погибли. Катастрофа была 5.VII, а сообщение 15.VII. Мне стало жутко от этого неожиданного и печального известия. Сикорский — наш оплот и надежда — погиб и чувствую, что эта катастрофа — не несчастный случай. Кому же он стоял на пути?

17.VII. Нарым, говорят, в 1.000 км. от Томска. Сегодня

вдвоем на обласке мы плыли по реке Луке (приток Оби) до небольшого мыса, где ломали тальник. Я, как шимпанзе, в штанах и чирках, лазила по деревьям тальника, кривым как вербы, сломанные ветки связывались лыком в венки и развещивались для сушки. Это зимний корм для скота. Меня сопровождал 11-летний мальчик-сирота, помогал мне, наклонял ветки, драл лыко и звал меня... бабушка! Это в первый раз меня назвали бабушкой — «на, возьми, бабушка, я тебе лык надрал». По приезде, два года тому назад, мне говорили: «давай, девка, возьми» и т. д. Через год я приосанилась и стала тёtkой, а сегодня уже бабушка, несмотря на мои голубоватые штаны. Два года Сибири свое сделали.

18.VII. Пришла с работы раньше — заболела. Часа в 2 пошел дождь. Мы бросили косы, сели на корточки, положив на голову и плечи охапки скошенной травы, которая несколько охраняет от дождя. Через 10-15 минут стали косить, я почувствовала в спине, между лопатками неловкость — думала оттого, что держала траву на голове руками. После обеда прошла два покоса и вдруг коса выпала из рук. Ой! всю спину прокололо и двигать руками не могу. Пошла домой... Это тебя, мать, прострел взял — определила мою хворобу рыбачка. Надо деда Орефия позвать — поставит банки. Это единственный доктор-банщик, но дед Орефий ушел на заседание сельского исполкома. Хотела на всякий пожарный случай черкнуть два слова О. И., но уже не могу: мне всё хуже. Высокая температура и не могу раздеться. Лягу — как была. Промучилась всю ночь. Утром позвали дедушку Орефия.

19.VII. Стачили с меня кое-как платье и дед, осмотрев меня, сказал: «да тут негде и банку то, мадам, поставить!» Банки его были громадные, я таких никогда не видела. И не удивительно, что в эти его банки втянуло все мои богатырские плечи с лопатками. Ни охнуть, ни вздохнуть. Всякое движение вызывает боль.

25.VII. Уже второй день на работе. Обошлось без больницы, но боль еще не прошла. Вместо больницы попросилась на более легкую работу. Не буду косить, а только копнить и сгребать. Сегодня солнечно. Во сне виделась со всеми своими ясно и хорошо и на сенокос пошла бодро. Колотье почти прошло. Боже! Сохрани нас всех! Дай им и мне силы! Я до

сих пор берегла и копила табак и папиросы для Ники. Испортились — пришлось ликвидировать.

26.VII. Опять гроза. Сегодня убило молнией 13-летнего мальчика. Их было двое, удили рыбу на озере, среди лугов. Началась гроза. Побежали. Ударила в грудь, и он упал. Молния крестообразно рассекла землю. Мальчик остался лежать на месте; второго только оглушило, отбросило. Когда мы пришли, левая рука обуглилась, тело в черных пузырях горело.

28.VII. После вчерашней грозы пришло солнечное яркое утро. Чудесная картина! Мы шли широчайшим лугом, а по обеим сторонам прекрасная, девственная тайга. С одной стороны луга лежит, как зеркало, — озеро. Луг — это богатейший ковер со множеством ароматных цветов. Над нами яркое солнце и голубое небо. С другой стороны — березовая роща. Давно не видела такой красоты. Вид берез всегда меня и веселит, и трогает, и умиляет, и вызывает самые хорошие воспоминания. Я была очарована в это утро! Не чувствовала тяжести шинели, мешка на спине и косы, не державшейся на моих узких, несуразных плечах. Я намеренно отстала, шла далеко сзади и любовалась картиной. Мир так прекрасен. Вечером опять той же дорогой возвращалась, идя далеко за всеми.

29.VII. Ежедневные грозы. Укрыться на лугу негде, и я внесла предложение устроить шалаш. Нарубили 4 пары кольев, веток, устроили шалаш, прикрыли свежей травой и прекрасное убежище готово: одобрили. Небольшой дождь вполне безопасен в шалаше. Выходили сухими. Но сегодня лил 2-3 часа, сидели в страхе, т. к. удары грома трещали над головой. Промокли в шалаше и согревали друг друга, сбившись в кучу. Нас было сегодня только шесть.

3.VIII. Некогда, некогда, некогда. Страда. Приходим поздно, уходим рано, без огней. Я уже копню по 20 копён в день и к вечеру едва шевелюсь, а до ночлега надо идти 5-6 километров. Обеды варим на покосе по очереди. Я конины не ем и приношу свою еду. Получаю письма от О. И. и отвечаю ей. Спать хожу из Нового Городища в Старое за 3/4 километра. Удрала от клопов и сплю на втором этаже в амбаре. Прохладно ночью, но идеально просторно, чисто. Ни клопов, ни комаров. Из председательского дома уйти не могу из дипломатических соображений (рыба), а питание при такой работе — вопрос важный. Но порой, когда слышу ее проклятия по адресу бед-

ной девочки — готова отказаться от ее рыбы. «Ах, ты, змея! Ноготь бы тебя проколол, паразит ты проклятый. Отец молил тебе маленькой смерти у Бога — почему ты не сдохла?» Иногда я ухожу, иногда вмешиваюсь... Мне кажется, что я могла бы скосить ее противную голову. Как и чем помочь этой несчастной девочке?

4.VIII. Мне надоело ежедневно чистить щук и смотреть на их хищные головы; глаза рыбачки-мачехи похожи на щучьи. Чищу рыбу всегда у реки, и чайки ждут меня, ожидая добычи. Почти нахально вырывают куски, кружатся над самой головой. Их крик действует на меня неприятно. Было 2-3 дня солнечной погоды и опять дождь. Он идет в день 4-5 раз.

6.VIII. Сегодня опять солнечный день. Косим далеко от дома. Уже с утра я по дороге на место косьбы наслаждаюсь окружающей красотой. Мы шли гуськом узкой тропинкой, среди цветущих трав и местами из-за травы были видны только головы идущих. Не видала я таких лугов. Пришли на место и оказалось — моя очередь быть «стряпкой», т. е. оставаться на месте и варить обед для бригады — махонину (конину). Устроила треног, разожгла огонь и пошла к озеру за водой. Я была даже рада, что можно несколько часов побывать одной. Так тяжело быть постоянно на людях. Последнее время я довольно часто получала письма от О. И. и даже несколько раз приписывал Василий Васильевич, в котором мы сразу почувствовали доброжелательного человека.

Василий Васильевич, или как я назвала «Василий 2» был одинок. Первая жена умерла уже давно, умер и взрослый 19-летний сын. Теперь он давно жил бобылем, был совершенно не приспособлен к условиям теперешней голодной жизни. Не будучи партийным, не пользовался «закрытым магазином» и голодал, как все. Мы, как женщины, больше приспособились, жили одним днем — продавали или меняли, что было менее нужно или, в наших условиях, совсем не нужно и кое-как питались. Когда он навестил нас раз и другой до моего отъезда на сенокос, выяснилось, что живет он одним хлебом, пайком и воздухом. Был порядочный, скромный и сразу внушил нам доверие: с ним мы говорили откровенно, по душе, и он почувствовал искренность, прямоту и бескорыстность нашего к нему отношения. На третьем году нарымской ссылки эта встреча для нас была некоторой наградой за мытарства.

Уезжая, я на прощание пригласила его на скромный «костаревский» ужин; полакомились американским кофе из благотворительного груза («благгруз»). После моей болезни в Городище («прострел») Василий Васильевич в письме к О. И. прислал первую записку. В следующем письме через неделю прислал свою незаконченную лирическую поэму о березке и бурье.

И вот сегодня, будучи «стряпкой», не обливаясь обычным потом, я состряпала, как умела, ответ на мужскую поэму о березке, когда пошла к прекрасному озеру через цветущий луг-ковер. И это свое «состряпанное» произведение послала Василию Васильевичу.

9.VIII. Тоска. Вёдра, хороший погоды всё нет как нет. Вечно мокнем; досушить и сметать собранное сено не удается. Всё тонет в грязи. Наши труды гниют. Поставлено 105 стогов, а нужно поставить 600! Почты не было. Не пошли косить — «льет». По словам хозяйки на пристани много пароходов, барж с людьми. Я всегда ищу и надеюсь, что могу на дороге, на пристани, в толпе с баржи встретить Нику..

12.VIII. Опять дома. На цепи воют от голода 4 голодных собаки. Когда хозяин не рыбачит, собаки не получают никакой еды и воют. Я готова выть вместе с ними. Даже писать не хочется. Сегодня, если прояснится, хотят попробовать сметать стог из сырого сена. Нам надоели уже все сельско-хозяйственные опыты... Нет известий, ничего до меня не доходит. Так хочется, чтобы сразу был взят не только Орел, но всё! и чтобы кончилось это людское безумие.

17.VIII. Солнце. Спас. Я уже забыла какой это праздник. . «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»... Вместе с солнцем, после волны безнадежности, сегодня подъем и бодрость. Барометр пошел вверх. Идем косить. Работали за рекой, напротив поселка. До броду надо было идти 3 километра и на обратном пути переехали обласком, а тенистые берега решили пробрести. Закатали штаны, сняли обувь и пошли тинистым илом. Противное ощущение, когда не знаешь сколько войдет ноги: до колена или до бедра. Рядом прыгало множество разных болотных птиц, не удиравших от нас. Видно принимали нас за новую породу и тоже «болотных». Облепленные тиной — сели в обласки. Мошка покрыла голые части тела и за 10 минут переправы искусала нас жестоко. В

4-х километрах отсюда стоит домик, в котором отбывал царскую ссылку И. Сталин. Теперь там музей. Я не имею желания посещать его. Условия ссылки в царское время были несравненное гуманнее: политические ссыльные были предоставлены себе и еще получали денежное пособие. Мы для 600 гр. хлеба должны переносить всё.

18.VIII. Второй день солнце. Настроение по погоде. Завтра Преображение. Записываю со слов инвалида, недавно вернувшегося с фронта. Перед 7-ым подряд боем он увидел сон (из шести выходил невредимо). Явилась его мать, умершая 20 лет назад и принесла ему новый пиджак, оказавшийся без правого рукава. На его вопрос — почему так? Мать ответила: «не хватило, сынок, сукна — носи покуда так, я тебе пришью». На следующий день ему в бою осколком оторвало правую руку.

19.VIII. Погода — успешно работаем. И мошка и гнус «едят» нас усиленно. После дня, места изъеденные мошкой — сплошной волдырь с невероятным зудом. Продолжаю ночевать в амбаре без клопов.

Вернулись девушки из-за Оби и мне стало хуже: тесно спать, галдят... Пишу реже, но писем всегда поджидаю. О. И. тоже с В. В. поехали на сенокос. Я стала плохо спать — болят руки, ревматизм отозвался и вообще переутомилась. Тяжело косить и косить... и хотя стараюсь питаться возможно лучше — непосильная работа берет свое.

25.VIII. В связи с брудершафтом, выпитым с О. И. в ответ на ее письмо «состряпала» я свой ответ «Сестре»: «Слыхала ль ты, сестра, про Обь-реку?»

27.VIII. Косило нас 8 человек. Налетела гроза. Сильная, отбросили подальше от себя косы-литовки, а сами вырыли в большом стогу, каждая нору для себя, спрятались и луг опустел — точно ни души. Нас 8 человек «начинило» стог кругом (стог был громадный) и когда прошла гроза — я услышала рядом через сено храние. Я, укрывшись в сене, сделала окошечко для воздуха, наблюдала грозу. Было хорошо и не хотелось выходить из уютного, душистого укрытия.

28.VIII. Успение Божией Матери. Стирала и ставила темно-зеленые заплаты на коленях своих когда-то голубых штанов. Идем косить вручную — косилки испортились.

29.VIII. Штурмом взят Харьков.

30.VIII. Часто вижу теперь во сне своих, но сны тяжелые, и днем я под их впечатлением не удержалась — попросила погадать. Свидание будет, но еще не скоро, а ты, Ника, болен, в казенном доме и «меня в мыслях содершишь»... А мне предстоит еще многое...

В бригаде меня называют мужиком (из-за брюк). Идет наш «мужик»! Настоящие же мужчины на покосе у нас лет по 12-16 — остальные на фронте. Управляет колхозом председатель и старики да женщины. Потому от беды и я стала «мужиком».

3.IX. Сегодня ночью постучали в оконце нашего амбара, вызвали меня и сообщили, чтобы к 7 часам утра быть в сельсовете — отправка в Парабель на комиссию военкомата! Всё здесь происходит ночью! Только что получен пакет, призыв касается польских граждан. Конечно, уже глаз не сомкнула. Опять новая полоса жизни. Уже в мыслях путешествовала. Была — узнала. Мой год 1903 подлежит призыву. Собираюсь. Куда же это теперь бросит меня судьба? И какие еще удары предстоят мне?

9.IX.43. Сборы мои продолжались недолго — всё имущество могу сразу без посторонней помощи переносить сама. Не нужен мне рикша, так как сама стала рикшой. Получила расчет от колхоза; справку-характеристику о том, что норму не выполняет «по неумению», хлеб на 3 дня и отправилась на пристань, где пришлось прождать двое суток. Было время подумать о том, какая странница испытаний предстоит теперь, какой сдвиг? Призвали на военную службу мужчин, потом девушек, взяли спецпереселенцев, считавшихся элементом нелояльным. Теперь дошла очередь до нас, до недавно ссыльных и призвали 1903 г. Это значит не только молодых. Что день грядущий мне готовит?

Наконец пришел пароход. К Парабели подошли в густые сумерки. Раздался мощный пароходный сигнал. Выйдя на пристань и пробираясь сквозь сутолоку, — слух мой вдруг пронзила, как электрический ток, знакомая мелодия польской солдатской песенки. Оказалось, что из Парабели и окрестных поселков к пароходу подходила группа наших людей, получивших, как я, призыв и уже сегодня уезжавших в Новосибирск пароходом, которым я приехала. Мы встретились и успели еще проститься. Среди уезжающих была Нися, жившая с нами в

одной избе (молодая, лет 23), шла добровольцем. Уезжали все мужчины. Я, просидев двое суток на пристани в Нарыме, — опоздала. Среди провожавших была О. И. Маленькая, похудевшая, хромая, заплаканная. Она волновалась, что я уеду сегодня, и она останется одна. Песня, прощание, слезы — взволновали меня, и я не умела разобраться в своих чувствах: мне хотелось вскочить со своим мешком на пароход и скорее ехать куда-то подальше отсюда, вырваться, казалось, на свободу... Глядя на плачущую О. И., сердце обливалось кровью. Мне было искренно жаль ее, но выезд из Парабели это шаг к свободе, к чему-то новому, быть может к встрече с Никой. И проводив пароход, мы поздним вечером дотащились домой, измученные нравственно и физически.

Утром 6.IX. пошла в военкомат. Принял меня какой-то военный чин, очень строго грозя арестом за позднюю явку: «vas арестовать следует; почему являетесь сегодня, а не вчера?», и грозно воззрился на меня. А я бесстрашно отвечала: «прежде чем арестовывать — посмотрите мои документы, я два дня просидела на пристани». «А вы что же думали — за вами самолет пришлют. Явитесь 13.IX.43 с документами». И вот я жду этого срока, собираюсь. О. И. колеблется. Обсуждаем и не знаем на чем порешить. Вопрос не легкий: польским гражданам **опять** (это действует Ванда Василевская) **меняют паспорта...** Сегодня снимались и брали справки о месте рождения. Италия капитулировала. Союзники высадили десант. Красная Армия заняла Бахмач и Конотоп. Немцы быстро отступают. Сегодня солнце яркое, все мы возбуждены. Я собираюсь; трудно сосредоточиться: хаос дома и в мозгу..

10.IX.43. Иран объявил войну Германии.

13.IX. Я остаюсь — «переросла» на 8 месяцев. Добровольцев уже не принимают. Мучительные дни колебаний и решений. Суeta. Условная ликвидация «несложного», но всё же необходимого «имущества». Немцы отступают. Взят Нежин.

16.IX. Взяты Новороссийск, Новгород-Северский. Союзники воюют в Италии. Занята Сицилия. Американские и английские войска воюют совместно и приближаются к Неаполю. Бадолио капитулировал.

22.IX. Занят Чернигов. Красная Армия бомбардирует Гомель, преследуя отступающих. Освобождаются знакомые по

1918-1920 годам станции: Семеновка, Злынка, Ромны, Сновск, Мена...

29 и 30.IX. Именины мамы и Сони, и третий раз, третий год... Ради О. И. и Василия Васильевича я устроила нарымский праздничный обед: суп из мясных консервов, купленных 3 года назад еще в вагоне (я всё приберегала для встречи с Никой — и одежду, и белье, и съестное, и папиросы). На второе оладьи из тертого картофеля и чай со сдобной лепешкой. На столе полевая ромашка. Надела еще старое свое платье и обувь, и хотела забыть, что два года я одна... В сумерки стали вспоминать виденные пьесы.

На днях были взяты Злынка, Новозыбков. Сюда мы когда-то в 1918-1920 году, ездили менять полученную в счет жалованья русскую «махорку-жилку № 8» и соль (паек) на хлеб. То были 4 года страшного голода. Выдержали. Миновала нас эпидемия повального тифа и в 1921 году мы вернулись. Теперь Гомель опять занимается Красной Армией. А что же там? Там линия фронта, боев. Я смертельно устала от всего окружающего, от бесконечной тоски и тревоги за близких и от страданий окружающих меня людей. Страдает столько миллионов людей... Наднях была у Фени в Костареве — она ходит как тень: проводила мужа на фронт, уехала дочь Галя, того и гляди возьмут последнего и единственного сына-подростка 16-ти лет. Уехала на фронт наша Нися, жившая у Фени. Мы съехали с квартиры, и она ходит, плачет и не может привыкнуть к пустоте и тишине дома. А ведь ушедшие на войну могут не вернуться.

14.X. Покров. Земля замерзла слегка. Еще два парохода пойдут вверх. За это время мы много раз были готовы уехать. (Теперь мы имеем право передвигаться по области). И всё-таки, в конце-концов, окончательно послушались голоса рассудка и остались здесь до весны, т. к. трогаться к зиме, куда-то в неизвестное, где никто не ждет — в наших условиях — очень рисковано. Но решив остаться, мы тоже не были уверены, правильно ли поступили. Василий Васильевич нас удерживал, ему особенно тяжело было бы расстаться с О. И., сразу покорившей его сердце, но пути наши были разные. Из Костарева, Парабели и соседних поселков уехали и всё еще уезжали наши люди и было невыразимо тяжело, грустно, тревожно провожать уезжающих. Щемило сердце и слезы неудержи-

мо лились при каждом проводах. Призывали на помощь рассудок, заглушали тревогу сердца и перестали колебаться: до весны. А там увидим. Вас. Вас. удалось устроить нас в одном доме. Муся продолжала работать счетоводом, а я пока вроде трудового дезертира. Устраиваю зимние запасы, квартиру, а там, очевидно, тоже начну работать. Был проект устроиться в этом же Райлесхозе уборщицей, но штат «скрестили» (сократили). А было бы удобно работать на месте и вместо одноглазого огородника иметь дело с культурным человеком, первым за три года. А этот «порядочный чудак» стеснялся предложить мне эту работу и предварительно советовался об этом с О. И. — можно ли? К сожалению, из этого ничего не вышло — не суждено, видно, быть уборщицей.

29.X. Ушли все пароходы. Нет почты, снег. Опять 7 месяцев летаргии. А, может быть, я зимой, не тронувшись из Парабели, получу известие от Ники или о Нике? Что с ним? Минутами хочется потерять способность думать, чувствовать и жить. Суббота сегодня. А всё же и я попала в «сень лесхоза». С понедельника стану «нештатной уборщицей». К. Л. уехала добровольцем в армию, но, доехав до Новосибирска, дальше не тронулась. И там теперь занимает такое же, как я, амплуа. Значит мы ничего не потеряли, оставшись здесь. Все мои розыски высланы отсюда — уехав — потеряю нить. Не надо сегодня говорить. Лягу.

9.XI.43. Кончились 2-дневные празднества октябрьской революции. Отдыхали и мы (втроем). Мне не надо было колоть дрова, топить и убирать заплеванную комнату. Ежедневно, убирая плевки, я еду заграницу. Дорого мне обойдется «сень Лесхоза». Ежедневно приходит много посетителей — в большинстве инвалиды Отечественной войны — безрукые, безногие, серые, землистого цвета лица. Они курят, харкают, сплевывают на пол, не глядя на мои плевательницы — нововведенные мною несколько дней назад. Василий Васильевич рано утром (когда никто не видел) помог мне колоть дрова, показав, как надо пользоваться большим колуном и клиньями. Он живет в этом же доме с другой стороны, а мы около конторы, но комнаты наши смежные и вечером, на сон грядущий, мы слышим его плачущую скрипку.

В эти два дня он много рассказывал о себе, начав с детства (его звали дома «Василек», а когда вырос — «Васячий»).

А я назвала Василием 2 или — В2. Первая жена умерла, умер и взрослый сын, а потом ему встречались женщины, сами, односторонне его выбиравшие — он по натуре очень нерешительный и несмелый. Когда одна из женщин «выбрала» его, то сказала: «Васенька», я не могу без тебя жить». — «Ну, что ж, живи», ответил Вас. Вас. И она осталась жить и . . . управляла им. Одна из его жен бросилась на него с ножом и . . . искалечила. Спас его от нее его начальник, отправив немедленно в долгую командировку, а затем дал перевод в отдаленный угол. С тех пор он ее не видел, но признался, что боится ее тени. Теперь живет бобылем, не умеет приспособиться к современным условиям жизни и живет еще прими-тивнее нас; часто голодает, не умея и не желая пользоваться правами и привилегиями ответственного работника. Теперь, живя в одном доме, мы решили в свою очередь, чем можем — скрасить его незавидное существование и принять его в качестве столовника, чтобы хоть частично отплатить за его участие и помочь. Соединили наши хлебные пайки. Он, как ответственный работник, получал 600 гр. хлеба, я, как физическая, — тоже 600 гр., а О. И., как счетный работник (гнилая интеллигенция) — 400 гр. Хлеб — основной продукт питания, так как картофеля очень мало, а жиров еще меньше, но мы, как женщины, скорее умели что-нибудь предпринять и «состряпать». В этом же доме жила семья, привезенных, как и мы, — румын. Супружество и теща. Вас. Вас. устроил их на работу и дал квартиру еще до нас. Румын работает. Женщины пока не работают. Ну, и для полноты картины еще одно лицо в этом доме живущее — конюх Вас. Вас. — тоже женщина-красноармейка — Маруся с ребенком. Короче говоря, Вас. Вас. приютил у себя сколько мог обездоленных людей, «меченых», и мы с каждым днем всё больше ценим в нем порядочного и доброго человека.

В эти два дня много и откровенно говорили и многое взаимно узнали, раскрыв наболевшие души. Вечерами за отсутствием керосина сидели впотьмах при пылающей трубке Василия Васильевича; коптилку, дававшую больше копоти, чем света, зажигали во время ужина. Читать при ней невозможно. Радио здесь нет, почта приходит редко.

7 .XI. Взят Киев, а Гомель еще раньше. В Москве закончилась конференция союзников.

18.XI. Моя жизнеспособность идет всё больше и больше на убыль. Нет уже сил удержать бодрость. Я рублю, колю, варю, мою, но всё думаю и думаю. Не хочется писать.

3.XII. 43. Видела сон, которого нельзя забыть из-за его ясности и содержания. Я с большим трудом какой-то длинной дорогой по глубокой вязкой грязи иду. Оглянулась, а за мной по этой же дороге также идет много, много женщин. На мне жутко черное, глухое платье, очень длинное, а на ногах, поверх туфель большие калоши Ники. Под длинным до земли платьем я ни обуви, ни калош не вижу, но знаю, каждый шаг чувствую, что калоши потеряла, нащупываю ногой, вытаскиваю ногу и опять то же, шаг за шагом. Вижу, что длинное платье, закрывающее ноги, — в грязи и жалею, почему же я не приподняла платья. Рядом со мной появляется знакомая женщина. Она протягивает мне руку и говорит: «я вам помогу», и помогает мне выбраться куда-то на берег. Выйдя, еще раз оглядываюсь и вижу длинную вереницу одних только женщин и удивляюсь, что платье мое в такой грязи не запачкалось, кроме маленького краешка. Смотрю и удивляюсь: ведь я каждый шаг делая по такой грязи ногой наступала на платье, а оно новое и чистое. Потом я увидела себя в каком-то доме, в большом зеркале во весь рост в том же платье и белой фате. Я должна венчаться — не знаю с кем. Вдруг я вижу необыкновенное окно: большое, очень широкое и не как обычно, а на уровне земли и с этой стороны окна, где-то ниже — стоит Ника и смотрит на меня — вижу его лицо и грудь. Выражение лица вижу ясно: довольное, радостное. Сматривает на меня и говорит: «Я всегда любил тебя в черном... тебе идет это платье». Я попросила его купить какие-то билеты, и он ушел. Сон кончился, но спать я уже не могла до утра, старалась разгадать и понять значение сна.

4.XII. Я верю в некоторые сны. Вот раньше, ты, Ника, на руках вынес меня от одноглазого огородника и здесь после длинной грязной дороги ты был мною доволен, значит я пройду и не запачкаю платья, несмотря на непролазную грязь. Вспомнила сон, когда я несла гроб, не выдержала тяжести, упала в грязь. Ну, как не верить! И сны меня поддерживают. Но этот последний был особенный: черное платье жуткое, траурное, а Ника как бы навсегда одевает меня в это черное платье. Но взгляд его был радостный. И сон не уходит у меня

из памяти. Я всё время под его впечатлением, помню его и хочу объяснить. Тяжелая, вязкая дорога, по которой идем только мы — женщины, это наша общая судьба женщин, разделенных с мужьями. Дорога кончается, и я выйду на сухой берег и встречу Нику. Где-то в глубине моего сознания страшная мысль: на мне жуткий траур, сам Ника оставляет меня в нем и вижу его за необычным окном в глубине, как-то внизу. Мне страшно. Мне страшно, и я отчаянно отгоняю эти мысли, молюсь и плачу.

19.XII.43. Прошел еще один твой день, Николенька. Хочется писать, высказать всё, всё и даже это недоступно — кончается бумага, надо беречь последние листки. Нет и керосина и условий — не бываю одна. Достали книги, но читать невозможно. Война и — не до удовольствий.

22.XII. Наш Райлесхоз уплотнили — поместились еще одно учреждение (Собез) и мне прибавилось работы. Пимы мои проносились (у нас зима). Зачинить нечем — промокают, ноги стали тяжелые, лицо опухает. Плохо сплю. В морозные дни дышится легче. Встретила бывшего главбуха: Мих. Мих.

из Заготовсыря. Я тащила в мешке кедровые шишки — подвез меня и предлагал вернуться к оставленной работе, но до весны недалеко, а в его обещание исправиться и не преследовать меня — не верю. Он много раз поздним вечером будил весь дом, требуя, чтоб я пришла к нему «на одну минутку». Бухгалтер нужен и в Собезе, но я предпочитаю убирать грязные полы и колоть дрова . . . под сенью Лесхоза.

13.I.44 г. Давно не писала. Прошел еще один «Новый Год». В этот раз встретили мы его у себя, в нашей «каюте» втроем с В2 и в канун и в Новый Год. Не работали — годовой отчет, а вечером порешили «попраздновать». Вас. Вас. достал «дубняку», и он меня погубил. После 2-ой рюмки я совершенно опьянела, со мной случилась первая в жизни истерика. Я была причиной испорченного «новогоднего» вечера. В. В. в свой «дубняк» прибавил зубровки. Здесь растет зубровка. Сегодня канун Нового Года по ст. стилю. Все работают, а я первый раз одна дома и сейчас будет полночь. Сделала все работы: наколола дров, вымыла коридор и без 10 мин. 12 была дома. Пишу при крошечной коптилке. А Новый Год пожалел, видимо, что я одна и тихонько уже вошел и сам меня встретил. . .

Суждено ли мне встретить еще Новый Год в кру-

гу близких моих?! Есенин говорит: «Не жалею, не зову, не плачу»... а я и жалею, и зову, и плачу в этот грустный одинокий Новый Год.

У нас теперь нет ни газет, ни радио. Сибирь глухая в полном смысле. Слышала, что Красная Армия уже перешла в одном месте б. польскую границу. Нет времени пойти куданибудь на радио. К Фене слишком далеко, а я уже «уходилась» и нет во мне прежней молодой прыти. Многое делаю механически, так как надо сделать, даже почерк «устал» — стала писать безобразно, себя не узнаю и записывать стала реже. Мысль отупела от постоянной физической усталости и безнадежного однообразия. И «наряды» наши подстать. Ко всему я уже привыкла и мне не кажется странным, когда у женщин (и у меня самой) из-под юбки видны «штаны». А в общем мой костюм, особенно на улице достоен негатива: зеленая шинель, под которой мой излатанный полушибок, из-под шинели обтрепанная, когда-то шелковая юбка, а из-под юбки, между юбкой и пимами «штаны» из байкового американского одеяла. Шапка-пилотка коричневая, шинель зеленая, юбка когда-то черная, штаны серые, а на ногах рыжие пимы. Рукавицы цвета охры с разноцветными заплатами. Наши нищие в Польше были одеты приличнее. Идут мои «интеллигенты» из конторы. Кончаю мой новогодний вечер.

1.I.1944. Споры из-за границ Польши. Польское правительство обратилось за посредничеством к союзникам. А ведь осталось так немного, чтоб стало возможным, если не увидеть, то хоть узнать о судьбе моей старушки и сестры! Живы ли они?

23.I. Говоря о польско-советских отношениях Иден выразил уверенность, что надежда на хорошие отношения не поте-ряна. . Молодая латышка, шедшая в Парабель из своего поселка замерзла под самой Парабелью. Она тоже разделена со своей семьей. И вот закончила свою жизненную дорогу, не успев выйти на сухой берег. А на этой дороге во сне я видела много нас, женщин. А какой дорогой идут мужчины! Кто дает право одним людям судить, казнить, управлять судьбой множества других людей?!

24.I.44. Скорее бы весна! Хоть зима в общем легкая. Живем всё хуже. Наше меню: утром чай из шиповника в любом количестве с хлебом. В обеденный перерыв картофель,

величиною с грецкий орех (самый крупный), отваренный, в мундире, с солью и кислой капустой или чесноком, и кипяток. Вечером обед: суп из картофеля, капусты, моркови, брюквы, хоть немного заправленный каким-то жиром с луком. Если сидим за полночь, то в час или два еще чаепитие из термоса: хлеб с солью или с брусникой. О. И. не может есть кислого и ей выдается микроскопический кусочек из 400 гр. конфет, полученных по карточкам вместо сахара (два гриба, как говорится, в борщ не полагается: или сахар или конфеты) и то конфеты «по блату». Если бы во мне был жив мой прежний юмор, можно было бы много посмеяться. Жиры у нас вышли, и я никак не могу на базаре загнать (продать) что-нибудь из нашего «имущества». В полчаса мои руки и ноги превращаются в ледяные сосульки, и я деревянными ногами ни с чем возвращаюсь домой. Когда я приезжим из колхозов крестьянам предлагала что-нибудь из своей «галантереи», они мне отвечали: «мы сами баражло продаем» и указывали на висящие на руке кальсоны или юбку. Смотрю сочувственно и отхожу пристыженная. У меня совсем нет способностей к торговле и потому и жиров взять не откуда.

30.I.44. Сегодня во сне Александра Константиновна гадает по картам О. И., которая лежит на постели. Ал. Конст. быстро веером открывает пять карт, и мы с ней, взглянув, ужаснулись: все пять карт черные, начиная с туза. Я делаю Ал. Конст. знак, и она карты смешала, а на вопрос О. И. что вышло, — мы солгали, что это я себе гадала. Сон неприятный, жуткий.

2.II.44. 31. И. меня вызвали в паспортный стол и объявили, что пришел ответ из Москвы от I Специального Отдела и от Берии (я писала много на его имя) через Новосибирский Специальный Отдел по розыску моего мужа. Мне не дали бумагу, а только прочли, что ты, Ника, умер 26.XI.1942 г. в Усть- вышлаге. Где это — ни объявлявший, ни я — не знаем. Умер и нету тебя больше. Но я не хочу верить, я буду ждать тебя даже тогда, когда все ждать перестанут: и, может быть, я буду права. Возможно всё, но могут быть и ошибки. А, может быть, бумажку написали здесь, чтобы я перестала искать, беспокоить их. Почему не дали мне ее в руки и только, когда я вернулась еще раз с улицы и попросила извещение, — сказал, что адресовано на отдел и положил передо мною, а я переписала дату и слово Устьвышлаг. В какой это области чекист

не знал. Бумагу он положил на стол, не выпуская ее из рук. Я прочла имя, отчество и фамилию, год рождения Ники и дату смерти — 26.XI.1942 в Усть-Вышлаге. Какие были печати — не знаю.

Николенька! Единственный мой! Неужели ты и вправду отошел уже по ту сторону окна, выпив свою чашу страданий? Значит не даром мне приснилось черное платье... «тебе идет

Елена Ишутина

(Окончание следует).

Это лучшее, что мне дано —
Благодатное мое незнанье!
С ним я, даже падая на дно,
Страшного не вижу расстоянья.

Думаю: а может-быть меня
Мурава внизу спокойно примет,
Иль парить я буду, чуть звения,
Сохранив свое земное имя.

Ну, а если даже разобьюсь —
Может это тоже не смертельно,
Может легким облаком взовьюсь
В синеву отчизны запредельной?

О, как это хорошо: не знать!
Мир надежд тогда не иссякаем!
Значит есть и будет что понять,
Если мы сейчас не понимаем!

Ужель я землю посетил,
Чтоб, уходя, сказать: не знаю
И стать одной из тех могил,
Что здесь от края и до края?

Иль может-быть, как та пчела,
Что потрудилась над цветами
И каплю мёда унесла
В далекий улей за холмами —

Так и душа моя возьмет
С собой в далекую дорогу
Тот всё-таки душистый мёд,
Что здесь собрал я понемногу.

О нет, не знанье! Лишь намек,
Предчувствие, догадки . . . Что-то,
Чем я разбогатеть не мог .
Но может хватит для полета?

МОЕЙ МОЛОДОСТИ

Ты обнаженным ангелом была,
А я тебя как женщину неволил.
Зачем на помощь ты не позвала
И почему не вскрикнула от боли?

Я так к терпенью твоему привык,
К послушливому твоему бессилью,
Что кинулся к тебе, а не приник
И смял твои распахнутые крылья.

А ты? Ты на прощанье обняла
Меня с такой мучительной тревогой,
Что понял я: ты мне с собой дала
Предупрежденье в дальнюю дорогу.

И, видишь, я исполнил твой завет,
Хотя тебе и не дал обещанья,
И может-быть сейчас на свете нет
Нежней и легче моего касанья.

Мой зябкий друг, мое земное тело,
Зачем ко мне прижалось ты опять?
Учись в тебе отпущеных пределах
Поменьше плакать и надоедать!

Ну да, с тобой я давней дружбой связан,
 Но всё-же эта дружба такова,
 Что миг один — и наш союз развязан,
 Как на речном причале бичева.

И лодка уплывет (и не потонет!),
 А берег — он останется и нет
 Уже ни возвращенья, ни погони,
 Лишь на воде теряющийся след.

И надо мне с тобою быть суровым,
 Чтоб то, что остается, не могло
 Мне стать нужней моих скитаний новых,
 Нужней, чем даль, просторы и весло.

Ты только берег скудости и скуки,
 А я — я путник на его траве.
 Давай-же оба привыкать к разлуке,
 К готовой отвязаться бичеве!

Есть давно утерянные годы,
 Есть давно умолкнувшее детство,
 Есть стихами прозвеневший город —
 Пушкинское стройное наследство.

В мае там сирень, в апреле — вербы,
 В сентябре — рябина, дождик, слякоть .
 Как туда вернуться я хотел-бы —
 Просто для того, чтобы заплакать.

Д. Кленовский, 1964

ЛИТА *

На скамье на берегу дачного озера, бледной лунной нощью, — всё небо в легкой белой зыби и оттого кажется, вместе с луной, близким.

— Вот, Лита … Да нет, вас действительно Литой зовут? Всё никак не привыкну …

— Вы рискуете мне надоесть. Вы это уже спрашивали. Скажите лучше, что вы хотели сказать.

— Простите, больше не буду. Я хотел сказать о русалках: может-быть, они в самом деле существуют? Представьте себе: сидим, а она вдруг неслышно подплывает к берегу, ложится в воде в двух шагах от нас — и смотрит. Глаза страшные, пристальные. Тело белое, великолепное.

— Во-первых, вы говорите глупости: тело у русалок все не белое, а лунное. А во-вторых, — всё одно, всё одно у вас на уме!

— Неправда, на уме только вы одна. Как-то сразу вы меня поразили …

— Поразила не поразила, но неужели вы не понимаете, что этого никогда не будет?

— Чего?

— Того, о чем вы мечтаете. Я только помучить люблю.

Вы знаете, есть такие. Так вот я из таких.

— Да, да! Оттого и глаза у вас какие-то раскосые.

Этот рассказ И. А. Бунина прислан нам Л. Ф. Зуровым из архива Бунина. РЕД.

* Рассказ «Лита» перепечатан В. Н. Буниной. Иван Алексеевич в разное время работал над ним. Первая правка сделана ватермарновскими чернилами, вторая химическим карандашем, третья красным карандашем. *Л. Зуров*.

— Но посмотреть на русалку, это удовольствие я могу вам доставить. Хотите?

— Я вас не понимаю.

— Отойдите немного и не отворачивайтесь. Когда крикну, можете смотреть.

— Нет, ради Бога не надо!

— А я хочу. Извольте встать и отвернуться. Видите, я уже разуваюсь. Ну, раз, два, три... Встаньте, отвернитесь и стойте так, пока ~~не~~ крикну. Ах, вы стыдливо закрыли лицо руками? Хорошо, можно и так...

И через минуту плеск воды и веселый голос:

— Алло, алло! Я уже русалка, лежу именно так, как вам хотелось, с дикими глазами, и знаю, что вы всё-таки сквозь пальцы меня видите...

Выбежав из воды, села на скамью, вся холодная и мокрая, и, наклоняясь к нему, ровно и вполголоса:

— Поцелуйте мне груди. Они у меня тугие, красивые...
Больше всё равно ничего не будет.

23.IX.43.

Ив. Бунин

НОЧЬ И САД

Иллариону Воронцову-Дашкову

Не знаю, ласточки иль ноты
На телеграфных проводах, —
Вот-вот смычком их тронет кто-то
Еще затерянный в садах.

Быть-может ветер, тень быть может.
Быть может затмненный сон, —
Но в час вечерний выйдет он
И вздох на музыку положит.

Ты будешь слушать, — потому
Что всё теперь неповторимо,
Что ночь сама уже незримо
Листы разметила ему.

Твой мир, с его туманным дном,
С его текучим обновленьем —
Всё те же звезды за окном,
Но вот окно в саду ином
(Сад, где терзает сожаленье).
Любил ли ты? В густых ветвях
До утра соловьи кричали,
И свистом пули второпях
На птичий голос отвечали.
Во мраке слабого крыла
Испуганное трепыханье,
И треск разбитого ствола,
И орудийного жерла

Неумолимое дыханье — —
 Так просто, — все воспоминанья
 Свести к числу забытых лет, —
 Но этот отраженный свет
 Ненужного тебе признанья — —
 Горит и падает звезда,
 Вся ночь озарена до боли, —
 О, подскажи!

— Быть может да,
 Быть может только. И не боле.

Медлительно и многоствольно.
 Свой голос понижает сад, —
 Ты будешь повторять невольно —
 — Потом закат. Потом закат.
 Начало фразы музыкальной
 Из тех, что ловят находу
 Иль поздних листвьев шум прощальный
 В незатихающем саду.
 Закат, закат. И ночь вошла,
 Несспешно окна затемнила
 В пустое кресло у стола
 Свой плащ широкий уронила.
 Молчанье. Отых. Мир дневной
 Как рана свежая зализан,
 Вокруг меня и надо мной
 Весь воздух музыкой пронизан.
 Холодное журчанье гор,
 Деревьев сонных бормотанье,
 Подземной бури клокотанье,
 Звезд полуночных разговор.

4

Ты болен, болен. Этот сон,
Неясный, ни о чем, и всё же
О чем-то, что всего дороже, —
Не сон, но призраки имен,
Колеблемые ветром лица,
Предчувствие настороже,
Пустая мертвая страница,
Но оживленная уже
Таинственным прикосновеньем
Невыявленного штриха,
Возможным трепетом стиха,
Возможным бури дуновеньем,
Возможной сердца глубиной,
Души движеньем осторожным,
Одним признаньем невозможным, —
О, Боже мой, — одной, — одной, —
Одной слезой, что не упала.
Но промелькнула в стороне,
И высохла, и камнем стала,
Сметающим тебя во сне.

Вл. Корвин-Пиотровский

СМЕРТЬ «КОРОЛЯ ЛИРА»

Посвящается светлой памяти Соломона Михоэлса.

Тени. Хоровод теней. Тени на снегу. Тени на кустах земли. Тени на стёклах. Искры, как падающие звёзды прорезают эти тени. Всё бежит назад. Тени тянутся в длину, убегая в ночные горизонты. Деревья убегают. Даже небеса убегают. Поздне-осенние грустные небеса.

Поезд бежит навстречу незнакомой ночной темноте. Там нет ничего: ни деревьев, ни небес, ни вокзалов. Там только страх. Сладкий, сонный страх. Он смотрит на тебя стеклянными глазами из бездны. Бездна эта манит, зовет. Еще минута, и поезд этот войдет в круг, откуда нет возврата. Это — бездна без глубины и без дали.

Беспокойная тень у дальних окон вагона. Тени пальцев дрожат над стеклом. Стучат колеса. Двери закрыты. Хриплый, простуженный голос — как будто пилят дубы.

Может уйти, как эти заснеженные поля, как голые деревья, как плачущие небеса?

Уж поздно... уж поздно... стучат колеса.

Полусогнувшаяся человеческая тень прохаживается возле окон, возле запертых дверей вагонных купе, и в конце вагона наталкивается на желтую восковую свечу в фонаре.

— Куда, гражданин?

Снова простуженный голос:

— Когда остановится поезд?.. Я хочу — — —

Восковая свечка подпрыгнула и осветила большой лоб, сильно-выпяченную большую губу.

Казалось, что человек говорит, но это была беспокойная дрожь. Кто-то схватил его за руку. Простуженный смеется.

Снова тени... А вот и купе.

Он падает на скамью. Его лоб ударяется о холодное мерзлое железо. Из оконной щели дует. Он поднял воротник пальто и втянул голову в плечи. Он дрожит. Простуженный стоит на вахте у купе. Каждый раз он напоминает о себе и фонарь качается у него в руках.

В узком коридоре вагона неспокойно. Кто-то хочет занять свободное место во второй половине купе. Это — военнослужащий со своим семейством.

Простуженный вырос, как из-под земли. Фонарь остался висеть в воздухе.

— Нельзя ... Здесь едет Семен Михайлов ... Народный артист. Специально забронировано ...

Тень у окна лежит свернувшись клубком. Он хочет вскочить, но не может ... Усталость и безразличие. Неужели он опьянел. Кто этот человек, который его вчера задержал у буфета на Московском вокзале? Кажется, это — тот самый, простуженный ... он закурил папиросу ... Кто-то у него просит огня ...

— Ах, это вы, Солomon Михайлович, народный артист? .. Я ваш поклонник ... Как хорошо, что я вижу вас близко ... Чужой назвал какое-то имя ... Это был такой убаюкивающий, хриплый голос.

— Вы ждете поезд на Минск? Я — тоже. Давайте выпьем по стаканчику ... Не откажите ... Эй, буфетчик! Еще одну. За ваше здоровье и здоровье еврейского народа, который наращивает нам таланты ... И третий — за отца народов ...

... Это случилось так молниеносно. Радио на вокзале приглашает садиться в вагоны. Кто-то ведет его под руки. Продовщица указывает ему купе. Закрывает двери. Он долго дремлет. Тишина кругом. Убаюкивающая тишина. Ему хорошо. Он тихо шепчет:

— «Да нам лучше умереть понемногу, чем сразу всем».

— Эдгар, ты сын Глостера, повтори еще раз этот абзац. Я хочу послушать ... Почему ты молчишь? .. Я хочу услышать еще раз, Эдгар, ты не узнаешь меня?

Это говорит тебе Король Лир.

— Ха-ха-ха.

Проводница стоит у двери купе, заглядывая сквозь щели занавеса.

Простуженный прогуливается взад и вперед.

— Чего ты вылупил глаза?

— Ничего... немного выпил. Это заметно...

— Эк, ты сам с собой разговариваешь, как в театре? Но я не понимаю ни слова. Смотри не выходи из вагона. Мне приказали тебя предупредить. Ты еще можешь поскользнуться на рельсах. Потом нам влетит от начальства...

Она ушла. Но ее смех остался. Потом голова его упала на колени. Дуб, корни которого только что подрезали. Тени... Простуженный, хриплый говор. Стук колес. Острые снопы света,

Шаги, как будто насыпают камни. Всё это бежит за ним. Он никак не может оторваться от этого. Он упирается в холодное стекло. Он прикладывает горячий лоб к мерзлому стеклу окна. Слезы. Меркнущие дали, зачеркнутые, украденные. Там ничего уже нет.

И когда взгляд его становится острым, колючим, он видит: — деревушку на краю мокрой стороны. Видны зачеркнутые дома и деревья. Вот знаки небес и туч. Их больше нет. Всё, как тени на бельмах. Он тоже — тень человека, который не существует. Блуждающая тень, так блуждают лесные, сожженные тени, тени островов, засохнувших морей, исчезнувшие острова, утонувшие в бездне. Он — ветка этого леса, песчинка острова, частица земли. Неужели это всё — мираж?

Он стал стучать кулаками в закрытые двери. Стуки эти отзывались коротким эхом. Шум колес заглушил, разбил эти звуки.

— Гражданин! Что с вами? Как вам не стыдно. — Вокруг купе сбежались. Снова простуженный, снова ехидный смешок проводницы.

— Зажгите свет! Почему темно! Что вы меня преследуете, как тени? — кричал человек в купе.

Локомотив вдруг неистово загудел. Длинный, протяжный вой. Ночь. Темная осенняя ночь в Белоруссии. Протяжный вой

локомотива насторожил его. Он стал ходить взад и вперед. Его зрение обострилось. Брови натянуты, а глаза горячие, как огонь. Поезд мчится мимо леса. В другом окне напротив видно поле с карликовыми кустами. Ночью они кажутся разорванными тучами.

— Который час?

Дым от паровоза закрыл небо. Дым и туман. Тени и ночь. Долго ли еще до рассвета? Кажется поезд остановился. Наступает мертвая тишина. В правом виске пульсирует жилка. Усталый шут просыпается.

Довольно дремать у ног позолоченного кресла, между точеной позолотой орнаментов на стульях, у ног, обутих в сапоги. Паяц мал, страшно мал, как песчинка. «Дядя Лир, дядя Лир, очнись и возьми меня с собой!» Ха-ха-ха ... Он готов раздавить его. Эй, упрямый шут, перестань кривляться. Ты выматываешь все жилы!

Лесная стена приближается. Она вошла в вагон. Заполнила стволами и ветвями деревьев. Они заплели его в ночную корону. Напротив в окне уже нет разорванных туч, но зато видны удушенные стада седых баранов на снежных полях.

Всё началось на снежном горизонте. Вначале синяя полоса на снежных полях. Потом голоса всё разрастались. Затем синева исчезла. Полоса бежала за составом, преследуя его, как заброшенная петля над утерянной лошадью из табуна, которую хотят поймать ...

... Это случилось несколько недель тому назад. Он ввалился домой усталый, опустошенный. Жена его, как тень, проскользнула мимо двери и пропустила его в маленький рабочий кабинет. Он опустил голову на большой письменный стол, опервшись руками о край стола. Тяжелая темная мебель, стены, потолок, всё это приблизилось к нему. Его как бы пригвоздили к этой обстановке. В висках стучит. В мозгу страшная тяжесть. Тяжелая масса. Еще минута и она раздавит его. Мягкие руки, знакомые, вытирают капли пота. Пальцы расчесывают волосы на голове.

— Соломон! Соломон!

Он возбужденно поднял голову, как-будто он вырвал ее из тисков, из темноты. Зрачки чуть выскошили из глазных орбит. Над пустыми впадинами — брови, как-будто выхваченные из пламени. Он сам испугался этого огня. Отблеск он увидел на лице жены.

— О, Боже!

Она закрыла лицо обеими руками. Ее пальцы длинны и прозрачны. Он легко снимает их с ее лица и прячет у себя на груди. Он хочет что-то сказать. Она узнает это по дрожащим векам, по нервному подергиванию нижней губы, по лихорадочному состоянию его лица.

— Не надо... Я всё знаю... Я понимаю всё...

...Узкая, темная лесная полоса, которая похожа на темную тучу на горизонте, приблизилась, увеличилась, предсказывая штурм и бурю...

...Его заставили ждать долгие часы в коридорах, у закрытых дверей. Вначале его приняли торжественно, потом с удивлением и под конец с нетерпением.

Сегодня он высыпал на большой, длинный стол — письма: десятки, сотни писем.

— Смотрите, что мне пишут! Вот смотрите. Из Гомеля, из Одессы, из Чернигова, из Харькова. Это пишут евреи. Они просят, умоляют. Они требуют от меня. Помоги. Помогите. Опять погромщики угрожают. Гонят со службы, увольняют. Оскорбляют. Нападают. Безнаказанные снова ведут себя вызывающе. Не позволяют селиться в старых жилищах и домах. Почему они пишут мне? Зачем они приходят ко мне? Кто я? Актёр. Несчастный Лир, который сам ищет помощи и поддержки. Я пришел к вам, товарищ, из Совета, частным образом. Я вынужден вам на это указать. Законы попираются. Наши, советские. Это не в моем обычай. Но как гражданин, как советский человек. Я не могу оставаться спокойным. Прошу вас. Ознакомьтесь с этими фактами.

Сегодня у него забрали все письма. Человек с лицом калмыка вывел его из кабинета. У дверей человек положил на него тяжелую руку.

— Успокойтесь! Это для вас посторонние дела. Играйте в театре. Сейчас вы ставите «Короля Лира»! Что-то слыхал про эту постановку. Держитесь, Соломон Михайлович, своих интересов. Не суйте пальцы между дверьми. Вы меня удивляете. Отец народов называет вас «Мудрый Соломон». Вы своим поведением должны оправдать такой почет.

Двери затворились. Сразу зазвонили несколько телефонов.

При выходе из учреждения, вахтер долго держал в руках пропуск. Снова телефон. Вооруженный охранник здания заставил его ждать, а сам подошел к телефону. Убийственная тишина. Шаги по красным коврам. Скрип двери. Заглушенный телефонный разговор. Охранник, который его всегда пропускает с открытой улыбкой, а сегодня лицо его такое натянутое. Его пугает шепот и скрипучие шаги по длинным коридорам.

— Да, да, да. Петров вас слушает. Да, да!

Наконец, разговор окончен. Два шага к дверям, и он не может их сделать. Калмыцкое лицо с бараными глазами. Закрытая дверь. Открытое лицо сибиряка с маленькими водянистыми глазами. Черный шнурок пистолета качается. Взад и вперед. Только два шага. И он, народный артист, любимец отца народов, ждет. Он обязан ждать. Он связан черным шнуром пистолета.

— Вы можете выйти. Слово «можете» его обожгло. Он вышел из ворот с затаенным дыханием, надломленными ногами.

Спустя три дня. После спектакля «Короля Лира». Он срывается с себя длинный, седой парик. Смывает грим. Лир только что воскрес из мертвых. Вокруг него кружится шут. Рогатый шут, с озабоченным лицом. Сколько грусти в его морщинистом лице. Зал уже пуст. Забыли выключить красную дежурную лампочку. Красные рога паяца становятся длинными. Они скачут по темным качающимся полотнам декораций за кулисами. Мал и ничтожен Король Лир. Кто-то помогает ему одеться в обыкновенную одежду смертного артиста. Ах, это его жена. Он узнает ее пальцы. Она завязывает ему галстук. На улице ждет авто. Он едет в Кремль. Отец народов вызывает его. Трагический Король Лир весь собран. Осенняя ночь. Он один. Туда не идут с со-

проводящими. Его знобит. Но ее поцелуй в губы горяч. Он едет сквозь туманы. В памяти последние слова, только что оконченной пьесы... «Мертвое мое несчастное дитя», — так произносит Король Лир свои последние слова и умирает.

Больше не осталось ничего, кроме Еврейского театра, в этой громадной России — это несчастное детище.

Он едет мимо большого затемненного здания. Железные ворота. Стражи. Он проходит сквозь пустой двор. Кто-то его ведет. Затемненные окна. Купола. Церкви. Церковные стены, темные и грязные. Черные фасады. Колокольный звон. Наконец, квадратно-освещенные окна. Полночь.

В гардеробной у него берут пальто. Большие залы. Снова сопровождающий. Люди с футлярами для инструментов. Где-то слышен звук настраивающейся скрипки. Отдельные мелодии. Ожидальня. Люди в черном. Клубы табачного дыма. Кто-то пожимает ему руку. О, Соломон! Лица исчезают. Опять один. Шагает по мягким коврам. У буфета слышен звон стаканов. Вдруг раскрываются широкие двери. Колossalный зал. Столько света от люстр. Свет меняется. Качается. Длинные столы. Военные с разгоряченными лицами. Несколько женщин стоят в кругу возле рампы сцены. Сцена пуста. Снова звуки скрипки, которую кто-то настраивает. Жужжащая тишина. Громадный зал переполнен, но вокруг пусто. Он тонет в пространстве. И вдруг — шум затихает. Кто-то поднялся в первых рядах и приблизился к нему тихими шагами. Низенький, в сапогах, мужчина в застегнутом сюртуке. Лицо — круглое, потухшее, глаза — настороженные, безразличные, лоб — бледный, восковой, уши — торчащие. Всеобщее внимание. Руки с поднятыми бокалами онемели.

Это идет он — отец народов навстречу Королю Лиру.

Король Лир пошел ему навстречу с опущенной головой. И вдруг, когда он ощутил у себя на плече руку отца, он поднял голову и глаза его загорелись.

Лир увидел перед собой усталое восковое лицо, изрытое оспой и маленькие острые глаза, глядящие в душу насеквоздь, колючие, как высохшие листья крапивы.

— Мудрый Соломон... Премудрый Соломон...

Эти тихие слова человека, который, как-будто только проснулся. И вдруг, неожиданно, Лир увидел отца насквозь. Он точно увидел в этом совершенно бесстрастном взгляде — издевательство. Колючую насмешку. Это продолжалось только одну минуту. Лицо снова изменилось и приняло прежний вид безразличия и спокойствия. Даже приятности.

Высокий партийный человек с калмыцким лицом прошел мимо. Отец качнулся, сунул пальцы в карман.

— Ты выглядишь усталым и беспокойным, Соломон... Он несколько запнулся, почувствовав испытующий взгляд Лира.

— Я иду со спектакля. Я еще в образе трагического Короля Лира.

— Короля Лира? — на лице туча, смесь тумана со снегом.

— Почему ты берешь роль короля, а не шута?..
Он рассмеялся, отец народов и кругом тоже послышались

Только женищны серьезно смотрели на Лира.

— Мудрый Соломон! Днем ты играешь роль Шейлока, а вечером Короля Лира.

Он смотрит на отца большими, беспокойными глазами.

— Ты — актер целые сутки. Великий актер.

Человек с калмыцким лицом приблизился, улыбаясь.

Король Лир что-то стал понимать. Он — один. Он только видит удаляющиеся от него спины.

На сцене поет женщина под аккомпанемент рояля.

Снова звон бокалов. Разговоры. Хохот. Молодые офицеры у бокового стола возбуждены.

Король Лир страшно одинок. За его спиной — сцена. Она ему по плечи. Как эшафот.

Перед ним — стол с видными государственными деятелями. Его внимание привлекло одно лицо. Он что-то ждет от этого лица. Такое оно близкое. Сейчас только он заметил еврейские

черты под усами. Он узнает его по глазам. Это — Лазарь Моисеевич. Глаза встретились.

— Король Лир. Я хочу посетить ваш театр. Хорошо, что я вижу вас здесь...

Лир поблагодарил. В пожатии руки, он почувствовал холодные пальцы чужого человека. Не лицо, а маска. Маска, которая пугает. Оба испугались. Им показалось, что все обратили на них внимание. Чем дальше они отходили друг от друга, тем спокойнее становилось и яснее горели люстры. Сейчас Лир прошел мимо большой мозаичной стены. Актриса взяла его под руку. Она улыбается ему. Ее жемчуг на шее напоминает ему слезы. Большие, блестящие слезы, которые могут осветить темные подвалы. Это, вероятно, наследственный жемчуг, какой-нибудь еврейской матери...

Актриса легко высвободила свою руку из рук Лира. Она задержалась у стены. Лицо ее бледно. Глаза — испуганы. Отец народов задержал ее и молча оглядел, потом обратил внимание на дрожание руки Лира.

— Соломон, я хочу вас видеть в роли Шейлока, Венецианского купца... Сейчас... вне служебных обязанностей в театре, а здесь... на сцене...

Картина, где Шейлок требует фунт мяса.

Сцена свободна... Я жду...

Лир сделал гримасу, как будто его укусила ядовитая змея, как будто его обожгли огненные языки. Капли пота выступили на лбу. Он не мог дышать. Язык не повиновался ему. Он пошел на эшафот с опущенной головой, хоть никто его туда не посыпал.

На галерее оркестр играл танец из «Паяцев». Звуки звонков падали на его полуобнаженный череп, как камешки, брошенные веселой и пьяной толпой.

Он быстро вскочил на сцену, стряхивая с себя этот издевательски колокольный звон, брошенный на него, как мусор, как камешки. Черты лица его изменились. Совсем другой человек. Другой. Гордый, требовательный с высоко-поднятой головой.

— Вы хотите видеть Шейлока-вымогателя? Вот он!

Он подошел вплотную к рампе. Это был скорее бег разбуженного льва, которому грозит несчастье...

— «Он оскорбил мой народ... поссорил меня с друзьями, натравил на меня моих врагов... За что?»

Его правая рука вытянута и обращена к первому ряду, указывая на середину.

— «...За что? За то, что я — еврей? Так пусть оскорбленный еврей возьмет пример с него, и также мстит ему! Я способен на все подлости, которым вы меня научили!»

Он испугался своих собственных слов, и как под ударами кнута, сделал несколько шагов назад. Скорчившись, он поднял глаза вверх, к большой горящей люстре. Руки конвульсивно схватились за голову, как бы ища защиты. А может быть это было выражение жалости к самому себе? Но уже поздно. Его звезда падает с высоты, и падая всё больше разгорается.

— «К чему мне нужен фунт мяса, спрашиваешь ты? К моим мукам и переживаниям он мне нужен! Он меня унижал, он смеялся над моими убытками, он издевался над моим народом».

Вдруг знаменитый артист издевательски рассмеялся. Смеялся его большой лоб мудреца, смеялись глаза, руки, весь его корпус хохотал. Гений и талант актера сплелись в один нервный узел. Теперь импровизировал художник.

— « ... Вы забрали мою дочь, мой дом, мое богатство. Мне не нужен твой фунт мяса. Мне теперь ничего не нужно ... Вы всё у меня забрали. Осталось только мое тело».

«Я больше у вас ничего не требую, судья из Венеции ... я вам еще должен ... я должен вам свое сердце. Возьмите! Возьмите! Подойдите ближе! Судья, президент и сенаторы Венеции. Наточите ножи и вырежьте у Шейлока из груди этот фунт мяса. Я даю его вам. Мне уже ничего не нужно ... » — Он в волнении у рампы выставляет свою грудь.

В большом зале мертвая тишина. Какой-то военный начал аплодировать. Некоторые подхватили. Шейлока провожают громкие аплодисменты.

И снова кто-то начал дирижировать танцем из «Паяцев». Опять звонки.

Отец народов повернулся спиной к сцене... Уже поздно. Осенние туманы над Кремлем, над острыми колокольнями. Улицы пусты. Пьяница бредет, шатаясь, держась за стены. Меняется караул у Мавзолея. Редкие шаги. Звон часов на башне. Темень, такси с потухшими фарами, стоит у одного дома и люди с карманными фонарями стучат в ворота.

Король Лир идет по темным ступеням. Тени бегут за ним. Перебегают ему дорогу. Вахтер, стоящий на страже, светит ему прямо в лицо ручным фонарем. Лир идет на цыпочках. Только бы ее не разбудить. Она ждет его в маленькой кухне.

Снова большой, грустный стол, обложенный книгами. Он всё сбрасывает на пол. Книги падают на вытертый ковер с тихим шорохом. Голова тяжела. Он падает на освобожденный стол. Руки цепляются за край стола. Он погружается в черныеочные воды. Еще момент и он падает в бездну...

...Снова восковая свеча у стеклянных дверей купе. Вагон качается. Простуженный говорит. Восковой свет исчезает. Окна запотели, словно плачут. Черная лесная стена падает на его лицо. Темнота душит его. Он смыкает глаза. Теперь хорошо. Он снова Король Лир.

Эй, электротехник! Дай полный свет! Еще минута и откроется занавес. Где ты, электрик? Смотри, не опоздай ни на одну минуту.

Переполненный зал. В литерной ложе сидит власть имущий человек из партии. Это Лазарь Моисеевич. Темно. Вокруг ложи силуэты специальной охраны. За кулисами на каждом шагу чужие. Это — его телохранители. Они выполняют каждое требование актеров, рабочих сцены.

Он сдержал слово. Единственный еврей из Политбюро. Он хочет видеть постановку «Короля Лира». Граф Кент и Глостер сегодня свободны в этой сцене. Они бросают испытующие взгляды в эту ложу. Они глядят за кулисы. За занавесом стоят чужие, гражданские лица. Король Лир пылает. Король Лир

СМЕРТЬ «КОРОЛЯ ЛИРА»

штурмует. Вблизи всё-же заметно, как дрожит его нижняя губа. Спектакль идет своим чередом. Уже 4-ый акт. На чистом поле. Граф Глостер приближается всё ближе и ближе к рампе сцены. Все рефлекторы наведены на него. Он — в кругу электрического света. Дрожащий световой круг. Недалеко стоит Король Лир, задумавшись, у боковых кулис-порталов. Глостер сейчас объявит о большом горе постигшем Короля Лира. Пусть услышит весь переполненный зал, а также должен слышать и гость в ложе. Пусть знают его телохранители.

Слушайте вы, голые небеса! И Глостер горюет.

— «Это проклятие времени, когда слепых водят сумасшедшие!» — За кулисами шут истерически хохочет.

Лир сложил обе руки на груди, закрыл глаза.

Из зала доносится волна аплодисментов. Они возникают так неожиданно, как неожиданно весенние воды прорывают плотину. Шут замер, остановился с открытым ртом, удивленный от неизведенного страха. Лир стоит, как статуя из мрамора. Аплодисменты повторяются ежеминутно. Голова Лира холдеет. Радость и страх смешиваются. Пот выступает на лбу. Он хочет сделать движение и не может. Человек в ложе становится совсем маленьким. Он весь собрался, наклонился к стенкам ложи и смотрит в пространство. Лир виноват! Это он их возбудил. Это он раньше прокричал: «Восстань, ты ничтожество! За преступления, что ты держишь втайне!» Дрожащая вытянутая рука Лира направлена на ложу. Он подчеркивает каждую фразу Шекспира, и, как отправленные стрелы, бросает их ему. «Этот Мудрый Соломон»... Сейчас он выдал себя. Он изменил себе своим собственным языком. Теперь всё понятно.

— «Спрячься, кровавая рука! Ты изменник!..» Он дрожит от волнения. Такие слова, открытые, вызывающие... Какой издевающийся вызов, какой огонь в глазах. Это не — театр! Так ни один актер не играет. Это — крик мученичества и ненависти. И когда партийный человек ушел, за ним ушли все тени со сцены, и из-за кулис. Настала тишина ...

Король Лир блуждал по улицам Москвы. Кто-то его сопро-

вождал. Это был старый заслуженный артист. Он его всегда сопровождал. В винном погребке шумно. — Наливайте, не жалейте! Нужно смыть внутренний грим. Это можно только водкой... Чистой водкой!.. Наливайте... Ну, выпей со мной, чужой... Ты не хочешь. Можешь со мной выпить... Можешь... Пока с твоей головы и волос не упадет. У Лира дрожат руки. Сухощавый проводник его что-то ему нашептывает.

— Ты посыльный — служка, мой сопровождающий... Не вмешивайся!

Вот знаменитый Качалов. Давай! Наливай! Не откажи Королю Лири... Только бы смыть внутренний грим, а потом мы с тобой будем говорить по-человечески... Ты понимаешь меня, Качалов?.. Снова сопровождающий со своим нашептыванием.

— Иди ты ко всем чертям!.. Народный артист республики может иногда быть пьян... после такого спектакля... такихapplодисментов... Какая публика... Что я — дурак? Скажи, Качалов, скажи правду. Почему он называет меня — Мудрый Соломон?

Два артиста обнялись.

— Ты устал, мой Лир, ты болен, — прошептал русский артист и вывел его из ресторана.

Они шли обнявшись по осенним московским, ночным улицам. За ними тащилась длинная комическая тень высокорослого человека... Почему ночь тянетя так долго? Почему поезд мчится мимо непроходимого леса? Смотрите какой густой лес. Из окна напротив уж не видать рваных облаков, ни задущенных стад овец — там простирается укачивающее море, такое голубо-зеленое, туманное.

Сколько продолжается эта езда? Когда он попал в этот поезд? Когда это случилось? Кто его провожал к поезду и кто его встретит? Нет, это случилось вчера ночью. Он вошел в поезд, идущий в Минск. Простуженный снова распоряжается в коридоре вагона. Что он там говорит? Свеча блуждает по стене. Дверь скрипит. Лир вскочил. Когда остановится поезд? Где мы? Что-то уж больно долго...

Он не узнает своего голоса. Всегда его голос изнутри,

грудной голос, — сейчас какое-то непонятное бормотание. Смесь страха с возмущением. Милостивая просьба и приказа-

— Мы уже скоро там, где тебе нужно быть. Уже скоро. — Это холодные слова, мерзлые, простуженные, уверенные. Страх выскочил так тихо, как выскакивает черная голодная кошка из избы. Она схватила его передними лапами за горло. Он не может дышать. Она душит его там, где дыхание, под ложечкой. Он хочет прогнать ее. Но она выскочила на воздух.

— Это ничего... Вдруг какое-то беспокойство... Наверное сердце... — Он разговаривал сам с собой, чтобы прогнать одиночество. В ответ послышался звон разбитого стекла и скрип железа у вагонов...

Кажется, светает. Это видно по запотевшим окнам. Темнота отступает, но страх растет. Дует из-под скамей, из коридора, от хождения, скрипа колес, из леса. Он дремлет. Теперь его душит серая кошка с зелеными желчными глазами. Она давит ему на мозги. Он не может вырвать головы своей из ее лап. Он готов разбить свою голову об железо вагона, чтобы освободиться от этой тяжести. Кто-то гладит его по волосам. Такие мягкие пальцы, как будто прикосновение весеннего ветра. Спокойно, Лир! Ты уже по ту сторону страха. С тобой ничего не случится. Ничего. Ты носишь в себе большое сердце. Чистое, как голуби, которые летают над Божьими полями. Ты — трагический король задушенного народа. Твою корону нельзя украсть. Она никому не нужна. Только твое тело дрожит в расставленных сетях. Будь спокоен. Из этой ночи ты никуда не денешься. Ночь это — часть Создателя. Ты сейчас въезжаешь в царство ночи.

...Звонки. Кто-то рвется с цепей. Ледяной покров ломается под бег диких, черных лошадей.

— Соломон, Соломон!

Это ее руки, ее голос.

— Где я? Сейчас мы погибнем в черных водах... Лошади тонут. Всадники не могут их удержать...

— Ты в лихорадке? Ведь это звонит телефон!

Его глаза горят лихорадочным блеском.

— Что они хотят?

— Тебя зовут, Соломон. Тебя зовут туда.

Он встал неуверенный. Сделал шаг и остановился. Его губы дрожат, как рыбы, выброшенные на берег моря во время шторма.

Ее дыхание горячо. Ломая пальцы, она улыбается ему в лицо. Как ясны ее глаза!

— Я сейчас приду. Скажи, что я сам приду. Что они хотят от меня? Мое сердце? Мою шею? Мою грусть? Мою фальшивую радость? Возьмите, берите всё! Кругом ночь. Нет выхода. О, пропасть всепоглощающая! Моя ли это очередь? Скажи путеводная, осенняя звезда, что под твоим светом я взошел! Что-же ты молчишь? Слепая ты, с бельмом... Он замолчал. И в тишине послышался тихий разговор его жены в трубку.

— ...Он сейчас придет. Уже выходит из дома.

На глазах слезы.

Лир не может видеть слез. Вытри их. Ха-ха-ха. Я тебя напугал. Эх, ты глупенькая. Ни один волос не упадет с моей головы. Он — мой друг. Покамест он в Кремле. Лир много себе не позволит. Лир может говорить что угодно. Лир всё равно присужден к смерти. Также и шут может возражать. Они хотят видеть Шелока. Я им покажу Шейлока наших дней. Пусть они видят требовательного Шейлока. Они хотят сейчас из груди моей вырезать фунт мяса... Для этого они меня зовут... Нет... Это я шучу... Почему ты так испугалась? Я тебя такой еще никогда не видел. Вытри, дорогая, твои слезы. Когда я был заграницей несколько лет тому назад, меня принял один знаменитый еврей, он протянул ко мне обе руки и со слезами на глазах проговорил: — «Счастливы-ли вы, хоть, красные еврейчики?» Я глотал слезы и молчал. Счастлив... Счастлив... трепетал во мне паяц. Большое счастье — что улыбалось мое лицо... А слез никто не видел. Сейчас они душат меня... Ты плачешь?.. Перестань!.. Это глупый страх... это усталость... Я болен... Мне ничего не угрожает! Ты не знаешь, как дружески он пожимает мою руку... Он идет мне навстречу... Иногда с задумчивыми

глазами, затуманенными... часто с колюче-издевательскими... Но это всё к добру. Ты всё еще напугана. Не удивительно. Такие злые звонки по телефону. Я его вышвырну... Ха-ха-ха. Кому он нужен в такой тишине? Мы напитаны, как губки, начинены пустым страхом. Сейчас мне хорошо. Мне легко. Мне так светло. Подойди сейчас ко мне. Ближе. Всё еще так горячо твое дыхание! Я скоро вернусь назад. На этот раз я не пойду в кафе. Я сейчас же вернусь. О, я представляю себе, как он меня примет. «Мудрый Соломон», он скажет. Я уже знаю эту шутку наизусть. Ха-ха-ха.

Она отпрянула от него. Ее лицо побледнело, а глаза — холодные, лед замерзшего зеркального колодца. В ней закипела чужая кровь. Кровь не-еврейки, польки. Графская кровь династии Потоцких. Она стояла против него, выпрямившись, с высоко-поднятой головой. Мускулы лица натянуты. Скулы напряжены. Губы острые, как натянутые стрелы.

— Довольно! Перестань! Я не могу тебя видеть таким сломленным, таким падшим! Отбrosь все сомнения. Гони прочь страх, Король Лир, ты убит в своей слепоте! Твоя осенняя Октябрьская Звезда не предостерегла тебя. Он тебя ослепил фальшивым светом. Открой свои глаза. «Мудрый Соломон» — зовет он тебя. Знаешь, что это значит? Знаешь, что он — отец народов смеется над тобой и над твоим прошлым. Несчастный! Дважды несчастный! Ты проклятый слепотой! Ты — сын народа, которого топчут ногами... Идол в сапогах, которого вы так торжественно помогли вылепить из глины, всех вас подчинил себе, и бросил к своим ногам!

Он ее такой никогда еще не видел. О, Боже, это ведь олица, которая вдруг раскрыла свои штурмующие крылья.

Глаза ее блестят страшным холодом. Она чужая и всё же такая близкая, такая родная. Единственно близкий человек на всем земном шаре.

— Говори, говори, — просил он ее, и низко опустился на ковер

• — Не проси. Я тебе всё скажу. Я должна это сказать. Я

не хочу равнодушно смотреть на эту проклятую игру, как они с тобой играют. До сих пор я тебе не говорила, но сейчас я должна тебе сказать всё. Ты должен это знать. Слушай! Ты должен знать, кто этот «Мудрый Соломон». И кто это делает? «Отец», «Спаситель». Не о библейском Соломоне он думает. Нет. Он тебя обличил в чеховского героя. Он называет тебя Мудрый Соломон — это тип Чехова. От него несет ненавистью к евреям. Не человек этот мудрый Соломон Чехова, а карикатура, паяц, полусумасшедший еврей, который играет на ярмарках, представляет для пьяных господ и мужиков, высмеивает и вышучивает евреев в пародиях и картинах из европейской жизни. Открой чеховский рассказ «Степь». Смотри! Ты слепой, осмеянный трагик, как издеваются над вами! Что я сказала? Над вами? Нет, над нами, над нами. Я тоже принадлежу к вам, к тебе. «Длинный нос, жирные губы и хитрые подбитые глаза». Так рисует Чехов кручёного актера Соломона.

Глупый православный батюшка Христофор зовет его «Мудрый Соломон», «Премудрый Соломон». Чеховский Соломон фальшивый, жадный до денег, властолюбивый еврей, который готов стать клоуном, паяцом, шутом гороховым, подчиненным, лишь бы добиться власти. Ты знаешь сколько раз отец заставил читать ему эту главу из чеховской повести. Ты не знаешь? Я знаю. Мне рассказали. Качалов мне сказал. Ты не видел эти холодные, стеклянные глаза этого «великого человека», этого «отца народов». Ты не видел его радости, которая исходила из его лица изрытого оспой. Как растаяло его восковое лицо от разогретого пламени ненависти.

Русский Качалов передо мной плакал. Он бил себя руками в грудь. Я плакала, а ты... ты всё играл глупого шута, роль умного Соломона. Я видела, как ты тонешь, как вы тонете. Народ медленно утопает, как связанные овцы, которых загоняют в пустыню, в пески. Ты стоял на высоте. Ты думал, что это остров. Остров в пустыне. А это оказался утопающий остров, твоих родных братьев. Теперь ты погибаешь. Теперь и я гибну.

— Молчи!

Он поднял кулаки. Он бил себя по голове. В уголках рта

показалась пена. Он закрыл дверь и тяжело, словно большие санки, поскользнулся с горы вниз в ночную бездну...

Снова тяжелый, вяжущий сон. Снова черно-серый лес. Сейчас, скоро всё кончится. Еще немного. Уж чувствуется конец пути по стуку вагонных колес. Такой неистовый, торопливый стук. Это идет от тормозов, которые задерживают дикий бег колес.

— Эй, где ты там задержался в тумане? Езжай дальше. Я не вижу ни ворот, ни охраны. Разве уже конец моего путешествия? Он идет с растопыренными руками. Кто-то ведет его под руки. Это шофер. Светлый луч падает на его лицо, как острый соломенный сноп. Чужой, злой голос. Снова звонок телефона. С ним говорят. Он протирает глаза. Холодный, осенний ветер обжигает его лоб, как крапива.

Он без шапки. Пальто — наброшено, висит у него на пле-

— Гражданин Соломон Михайлович, ты пьян? Это запрещено. Тебя ждут, а ты?..

Он пришел в себя. Пальто упало к его ногам.

— Король Лир сошел с ума. Уберите его отсюда — говорили посторонние люди.

— Не пьян... и не сошел с ума... Я в центре своего представления. Последний акт. Это я играю собственную жизнь. Сам актер и сам дающий занавес. Он поднял пальто. Милицонер помог ему всунуть дрожащие руки в пальто, при этом осторожно и незаметно ощупал его карманы и полы. Кто-то поправляет ему воротник. В дверях стоит полковник Родин, шеф охраны. Он ведет народного артиста по освещенному двору Кремля. Лир сидит в кожаном кресле. Кто-то разговаривает с ним возбужденно. Свет сегодня сильно затуманен. Отец народов появился. У Лира дрожат веки. Он глотает слюну. Кто-то кланяется. Ах, это официант.

— Красное вино или коньяк?

Он наклоняет голову и молчит. Только рука машинально мелькнула в воздухе. Признак безразличия.

Кто этот человек, который сидит возле него и говорит так сладко-приторно.

— Шекспир велик, но бессмертным его сделали артисты. «Король Лир» удивительная, пустая хрустальная ваза. Ее нужно заполнить вином. Сладким или желчно-горьким. Каждое поколение играет его по-иному. Каждое поколение находит там то, что ему подсказывает сознание. Через Короля Лира — высказывается актерское мировоззрение, его радости и горести, его любовь и... незнакомец осекся, а затем тихо проговорил: — его ненависть.

— Ненависть?

Взгляды их встретились осторожно как соприкасаются переполненные бокалы.

«Он» сегодня его обходит. «Он» повернулся к мудрому Соломону спиной.

Лир молчит. С ним здороваются, но никто не приближается к столику где он сидит. Что-то случится. Он чувствует это по тишине, которая его окружает. Может он уйти? Зачем его звали. С кем это разговаривает «Отец»? Что-то знакомое лицо. Кругом всё пусто. По углам сидят несколько музыкантов. Они боятся притронуться к футлярам. Женщина в черном смеется неизвестно кому. Плешивый череп качается как полинялый арбуз над озером, посеребренный светом звезд. Этот череп вертится в кругу «большого человека». Золотые эполеты горят красным блеском. Это — генерал Понаренко. Военный комендант Минска. Он идет по направлению к Лиру. Это он был у «Отца».

Они молчат. Наполненные бокалы на столе дрожат. Это происходит от нервной дрожи Лира в коленях. Оба выпили. Вся эта встреча продолжалась недолго. Сейчас он сознает это так ясно, так остро. Считанные слова. Почти приказ. Это сказал Понаренко Лиру, пожимая ему руку.

— Ты приглашен в Минск. Сегодня же ты отправляешься поездом. Ты мой гость. Это — годовщина освобождения города от немцев. Еврей, как ты, обязан там быть. Понял?

У генерала Понаренко вставные глаза. Человечки плава-

ют там, как недоразвитые лягушата. Его рука суха и холодна, как будто она обтянута кожей мертвеца.

Кто-то нагибается над ним. Снова этот приторно-сладкий голос. Этот змеино-скользкий голос.

— Вы свободны. Знаменитый актер. Вы можете идти. Во дворе вас ждет машина. Она отвезет вас к минскому поезду. Будьте спокойны. У меня ваше парадное пальто. Даже шапку вашу я затребовал из дома. Вам не нужно звонить жене. Я обо всем постарался. Она знает... Пойдемте уважаемый гражданин Соломон. В гардеробной вы оденете пальто, шапку, даже перчатки здесь есть... Смотрите как мы внимательны к

Лир поднял голову и смерил это существо уничтожающим взглядом.

— Перестаньте!

Вместо злости лицо незнакомца выразило презрение и сарказм.

Лир хочет смеяться, но не может.

— Я вам очень, очень благодарен. Я вас никогда не забуду. О, вы услужливый, любезный хол... — Лир не закончил фразы.

У вокзала вырос простуженный. Несколько бокалов водки. Темный вагон. Купе. Скрипящие двери, восковая свечка в фонаре, а затем лес — черная лесная ночь. Удушенные стада овец в противоположном окне. Стук колес. Дрожь всего тела. Шут торчит в темном углу:

— Дядя Лир, а дядя Лир, очнись... Возьми меня с собой, дурака. — Он прыгает на столик у окна и смеется ему в лицо. Он его возьмет в плен, шута.

Холодное замерзшее стекло. Слезы внутри и снаружи. Нет темноты, нет ночи. Он утопает в сетях паутины. Он рвется наружу. Она падает ему на глаза, в рот и на руки. Он чувствует ее на груди. Он дышит пылью сырой паутины и давится. Он не может ступить ни шагу. Кто-то стоит возле него. Кто ты есть, человек?

Освободить вагон! Все уже пусты. Гражданин ты заспался. Я тебя ищу везде уже целый час.

— Кто ты?

— Шофер военного коменданта.

Холод острый, кусающий. Машина несется по грустному утреннему свету. Низкий туман. Плыущие стволы. Ямы с водой. Тени. Тени. Слепые здания. Серые. Плачущие. Машина летит на кругу еще незаконченной ночи и неначавшегося дня.

Лир съежился, втянул голову в плечи, поднял воротник. Он преобразился. Стал самим собой. Конец Королю, конец шуту. Нет Шейлока, он уже больше не мудрый Соломон. Он несет сейчас свое бедное тело. Только это ему еще осталось. Свое беспокойное сердце. Большие, грустные еврейские глаза. Лицо, которое он мог преобразить по собственному желанию. Гордость и унижение. Злость и радость. Ненависть и Любовь. Мудрость и сумасшествие. Король и нищий. Приказывающий и униженный. Сейчас он полон жалости к своему маленькому телу, обыкновенному, голому. С тобой ничего не случится. Ты перешагнешь границу ночи.

Не перешагнул... не перешагнул... Стучат колеса..

Зал. Столько людей. Сколько военных. Ты больной Лир... Ты мнительный. Что тебе померещилось? Какой ты трус... Это всё от твоего слабого сердца. Это оттого, что много раз приходилось умирать и воскресать из мертвых. Страхни с себя боязнь... Ты сойдешь с ума. Так много исчезнувших друзей?. Пусти! Кто-то ведь должен остаться! Они должны кого-то оставить. Это буду я! Я! Шекспир бессмертен. Лир переживает всех царей. Лир... Мой бедный Лир... Его губы дрожат. Он не может показаться в таком виде в зале. Его лихорадит. Ох, эта кошмарная ночь. Нет, это усталость. Только один стакан водки..

— Эй наливай! Полней, живей! Уверенней! Кто со мной выпьет первый? Я только что с дороги. Давайте чокнемся, гражданин! Еще один. Наливай! Разве ты не видишь как у меня руки дрожат.

Полней, полней, братишка!

Кто-то повел его в боковую комнату.

Каждый раз, как только открывается дверь, врывается шум барабанов. Тогда встает Король Лир и стряхивает с себя паутину, пыль, которая летит ему в лицо, как будто он стоит на поле где молотят. Как сквозь сотни стекол он видит фигуру военного. Изрезанное лицо на квадраты и треугольники.

— Это генерал Понаренко... Ах, как я измучен. В глазах двоится. Как вы сюда попали? Только недавно виделись в Москве...

— Военным самолетом... гм... гм...

Слова Понаренко падают на Лира как стекла разбитых окон. Он встает, оглядывает Лира стеклянными глазами. Сейчас они уже потухшие.

Потом говорит генерал. Это был ход усталого и сытого волка вокруг стада овец. Волк, которому вовсе не нужны овцы, но он не может упустить их из своих лап.

В лице коменданта не было злости.

Безразличное лицо с глубокими морщинами в уголках глаз. По ту сторону дверей кто-то ждет. Достаточно позвонить и Король Лир будет освобожден от всех земных страстей. Нет, он этого не сделает. Он военно-служащий, который не может напасть на усталого, полуපъяного, разбитого человека.

— Соломон... Соломон.. Лир.. Шейлок.. очнись! Что ты дремлешь? Какойстыд, несколько бокалов и такой пьяный... — Лир поднялся. Он оперся о стенку. Снова лицо Отца Народов. На этот раз в золоченой раме.

— Я не пьян. Вы меня здесь напоили. Но сейчас я чувствую...

— Хотите закурить?

И вдруг Понаренко нагнулся к нему близко и сказал:

— Ты же ведь мог остаться заграницей, во время твоей поездки заграницу? Ты помнишь? Почему ты этого не сделал?

— Я имел поручение от Родины.

— Какой Родины?

У Понаренко разжигается злость, как пепел который летит от дуновения ветра.

— Советской Родины.

— Советской говоришь ты, это — неправда. Ты врешь всё время. У тебя нет родины. Не можешь ее иметь. Ты должен был отсюда бежать. Исчезнуть. Ты этого не сделал. Тебя связывало с нами что-то другое. Ненависть. От слишком большой ненависти ты не мог от нас уйти. Ты наблюдал за нами вблизи, как дикая кошка с презрением, с ядовитой пеной... Король Лир. . Твой государственный театр сегодня ночью разогнали, гнездо... прос... Ха-ха-ха.

Понаренко вдруг рассмеялся. Это был неожиданный взрыв смеха. Низкий, блестящий лоб сморщился. Двойной нос готовился чихнуть и заблестели большие искусственные зубы из золота и платины. Ха-ха-ха. Что? Напугал тебя Король Лир, испугал... Ты такой же человек как все мы. Ты думаешь, что я Его люблю? Ты думаешь, что я не пугаюсь Еgo, когда Он ко мне приближается. Не думаю ли я то же самое что и ты о его «отцовской» любви? Ой, Соломон, ведь мы же свои люди, кажется, даже земляки. Можем говорить откровенно.

Я хотел только видеть тебя в минуту раздражения. Ты хорошо делаешь. . Твой Лир настоящий, справедливый. Он приспособлен к нашему проклятому времени. Ах, как грустно на душе. Все вы уходите. Это больно. Тебе должно быть ещеней.. Твоя ненависть должна быть еще горячей. Это человечно. Это понятно.

Волк в образе Понаренко то угасает, то увеличивается. Мельчайшее движение Лира прогоняет сытость, волчью усталость. Тогда он прыгнет волчьими когтями. Сейчас он не может. Сейчас еще перед ним связанная жертва. Все мускулы напряжены к схватке. Моргание глазом, улыбка, движение тела Лира — достаточно, чтобы раздразнить волка.

— Ты молчишь Лир. Ты не хочешь говорить. Ты трёс! Такого нужно топтать. Ты не брат. Хоть мы и пили с тобой на брудершафт. Я с тобой откровенен. Говорю с тобой воткрытую, а ты полон недоверия ко мне. Потом ты меня выдашь. Как Иуда ты меня предашь в руки твоих «поклонников» От-

край рот! Говори! Я приказывают тебе. — Лир начал понемногу отступать к двери.

Черная стена надвигается на него. Он слышит шорох мертвых листьев. Он чувствует запах грязной лесной прелости.

— Я хочу уйти отсюда. Пустите меня! Пустите!

— Ты хочешь идти. Можешь. Дорога для тебя открыта.

Ты пойдешь далеко, далеко. Ты хочешь потащить меня с собой. Я вижу это по твоим глазам. Почему ты смеешься мне в лицо циничным смехом? Всё фальшиво. Покажи свое настоящее лицо. Покажи. Я хочу его видеть. Ты загримированный паяц! Ты еврейский король, который своей короной вытирал пыль у турецкого султана. Кто ты? Скажи. Откройся. Сними с себя свой грим, свою маску. Сколько масок носишь ты? Одна под другой. Я срываю одну, а под ней другая, срываю другую, вижу третью. Кто ты есть на самом деле? Теперь я тебя не отпущу. Я хочу видеть тебя насеквоздь. Ты молчишь! Ты стоишь как мраморная статуя. Смотрите на мраморную сиятельную маску. Я разобью этот мрамор тысячами ударов молотка и взорву твои холодные мраморные жилы. Течет ли в них кровь? Нет, яд течет в них. Ты плачешь? Ты принял вид невинного гонимого еврея? И это фальшиво. Я сорву с тебя твои одежды и выявится дьявол! Заколдованный! Чёрт! Еврейский дьявол, который несется над дремлющими mestечками и городами, который свистит в печных трубах, который разжигает в морозные ночи пожары, который радуется чужому несчастью. Который натравливает брата на брата, а потом несется его дьявольский смех над нашей несчастной Россией. Ты не можешь этого слушать? Мои слова жгут тебя? Посмотри на себя, разве ты не видишь свою дьявольскую рожу?

Водочный хмель ударил Понаренко в виски.

Лир оперся о двери и обеими руками закрыл лицо.

— Ты всё еще молчишь? Ты, дьявол, потерял человеческую речь. Говори, говори на своем дьявольском языке. Не хочешь? Покажи свое лицо.

В глазах волка холодные искры. Неудовлетворенность, ненасытность, пенистая, острозубастая.

Нажал кнопку на столе.

Кто-то открывает дверь. Лир стоит у открытой двери — одинокое дерево в ночном поле, которое охвачено молниями.

И сразу авторитетный приказ генерала Понаренко громадному солдату в длинной шинели:

— Проводи его к поезду. Он уже готов к отъезду...
Уже давно надо было его отослать...

...Закрытая машина бежит рядом с железнородожной линией. Рассвет. Туманы. Вагоны. Загородки. Поле. Свист паровозов...

Клубы пара. Низкие тучи и туманы. Низкие. Густые, серо-зеленые. Машина исчезла в туманах и в дыму.

Через час из своего кабинета военного коменданта города Минска Понаренко вызывает Москву.

Он говорит тихо и уверенно:

— Король Лир — мертв.

Мендель Манн

Перевел с еврейского

И. Томашпольский

П О Л Е

О поле, неоглядное поле,
Нет конца ночи и моему пути!
Как страшное лицо, поле
Смотрит и молчит.

О, не одолею, не одолею я —
Ни взгляда живого, ни признака жилья...

Снег, лес вдалеке, ветер —
Только приметы дали,
Это край, где никто не ответил,
Небеса тебя не признали.

Нерушимая безответность!
Преисполненная печаль!
О, путь неизвестный,
Где ничтожен плач!

Но я не поверну обратно,
О зимнее поле,
Для веселия, для богатства,
Ни для новой доли.

РОМАНС

Я знаю вязкую влюбленную усталость
И нежности подкинутый обман,
Но почему же эту злую малость
Так трудно сдать годам?

Мне тягостны, как нездоровье,
И перец нетерпенья встреч,
И по оврагам, без дороги
Прерывистая речь...

Скачка на месте! Узость задыханья!
 Зависимость от глаз, от губ, от рук!
 Но томное раздолье обладанья
 Не стоит этих мук!

Разлуки, ожиданья примелькались
 Ночам и дням.
 Но почему же эту злую малость
 Так трудно сдать годам?

ГАРДЕРОБЩИЦА

Гардеробщица,
 Добрая разбойница,
 Храбро грабит — по закону,
 Отнимает — без урону.
 Не боимся — возвратит
 Против холода нам щит,
 Против часа вьюжного
 Всё добро наружное.
 Ходит, ходит за оградой
 Участи своей не рада,
 Словно мачехи вражда
 Занесла её сюда —
 Около входных дверей
 Мертвых сторожит зверей,
 Лисьи, заячий останки
 Вплоть до ночи спозаранку.
 Как на грядках огорода,
 Рядом сажаны уроды —
 Куртки без живых сердец
 С безответностью овец,
 Вздернутые полушибки,
 Как безногие обрубки, —
 Всё о чём мы так хлопочем,
 Разновидность оболочек...

Отлученные от света,
От живительного лета,
Месяцами холода
По привёту голодны,
Заменяем мы объятья
Шкуркой и начинкой — ватной...
Что же, гардеробщица,
Добрая разбойница?
В заполярной мерзлоте,
На заказанной черте
Где-нибудь под лестницей
Долю длиг нелестную...
Как безрадостно владенье
Кинутым чужим именем!

O. Алексина

О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ И ЕГО «СВЕТЕ ВЕЧЕРНЕМ»

ЗАМЕТКИ ИЗ КРИТИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

Нуждается ли в рецензии литературное произведение большой художественной ценности? Я лично сомневаюсь в целесообразности такой рецензии. Вместо критических домыслов хотелось бы просто выбрать и перепечатать наилучшие, наиболее совершенные стихотворения «Света Вечернего», последней книги стихов Вячеслава Иванова. (Впрочем, истина оценивающего суждения, особенно истина выбора всегда субъективна). «Свет Вечерний» вышел в конце 1962 года в оксфордском издательстве «Кларендон Пресс» с английским предисловием видного британского критика-эссеиста Мориса Баура. Издание было тщательно подготовлено сыном поэта Дмитрием Ивановым. Комментарии написала и библиографию составила О. Дешарт. О творчестве Вячеслава Иванова, имя которого уже вписано в историю европейской литературы, писали Александр Блок, Андрей Белый, Валерий Брюсов, Николай Гумилев, Владимир Пяст, Фадей Зелинский, Федор Степун, Николай Бердяев, Сергей Маковский, Георгий Адамович, Лев Шестов, Семен Франк, Михаил Кузмин, Георгий Чулков, Габриэль Марсель, Эрнст Роберт Курциус (упоминаю лишь имена авторов наиболее существенных критических очерков), но ни в одной из этих статей нет упоминания о «Свете Вечернем» по той простой причине, что все они были написаны до его опубликования. Однако уже в 1954 и в 1957 гг., т.е. задолго до того как вышел «Свет Вечерний», на страницах журнала «Оксфорд Славоник Пэперс» (т. V и т. VII) появилось два очерка, посвященных песням этого сборника. Оба очерка написаны О. Дешарт. Они дают и тонкий анализ религиозных и философских воззрений Вячеслава Иванова, и описание стилистических особенностей отдельных песней, и це-

лый ряд биографических уточнений. Сергей Маковский в своей статье «Вячеслав Иванов» пишет: «Поэт всецело доверял ей правду о себе и своем творчестве. Я видел собственной его рукой написанные строки: «Только О. Дешарт может написать обо мне, настоящем, и как никто знает мою жизнь и все мои писания» (С. Маковский. «Портреты современников», стр. 292—293). С работами О. Дешарт следует считаться всем пишущим о Вячеславе Иванове и изучающим его творчество. Указываю еще две существенные итальянские статьи:

O. Deschartes: “V. Ivanov e M. Ghercenson”. Introduzione alla “Correspondenza da un angolo all’altro”. Lanciano. 1932. Ed. Carabba (Cultura dell’anima. Vol. 142); O. Deschartes: “Venceslao Ivanov. Cenni biografici”, “Il Convegno” (Rivista di Letteratura e di Arte), Anno XV, Gennaio 1934. Milano.

Как-то, в обществе американских славистов, мы спорили о том, как лучше перевести название сборника «Свет Вечерний» на английский язык? Я решил, в одной своей английской статье, перевести это название *Vespertine light*, так как мне это название книги казалось явно литургическим, сакральным, литературно-метафорическим. Мой оппонент утверждал, что «Свет Вечерний» — это *Evening light* или *Fading light*. За разрешением этой проблемы я обратился к О. Дешарт и просил ее дать, если возможно, точное определение этого названия, вызвавшего наш спор. Вот отрывок из ее письма, написанного 19 января 1964:

«Еще в России Вячеслав Иванов начал собирать стихи, написанные после «Нежной тайны», намереваясь напечатать новую книгу лирики. Думал назвать ее «Чистилище». Но в России он не только не собрался напечатать, но даже не успел приготовить сборник. В Риме, в 1936 году, он, наконец, собрал и распределил по отделам и старые, в России написанные, и новые, за рубежом возникшие, песни. Колебался между заглавиями: «Чистилище» и «Рай Заповедный». Война прекратила все замыслы о книге. В 1944 году написал «Римский Дневник» (историю его появления на свет Вы знаете по моим комментариям). Решив включить в будущую книгу новые стихи, Вячеслав Иванов стал сомневаться в точности придуманных прежде наименований. В крещенский вечер, 5 января 1945 г., я подошла к нему со словами молитвы, которую

читают на Всенощной: «Свете тихий святыя славы Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе. Пришедшее на запад солнца, видивше свет вечерний, поем...» — «Да, ‘Свет Вечерний’, — прервал меня Вячеслав Иванов, — я как раз об этом думал. Но читатель решит, что ‘Свет Вечерний’, сказано вместо ‘Сенилия’. И потом напоминает ‘Вечерние Огни’. Кто догадается — откуда эти слова и что они значат». Я ответила: «Разве так уже важно — догадаются или не догадаются. А, быть может, кто-нибудь и догадается. Достаточно одного». Тогда мы ничего не решили. Но когда впоследствии друзья из Оксфорда предложили Вячеславу Иванову напечатать книгу его стихов, он уже не сомневался в ее заглавии — «Свет Вечерний».

Вячеслав Иванов был близок к церкви и ко всему церковному. Настолько, что некоторые из его стихов звучат как литургические песнопения. О. Дешарт пишет в примечаниях к «Свету Вечернему», что Вячеслав Иванов «наизусть знал все церковные службы»... и «...по женской линии происходил из семьи священников» (стр. 211), что несомненно сильно повлияло на формирование мироощущения его как поэта и критика и отчасти объясняет его противопоставление идеалистическому «декоративному» символизму принцип озnamеновательного, религиозного искусства. Такой символизм Вячеслав Иванов называл реалистическим, имея в виду, конечно, реальность высшего порядка. Помимо христианских черт есть в творчестве Вячеслава Иванова и что-то от халдейских и персидских магов и древне-египетских жрецов. Магом и жрецом хотел быть и Валерий Брюсов; но неблагодатной была его магия, и не нашла она себе убедительного художественного выражения. Великолепие и внутренняя энергия слова сделали Вячеслава Иванова пророком-философом русской поэзии XX в. и единственным в своем роде друидом европейской поэзии нового времени.

В книгу «Свет Вечерний» вошло 142 стихотворения, вероятно, всё лучшее из написанного Вячеславом Ивановым после его последнего, при жизни напечатанного сборника «Нежная Тайна» (1912). Циклы «Зимние Сонеты» (12 пьес) и «Римские Сонеты» (9 пьес), несомненно — не только столп и утверждение этой книги, но принадлежат к самому совершененному, написанному стихами на русском языке вообще.

Георгий Адамович в своей интересной статье «Вячеслав Иванов и Лев Шестов» (помещена в его книге «Одиночество и свобода»), говоря о стихах поэта, утверждает, что они «усыпляют, порой, может быть, возвышают душу, обращают ее к высоким и важным думам, но в них обойдено и забыто все непосредственно-человеческое». Вопрос, конечно, в том, что называть «человеческим» — душевые ли свойства или духовные. Мне кажется, что человек как раз оказывается в высоко-интеллектуальном восприятии вещей. (Кстати, утонченная, «геометрическая» поэзия самого Георгия Адамовича правильно отражает разлад поэта с душевным в пользу духовного). Один из ценителей Вячеслава Иванова, проф. Антс Орас, высказывает о глубине этой высшей человечности так:

«Diese Tiefenwirkung... hat mehr als aesthetischen Reiz; vielen von uns erscheint sie als Gewehr unserer geistigen Existenz, des Menschlichsten in uns, der intellektuellen Kraft, die den lebenden Kosmos ordnet».

Человек «духовный» воплощен в стихах Вячеслава Иванова (особенно в «Зимних Сонетах») с такою силою, что представляется нам осозаемым. Прочтем хотя-бы третий сонет:

Зима души. Косым издалека
Ее лучом живое солнце греет,
Она ж в немых сугробах цепнеет,
И ей поет метелицей тоска.

Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, и час тебе довлеет;
Потом усни, как все дремой коснеет...
Ах, вечности могила глубока!

Оледенел ключ влаги животворной,
Застыл родник текучего огня.
О, не ищи под саваном меня!

Свой гроб влечит двойник мой, раб покорный,
Я ж истинный, плотскому изменя,
Творю вдали свой храм нерукотворный.

Что касается душевного человека, то на вопрос о возможности художественного воплощения его со всеми его слабостями и страстями сам Вяч. Иванов отвечает в статье «Мысли о Поэзии», законченной в 1943 г. (см. «Новый Журнал», кн.

69. Нью-Йорк. Сент. 1963 г.): «Отчего стольких стихотворцев, докучающих нам излияниями своих чувств, мы готовы отстранить ледяными словами Лермонтова: ‘какое дело нам, страдал ты или нет, к чему нам знать твои волненья, надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаленья?’ — и в то же время сочувственно откликаемся на признания других? Оттого, повидимому, что в первом случае психологическая данность обнажается преждевременно как таковая, и бытие переживается не претворенным в отдалившееся и в себе оформленвшееся визионарное инообытие, — между тем как во втором случае я, испытывающее аффект, предстоит как бы в зеркальном отражении, следовательно, отчуждении творческому я, уже свободному от наблюдаемого и изображаемого аффекта». Еще в 1912 г. Вячеслав Иванов сознавался, что в поэзии «разучился распознавать границы священных участков» (предисловие к «Нежной Тайне»), «ибо поэзия — вся многоликая жизнь, переживаемая поэтом в форме инообытия», добавляет он в «Мыслях о поэзии». Мерилом поэтического он считает достоинство формы. И по новому ставит он проблему формы, дает своеобразное её определение. Он утверждает, что «понятие формы художественной двулико, что различены должны быть форма зиждущая — *forma formans* и форма созиженная — *forma formata*. Последнее — само произведение, как вещь — *res* — в мире вещей; первая существует до вещи, как форма *ante rem*, как действующий прообраз творения в мысли творца». *Forma formans* — это «умная сила», взыгравшая в душе художника, «безошибочно знающая свои пути и предписывающая материю свой закон необходимого воплощения». По учению Вячеслава Иванова — «Поэзия есть сообщение зиждущей формы через посредство формы созиженной. Это поистине со-общение, т. е. общение, ибо первая, будучи движущим актом, не только зиждет вторую, но при её посредстве пробуждает в чужой душе аналогичное сози-дательное движение». (Мысли о Поэзии, стр. 90—91).

«Кудесник слова» (как называл его Зелинский), мастер стиха, Вячеслав Иванов свободно владел самыми различными размерами античных, романских, экзотических строф, и они звучат у него по-русски плавно и естественно. Он впервые ввел в русскую поэзию ямбический триметр, встречаются у него алкеевские и саффические строфы, гекзаметры, газелы, слоки, терцины. Особенно любил он сонеты. Их у него более двухсот, и среди них два венка сонетов. Но виртуозность

внешней формы никогда не была для него целью, а всегда лишь средством выражения, сообщения «взыгравшей в душе» зиждущей силы. В строгих формах передает он и душевное — мимолетную улыбку, задумчивую грусть. В стихотворении «Каменный Дуб» (стр. 21) душевность сказалась в рафинированно простом элегическом дистике. Потрясенный тяжелыми событиями на своей родине, поэт долго молчит; но вот в конце 1924 г. он очутился в Риме; среди «древних алтарей» проснулась в нем «умная сила», и «стихи свободно потекли». Ему и радостно, и грустно:

Хмурый молчальник, опять бормочу втихомолку стихами:
Хочет и каменный дуб майской листвой прозвенеть.
Дремлет в чеканной броне под бореями бурными зиму:
Зеленью свежей весна в пологах темных сквозит.
Черную ветвь разгляди: под металлом скорченных листьев
Ржавой смеется тюрьме нежный и детский побег.

Лирические признания Вячеслава Иванова далеки, конечно, и от неискорененной непосредственности Сергея Есенина, и от зачаровывающей душевности Блока (даже там трепетной, где он не говорит о личных переживаниях, как напр. в стихах «Опять как в годы золотые...»).

Вячеслав Иванов вкусила яблоко с «древнего дерева», его пронзило то «синее пламя сознанья», о котором писал Максимилиан Волошин. Возврата в рай непосредственной первобытности для него нет. Федор Степун в блестящей статье о Вячеславе Иванове пишет: «...человек изошреннейшего сознания, с душою многоголосой как орган, Вячеслав Иванов не мог, конечно, стать бесхитростным поэтом-певцом, тем очеловеченным соловьем, в котором люди определенного склада все еще продолжают видеть прообраз всякого подлинного поэта... Конечно, Бог создал Вячеслава Иванова настоящим поэтом, но Он создал его в одну из своих глубоко-задумчивых, философских минут». («Встречи». Нью-Йорк. 1962). И Зинаида Гиппиус знает, что не всем настоящим поэтам свойственна бесхитростная соловьиная простота:

К простоте возвращаться, — зачем, —
Зачем, я знаю, положим,
Но дано возвращаться не всем,
Такие как я, — не можем.

Простота Вячеслава Иванова — это конечная грань утонченности, это — в звуко-образе явленное «равновесие между стихией и духом», между небесным и дольним:

Горных стран потребна мера,
Недр земных измерить дно.
Говорят душе равно
Умозрение и вера:
Вифлеемская пещера,
Новый гроб в скале — одно.

В одном из последних стихотворений «Света Вечернего» поэт повторяет свою любимую мысль, что искусство уводит нас «в соседство инобытия» именно тогда, когда «зеркально отражает лик земной»; и тогда повседневное, давно знакомое поражает нас как новое откровение.

И про себя даемся диву,
Что не приметили досель,
Как ветерок ласкает ниву
И зелена под снегом ель.

В трудный, голодный 1919 г. Вячеслав Иванов переутомленный, изнуренный был послан для отдыха в санаторию, устроенную в «Серебряном Бору». Там «зеленому Раю» он пропел 10 песен; вот — 2-я из них:

Лес опрокинут в реке.
Веспер в ночном челиoke
Выплыл, — и вспыхнул алмаз
Где-то в бездонной реке.

Видел я в жизни не раз
В сей вечереющий час,
Как выплывал он и гас,
Веспер на сонной реке:
Что же в старинной тоске
Слезы струятся из глаз?

Словно приснилось лицо
Милой моей вдалеке;
Словно кольцо на руке
Верное ищет кольцо.

Глеб Струве совершенно правильно выделяет это стихотворение из позднего творчества В. Иванова и говорит, что оно «напоминает лучшие и наиболее простые стихотворения Сологуба, скорее, чем прежнего Иванова. А своим ритмическим строем оно перекликается с Пушкиным, Тютчевым и Баратынским».

К лучшим «простым» стихотворениям «Света Вечернего» следует отнести также следующие: «Прощальная», «Ночные зовы», «Могила», «У порога», «Покой», «Пальма», «Родина», «Февраль, 3», «Февраль, 12», «Май, 5», «Август, 6», «Ноябрь, 4», «Декабрь, 5».

Вячеслав Иванов теоретически утверждал нераздельность духовного возрастаия и художественного совершенствованья. Таковым был его собственный творческий путь: от торжественных, пышных «александрийских» (как их называли критики), блестяще-умных стихов «Cor Ardens» он перешел к тихим, мудрым песням «Света Вечернего». Улыбаясь, признается он в «Римском Дневнике 1944 г.»: —

К неофитам у порога
Я вещал за мистогога.
Покаянья плод творю:
Просторечьем говорю.

А в сонете «Явная Тайна» он рассказывает как «Весь исходив свой лабиринт душевный», стал петь «как дети, прост и светел».

По своей структуре поэзия В. Иванова — это коринфский ордер, самый нарядный из греческих архитектурных стилей. Примечательно, что он получил полное развитие и широкое применение именно в архитектуре античного Рима. Как в коринфском стиле так и в творчестве Иванова совершается встреча греческого и римского духа. Коринфский стиль — синтез богатства, полноты, изобилия, иногда и расточительности, — широко представлен в зодчестве Рима, и римский Пантеон, образец его, несомненно привлекал Иванова своим величием. Но поэзия Иванова, по-моему, ближе к коринфскому храму Зевса в Афинах, быть может, самому совершенному архитектурному творению этого стиля. Храм этот поражает своей высотой, величиной и великолепием, богатой игрой светотеней и сложным ритмом чередующихся рядов колонн. В поэзии Ива-

нова много декоративности, метонимической и метафорической, напоминающей коринфские колонны, увенчанные пышной и сложной корзиноподобной капителью, состоящей из растительного орнамента стилизованных листьев аканфа и волют. Но, несмотря на орнаментальное богатство, у Иванова, возможно, еще сильнее, чем элементы «коринфского стиля», господствуют строгая соразмерность и ясная простота ритма. Высокий ствол колонны храма Зевса — это мысль ивановских стихов, гармоничность композиции, сила архитектурных форм его метрики. Роскошь убранства: образы-капители-карнизы-скulptурные барельефы — не мешают развитию архитекторники его поэзии, особенно начиная со сборника «*Sog ardens*». Синтез декоративного, праздничного, динамического словоиздания и идеи «застывшей природы» особенно убедителен в уже упомянутых «Римских сонетах». В них Иванов в первую очередь — художник, и только потом — человек и верующий. Первый из этих сонетов («Вновь, арок древних верный пилигрим») постоянно — и по праву — цитируется в статьях о Вячеславе Иванове, — отчасти из-за вероятной аналогии между испепеленной Троей и испепеленной Россией. Наряду с ним — один из моих самых любимых римских сонетов, пятый сонет — пример редкого «легкого» мастерства, коринфской красоты движения, жизнерадостности, счастья. Иванов обращается здесь с мрамором сонета, как с мягким воском, извлекая из него тонкие живописные и скulptурные эффекты. Сонет этот гибок и экспрессивен и в модуляционной смелости и хроматизме его евфонии заключена большая выразительность. —

Двустворку на хвостах клубок дельфиний
Разверстой вынес; в ней растет Тритон,
Трубит в улиту; но не зычный тон,
Струя лучом пронзает воздух синий.

Средь зноя плит, зовущих облак пиний,
Как зелен мха на демоне хитон!
С природой схож резца старинный сон
Стихийною причудливостью линий.

Бернини, — снова наш, — твоей игрой
Я веселюсь, от Четырех фонтанов
Бредя на Пинчью памятной горой,

Где в келью Гоголя входил Иванов,
 Где Пиранези огненной иглой
 Пел Рима грусть и зодчество Титанов.

А мой пристрастный суд велит
 Его хвалить, хвалить барокко...
 (Август, 4)

и «Бернини, — снова наш...» в только что цитированном Пятом Римском сонете.

Напряженность формы, особая динамичность замысла, тяга к грандиозному должны были привести к любви Вячеслава Иванова к барокко, младшему брату коринфского стиля. Не знаю, был ли Вячеслав Иванов согласен со Шпенглером, провозглашавшим барокко «величайшим стилем Европы», но вероятно — в какой-то мере — он был склонен допустить возможность правоты такого суждения. Центральная идея искусства барокко — беспокойная красота — рассматривается как некая идеальная категория, возвышающаяся над природой. Рядом с идеей этого типа красоты выступает другая важная идея эстетики барокко — грация. И, наконец, в качестве третьего нормативного представления фигурирует декорум. Итальянский поэт Джамбаттиста Марино (1569-1625) писал: «Возбуждать удивление — задача поэта на земле; кто не может поразить, пусть лучше станет конюхом». Эта тяга к невиданному, но из ряда вон выходящему, желание создать ослепительное зрелище явно пленили Иванова, особенно в начале его творческого пути. Многоцветный мрамор и стукко, позолоченная бронза, росписи и раскрашенные статуи, сильно выступающие карнизы, фронтоны, пилястры, полуколонны и ниши получают в барокко преувеличенно пластическую обработку, и подвластное им пространство кажется как бы насыщенным движением. Не напоминало ли Иванову это движение его первую любовь — дионисийство? А если уж принять барокко, то нельзя не восхищаться одним из его самых блестательных мастеров — Лоренцо Бернини. Бернини, как и молодой Иванов, стремился к созданию величественных образов и насыпал их драматической патетикой и страстью. С первого взгляда и навсегда Иванов полюбил «Аполлона и Дафну». Его поразило превращение девичьего тела в божественный лавр, показанное Бернини в мраморе с необыкновенным ма-

стерством, живописной картинностью и легкостью. Здесь скульптор заставляет забывать о материальной весомости мрамора, — подобно тому как тяжесть сонетной формы (не только в оригинальных стихотворениях, но и в переводах Иванова из Петрарки) превращается в творческий «взлёт», в музыкальную победу над строгой структурой четырнадцатистишия.

Кроме того, как Иванов сам высказывает в приведенном выше Пятом Римском сонете, его «веселили» фонтаны Бернини. И они действительно замечательны своей затейливостью и умелым использованием воды, своим общим декоративным замыслом (фонтан с Тритоном на площади Барберини, зарисованный Ивановым: «...растет Тритон, / трубит в улиту...»). По своей разносторонности и монументальному размаху Бернини не знал себе равных в искусстве барокко XVII века. Фонтаны Бернини «веселили» поэта, а колоннада на площади св. Петра вызывала «восторг и умиление». И странно, что Бернини как архитектор в старости создал свое совершеннейшее вдохновенное произведение, а Бернини как скульптор в старости стал чрезмерно реалистичным и плотским; его работы на религиозные темы, особенно его изнемогающая св. Тереза, теряют всякую созвучность с произведениями метафизического поэта Иванова. Большой скульптурный талант Бернини — это *Naturstimme*, Иванов же (несмотря на некоторую народность) обладал культтивированным голосом, академическим *bel canto*. Внесенные Бернини отступления от строгого классического стиля грозят водворением анархии даже в свободном искусстве барокко. А Иванов обладает вкусом, не разрешающим ему вылиться из «через край переполненного» сосуда декоративного искусства. Бернини, несмотря на всю свою мощность, — талант женственный, бальмонтовской безграничности, женского безбрежья. Иванов, даже орнаментирующий, даже в своей самой пышной росписи и резьбе — талант мужественный, синтезирующий, выдержаный, подчиненный воинской дисциплине мышления и классической форме стихосложения. Возможно, однако, что в самом творческом *жесте* Бернини — и, например, в «державствующем» взмахе метафор Иванова есть какая-то общность движения (подобных — по силе — поэтических тропов не создал никто другой из русских поэтов-символистов). Приведу некоторые повороты речи из «Света Вечернего»: «И в солнечном костре / слепых от блеска дней», «Клики первых птиц... брызнув золотом сквозь облако печали», «Разделена в себе самой / святым расколом», «Лазури соль кропила камень», «Где райский хмель стал уксусом изгнанья», «Река течет бессмертия лугом / к началу вверх, откуда ключ

забил». «И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды / молчанья дикий мед», «Словесных гроздий сладость наливная», «Спасайся..., жизнь темная, от звездных копий хлада!», «И пламень неба, свод расплавя, / свергался золотом безликих ливней». У других поэтов усиление таких словозвучаний, таких динамических оттенков в поэтической речи, таких крещендо образов создало бы впечатление искусственной пышности. У Иванова же в рамках его образной системы и свойственной ему художественной выразительности, возведенной в категорию своего рода литургического абсолюта, — это — большой и убедительный стиль. (Некоторые критики Иванова, упрекающие его за «витиеватость манеры», не понимают, что он фактически воплощает этими приемами чистоту своего стиля).

В цитированном выше Пятом Римском сонете есть одна развернутая метафора, оригинальности и красоте которой я завидую от всего сердца. Завидую потому, что взята эта метафора из графического искусства, изучению которого я посвятил много лет — и не дошел до такого молниеподобного художнического ясновидения. Вячеслав Иванов в двух строках дает самобытный образ темперамента и тематики выдающегося итальянского гравера XVIII века Джамбаттиста Пиранези (находившегося под влиянием декоративной живописи барокко):

Где Пиранези огненной иглой
Пел Рима грусть и зодчество Титанов.

Пиранези достиг высокого мастерства в гравюрах, изображающих виды и архитектурные памятники Рима и Нижней Италии. Гравюры эти отличаются красотой светотени и эффектностью технических приемов. Гравер работал обычным резцом по меди, но смелости штриха достигал офортовой иглой. Игла эта в русской, французской и английской терминологии называется «сухой иглой», а в немецкой — и на языках Северной Европы — ее именуют «холодной иглой». И вот Иванов перевоплощает холодную иглу в **огненную**, и еще прибавляет, что Пиранези пел этой игрой грусть Рима. Думал ли он при этом о меланхолии Рима в фолианте «Римских древностей» Пиранези или о его — по нашей теперешней оценке самом зрелом произведении — цикле римских гравюр «Фантазии на тему темниц»? Огневой силы, присущей и лучшим

творениям Иванова, игла Пиранези достигла именно в «Темницах».

Любил Вячеслав Иванов и канун беспокойного барокко — нежный и величественный ренессанс: в «Римском сонете» VI он описывает фонтан «La Fontana delle Tartarughe», где четверо отроков «резвятся на дельфинах...»

И в этой неге лени и приволий
Твоих ловлю я праздничных утех,
Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.

Изваяния эти долго приписывались Рафаэлю, но созданы они были флорентийским скульптором Таддео Ландини, и в памяти Вячеслава Иванова они вызывали поэтический мир Лоренцо «Великолепного».

Но больше всех архитекторов и скульпторов певец «Римских сонетов» любил не Бернини, а другого титана — Микель-Анджело. Вячеславу было пять лет, когда в старинном альманахе «Картинах Света» он увидел списанным «Колосс сидящий — «Моисея»:

Кого не мертвый глыбой мнил
Ваятель, Ангел Михаил.
Бог весть, сковал мне душу чем он
И чем смутил; но в ясный мир
Вселился двойственный кумир.

(«Младенчество», 41)

По приезде в Рим осенью 1924 г. Вячеслав Иванов идет на «Пинчью», откуда по вечерам видно как солнце спускается за собор Петра.

Зеркальному подобна морю слава
Огнистого небесного расплыва,
Где тает диск и тонет исполин.

Ослепшими перстами луч ощупал
Верх пинии, и глаз потух. Один
На золоте круглится синий Купол.

Сонет этот был написан вторым, сразу после приветствия Риму, но поэт просил поместить его последним, девятым: ему хотелось закончить цикл словом — Купол. Последние годы своей жизни Вяч. Иванов прожил на Авентине. Окно его комнаты

выходило на запад, где далеко, над домами возвышался собор св. Петра. Он писал в «Римском Дневнике 1944 г.»: «Я видеть Купол удостоен».

«Вячеслав Иванов и изобразительное искусство» — какая вдохновляющая тема для музыкальского искусствоведа, типа Анри Фоссиона! «Вячеслав Иванов и музыка» — какая благодатная тема для музыковеда-стихолога типа Фрасибулоса Георгиадеса! «Скрябин и Вячеслав Иванов» — еще один богатый сюжет для аналитических попыток и параллелей.

Скрябин и Иванов расширили круг образов и тем в русском искусстве и, каждый в своей области, обогатили выразительные средства ритма и фактуры. Для музыкального языка Скрябина, как и для поэтического языка Иванова, характерны декламационность, динамичность и активные и повелительные интонации; гармонии же обоих присуща острота и насыщенность. Срятинские музыкальные образы (подобно метафорическому мышлению Иванова) носят абстрактный характер, это условные образы-символы. «Поэма экстаза» Скрябина, воплотившая в себе индивидуализм и экзальтацию художника, как и его мистерия «Прометей» — выражение его веры в преображение мира, осуществляемое магической силой искусства, — должны были быть близки Иванову. Под влиянием литовского художника-композитора М. К. Чюрлёниса, с творчеством которого ознакомил Скрябина Иванов, как он сам мне рассказал, — Скрябин в «Промете» стремился осуществить **синтез искусств**, ввести «световую симфонию». В напряженности драматизма, подъема, ликований и мистической символике Скрябин и Иванов схожи. Но в нервной порывистости модернистских скрябинских ритмов, в диссонантной интонации композитора сказалась черты, определенно чуждые Иванову-классику. Интересно, что лучшее стихотворение, посвященное Ивановым Скрябину — «Воспоминание о А. Н. Скрябине» — написано таким нежным тоном, что кажется — поэт скорее обращается к таким композиторам, как Глюк, Шопен, Дебюсси. В сонете «Новодевичий монастырь» Иванов говорит:

А за скитом, в ограде внешних стен,
Как вознесенный жертвенник, молила
О мире с небом Скрябина могила.

И здесь мир и нежность — вместо скрябинской бури. И только в двух сонетах, посвященных «Памяти Скрябина», перед нами встает подлинный Скрябин, творец «молний духа», со «святыней Прометея», с плотью, «опламеневшей язык небес». Сонеты эти, однако, являются тем, что немцы называют «Fehlschlag des grossen Meisters». Риторические и дидактические элементы здесь куда сильнее, чем эстетические, и поэтому результат — просто «литература».

В «Свете Вечернем» поэт упоминает также имена Бетховена и Баха:

Любовь не знает страха,
И Бог наш — Бог живых.
Бетховена и Баха
В гармониях родных

Залетные отзучья
Иных миров лови...

(«Пальма». Мое^й дочери Лидии)

Иванов провел большую часть своей жизни по соседству с «сумрачным германским гением» и особенно любил немецкую музыку. Его поколение увлекалось Бетховеном куда больше нашего. Поэта должна была восхищать титаническая личность композитора, его идеяность, его симфоническое творчество с ярко выраженным программным характером (принцип отчасти близкий и В. Иванову). Бетховен — композитор-симфонист, Иванов, до некоторой степени, — поэт-симфонист. Но Иванов не романтичен, как Бетховен, и не бунтарь его типа, их «реализм» далек друг от друга. Возможно, что ницшевский сверхчеловек и приводил в восторг Иванова в Бетховене, но слишком сильный эмоциональный подъем композитора был, конечно, неприемлем для эстетики поэта. Рядом с Ивановым-олимпийцем, настоящим аристократом духа, Бетховен кажется народным поэтом, поэтом масс. Бах стоит куда ближе к Иванову, хотя бы из-за лирико-философского содержания своих произведений, в особенности кантат, составляющих половину творческого наследия композитора. Как и Иванов, Бах — талант вокально-драматический. Вершины вокально-драматической музыки Баха — это «Страсти по Матфею» и месса H-moll. Хор «Et resurrexit» — в этой мессе — воспроизводит стиль блестящего оркестрового концерта и напоминает мне «Cor ardens» Иванова. Интересно, что драма-

тизм и звуковая пышность сочетаются у Баха также, как и у Иванова, со стройностью архитектоники (формообразующая ситуация похожа здесь на синтез ивановских стихотворений и коринфского стиля). Музыкальный язык Баха отличается чрезвычайным богатством, как и поэтический язык Иванова. Сложное художественное взаимодействие полифонического и гармонического мышления, красочности и внутренней логики, контрапунктического и тонального развития, яркой выразительности в деталях и строгой уравновешенности в больших масштабах — все это эстетический антитезис, столь убедительно осуществленный как Бахом, так и Ивановым. Сложная полифоническая ткань у Баха не прерывается до самого конца его музыкальных творений, требующих от слушателя (как и у читателя Иванова) напряженного внимания. Но Иванов не придерживается исключительно контрапунктического стиля. Начиная свое стихотворение полифонически, Иванов на редкость искусно сплетает «голоса» (голоса звукометафорики и метафорики как таковой), переходит (главным образом, в сонетах, но также и во многих стихах «Римского дневника») к гомофонии, к более простым и прозрачным мыслям, к более гармоническим звуковым сочетаниям, ставя себе целью не утомлять слушателя, не держать его все время в напряженном состоянии орнаментализма. Вот почему, по-моему, стихотворения Иванова скорее всего близки музыке Генделя, которому свойственно такое же направление творческой мысли.

Гендель — создатель классического типа **оратории**, в которой он развел традиции немецкой полифонии и инструментальной музыки и английского хорового искусства. И все творчество Вячеслава Иванова, любимца Полигимнии, можно рассматривать как не что иное, как одну большую ораторию. Основой его стихотворчества именно и является латинское ого — говорю-молю. Оратория развила из драматизированных хвалебных песен — лауд, — и разве стихи Иванова не являются именно такими лирическими гимнами духовно-дидактического характера? То обстоятельство, что Гендель писал свои героические оратории на библейские и античные мифологические темы, еще больше сближает его с эллином, христианином и ветхозаветным — по стилю — человеком — с В. Ивановым.

Сравнивая отдельные произведения поэта и композитора, пожалуй, можно сопоставить «Тантала» Иванова с «Самсоном» Генделя. Гендлевская линия, мне кажется, особенно сильна в «Свете Вечернем». Здесь поэзия Иванова, как и му-

зыка позднего Генделя, мужественна, ясна, монументальна, эпически величава. Разнообразие функции ритма, полнота аккордового и полифонического звучания строфы, гибкие, свободные места — и вместе с тем классически законченные формы выдвигают Иванова — наряду с Генделем — в первые ряды классиков хорового письма. Да, это поэзия — хоровая, даже там, где стихи Иванова чисто монологичны.

Наиболее характерные инструментальные произведения Генделя — красочные сюиты для больших оркестровых составов, с особым назначением духовых инструментов, — расчитаны для исполнения на открытом воздухе. Большинство стихотворений Иванова созданы как бы для чтения в античных театрах, дворах римских палаццо или, быть может, в крытых галереях больших монастырей. Органные концерты Генделя (в сопровождении оркестра или камерного ансамбля), написанные в торжественно-блестящем стиле, родственны «Римским сонетам» Иванова. Значительные по глубине содержания оркестровые концерты Генделя, его «Concerti Grossi» — разве не напоминают такие циклы стихов Иванова, как «De profundis amavi»? И наконец: творческий подвиг Генделя не нашел продолжателей в самой Англии, где не оказалось необходимых для этого идейных и музыкально-творческих стимулов. То же самое приходится сказать и о поэзии В. Иванова: у него не оказалось ни учеников, ни последователей, ни в России, ни за рубежом. Гендель заново открыт в 1959 году, в связи с двухсотлетней годовщиной его смерти. В 1966 исполнится сто лет со дня рождения Иванова, но мне не верится, что он так скоро станет «новым открытием» для русского читателя.

Каким вспомнят поэта грядущие поколения? Вячеслав Иванов сам верил, прислушиваясь к каким-то далеким, не гендлевским ли, фанфарам, что он в конце своей жизни совер-

Кого вы помнить будете,
Навек забуду я.
Бежал, кого осудите,
В безвестные края.

Чье имя с крыш вострубите,
Укрылся под чужим.
Кого и ныне любите,
Уж мною не любим.

«Разводная» (стр. 63)

«Свет Вечерний» полон мотивов воспоминания. В одном из своих весьма не-ортодоксальных стихотворений (меня восхищает тот факт, что Вячеслав Иванов не-догматический догматик)* автор отказывается от мудрствующей поэзии:

И поэт чему-то учит,
Но не мудростью своей:
Ею он всего скорей
Всех смущит иль всем наскучит.

Жизнь сладка ль на вкус, горька ли,
Сам ты должен распознать,
И свои у всех печали:
Учит он воспоминать.

Память обуславливает наше знание о мире и наше самосознание. Она — «венец сознания», она — «Матерь Муз». Она есть источник индивидуального творчества и пророческого дара. «Поэт, будучи органом народного самосознания, есть вместе с тем — орган народного воспоминания. Чрез него народ вспоминает свою древнюю душу и восстанавливает спящие в ней веками возможности». («По Звездам», 40) Воспоминание души об идеях (о которых говорит Платон в «Меноне») и память-воображение связаны у Иванова с редкими по своей оригинальности образами его «Памяти-Реки»:

*

* В сфере религиозного сознания Вячеслав Иванов (как Рильке и другие, ему соприродные поэты) — свободный христианин. Мало кому известно, что поэтом была подготовлена к печати и снабжена примечаниями *Псалтирь на славянском и русском языках*, изданная Ватиканской Типографией в 1950 г. «по благословению Католической Церковной Власти». В частной жизни Иванов — преданный католик, но как художник-христианин он вряд ли получил бы *Имприматур* или «Благословение» церкви своему «Свету Вечернему». Есть много гомеровски-земного в таких утверждениях Иванова как «Я мог бы петь как в прятки играет с Ночью Бог» (стр. 34). Смелее кого-либо из религиозных поэтов Иванов дерзает высказать свою, совершенно необыкновенную интимность с Господом Богом: «Из глубины Тебя любил я, Боже... Когда лобзал любимую, я ложе с Тобой делил...» (стр. 106).

...что реет к родникам былого
Времен возвратная река.

...не течь
В ее русло им значит жить, текущим
К истоку дней.

Путь по теченью обратному
К родным ключам.

(или — уже цитированное):

И вот река течет бессмертья лугом
К началу вверх, откуда ключ забил.

То Памяти-река. Склонись у вод —
И двойников живых своих увидишь.

Одним из таких живых двойников, а именно эллином, Вячеслав Иванов чувствует себя в течение всей своей жизни, и «Свет Вечерний» полон признаний о том. Но древне-греческие и христианские элементы никогда не сталкиваются, не спорят друг с другом в творчестве Иванова. В своих научных исследованиях о религии Диониса Вячеслав Иванов приходит к выводу, что «эллинская религия страдающего бога» была религией мистической и «первая в эллинистве определила своим направлением водосклон, неудержимо стремивший с тех пор всё религиозное творчество к последнему выводу — христианства». Ему, конечно, и в голову никогда не приходило отождествлять Диониса и Христа (что ему нелепо приписывалось), но он утверждал, что «церковная христология в принципе не была чужда эллинской мудрости; камнем преткновения была личность «Галилеянина» (как по легенде Юlian называл Христа Иисуса). «Верою в эту личность и её единственное значение жило и победило мир христианство; но здесь язычество перестало его понимать». («Дионис и Прадионисийство», 182). Религия Диониса — это «Ветхий Завет язычников». В одном из стихотворений «Света Вечернего» Вяч. Иванов сближает оба «ветхих завета» как два разных языка, которые двугласно говорят об одних и тех-же опасениях и ожиданиях:

Кому речь Эллинов темна,
Услышьте в символах библейских
Ту весть, что Музой внушена
Раздумью струн пифагорейских.

Эллинские и христианские элементы сплетаются в «Свете Вечернем» в целостный, гармоничный «узор». И один лишь раз гармония нарушается столь же неожиданным, сколь полновзвучным, эстетически убедительным диссонансом. Вячеслав Иванов пишет «Палинодию». —

И твой гиметский мед ужель меня пресытил?
 Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?
 Иль в вещем ужасе я сам его разбил?
 Ужели я тебя, Эллада, разлюбил?
 Но, духом обнищав, твоей не знал я ласки,
 И жутки стали мне души недвижной маски,
 И тел надменных свет, и дум Эвклидов строй.
 Когда ж, подземных флейт разымчивой игрой
 В урочный час ожив, личины полой очи
 Мятежною тоской неукротимой Ночи,
 Как встарь, исполнились, — я слышал с неба зов:
 «Покинь, служитель, храм украшенный бесов».
 И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды
 Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

«Палинодия» относится к тому периоду творчества Вячеслава Иванова, когда он вдали от родины, вспоминая всё пережитое, переоценивал свое духовное достояние. Любовно всматриваясь в долгий путь «пройденный родом христиан», поэт сочувственно проникает во внутреннюю драму отшельника III в. из ученых, воображает себя таким отшельником и на подобие св. Иеронима отказывается от умственной роскоши древнего мира. (Отсюда — образ пустыни и евангельские выражения «дикий мед и акриды»). Но недолго длилось отречение: «всё, что было подлинно истинно и прекрасно в античности, живет в христианстве» — вспомнил он слова мученика II в. — св. Иустина. И Вячеслав Иванов принимает гуманизм по новому в духе религии. Он пишет «*Docta Pietas*». Ту же мысль выразил Рильке в своем обращении к Богу:

Und jedes Lied das tief genug erklungen
 Wird an Dir glänzen wie ein Edelstein.

В самой «Палинодии» чрез страстные, искренние отрицания и отречения звучит столь же страстная, беззаветная любовь к Элладе. Здесь всё антитетично: мысль, чувство, напряженный мускул слова. Мне эти трепетно-суровые стихи напоминают

пронзительно-лирические и в то же время отрешенные, космические строфы Осипа Мандельштама:

Возьми на радость из моих ладоней

Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Элладе Вячеслав Иванов остался верен до конца своих дней. Я видел его последний раз за несколько недель до его смерти. На прощанье я спросил поэта что он думает о будущем европейской мысли. Он ответил мне улыбаясь, что ничего не знает о судьбах европейской культуры, но одно знает на-верное: если ему на том свете не дадут возможности читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен.

В «Свете Вечернем» поражает единение строгой мысли и страстного порыва, взыскательной изысканности в метрике стиха и трезвой простоты речи, пафоса эллинского и христианского, дифирамбического гимна и светлой, тихой песни. Поль Валери, другой эллин XX в. говорил, что совершенное поэтическое произведение должно быть пиршеством духа. Таким пиршеством несомненно является «Свет Вечерний».

Алексис Раннит

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Доставленный поутру бродяга
Дятлов, Велемир
еле дотягивается до одеяла
и отходит в лучший мир.

До солнца метут столицы,
засыпают зерно в закрома —
протоколы местных милиций
заполняются задарма.

«Велемир Лукич Дятлов,
в колокол — не звонил,
укрылся одеялами,
местожительство — изменил».

За решеткой Градской больницы
трясут по листочку —
был бродягой, — а не убийцей, —
был и поставил точку.

*

В Ростове, в Стругах, в Рязани,
в Батуми и в Бузулуке —
какая дума о расставании,
какая дума о расставании,
какие города-разлуки!

В Ереване и на Крайнем Севере —
в теперь переименованной Эривани —
какое бедствие и какая уверенность,
какая уверенность и какое бедствие,
какое бедствие расставаний!

В Семипалатинске и на Ладоге,
 в Калязине, на Вычегде —
 какие палаты, какие клады,
 какие палаты, какие клады,
 бездонные кладези горя привычного.

Какие разлуки — какие безбрежности,
 какое безмолвие — из Акмолинска, —
 и письма в пути, безответные прежние,
 и письма в пути, безответные прежние,
 на стоянках, в станицах, на станции в Бежице
 что «ходит» и молится,
 по каналам, инстанциям, по учреждениям,
 по довоенным еще уложениям,
 «ходит» и молится,
 «ходит» и молится.

*

Песок и море, желтый цвет и синий,
 и лижут волны, лежа там и тут,
 две средиземноморские пустыни,
 которые пройдут, улягутся, уснут.

Усталый плеск песчаного прибоя,
 бессменный, беспрестанный гул, —
 а под танго чугунного гобоя
 тут караван Сеуда утонул.

Сцепились вечной цепью дромадеры, —
 и как бы в поколебленной дали
 в прохладный португальский порт Мадейры
 бредут из Истанбула корабли.

Яков Бергер

О ЯЗЫКЕ

В чем разница между поэзией и прозой? И есть ли она? Поэты еще оспаривают привилегию составлять особую художественную церковь. Но для меня ясно: между поэзией и художественной прозой — нет никакой разницы. Это — одно.

В старых теориях словесности вы найдете такое разделение, но теперь оно уже утеряло свой смысл. Теперь мы не в состоянии различить, где кончается поэзия и где начинается художественная проза.

Внутренние изобразительные приемы в поэзии и прозе — те же: метафоры, метонимии и т. д. Внешние изобразительные приемы в поэзии и в прозе — когда-то различались. Но теперь у нас есть стихи без рифм. Есть стихи без определенного ритма — свободный стих. С одной стороны, в новейшей художественной прозе — мы часто находим пользование определенным ритмом; с другой — в прозе мы находим частое пользование музыкой слова — весь арсенал новейшей поэзии: аллитерации, ассонансы, инструментовку. Стало быть, резко — по внешности — от художественной прозы отличаются только стихотворения с определенным метром, т. е. только один частный случай поэзии. В остальном — никакой качественной границы нет.

В новейшей теории словесности я вижу разделение всех вообще произведений художественного слова на два вида: лирика и эпос; иначе говоря: раскрытие, изображение в словах авторской личности — и изображение других, посторонних автору личностей. Лирика — это путешествие по нашей планете, по той планете, на которой живешь; эпос — путешествие

В 1920-21 г.г. в «Доме Искусств» в Петрограде Е. И. Замятин читал лекции по технике художественной прозы. Лекция «О языке» прислана нам Л. Н. Замятиной. Эта лекция нигде напечатана не была. РЕД.

сквозь междупланетные, безвоздушные пространства, ибо люди, конечно же, разные планеты, отделенные друг от друга замороженным, с температурой — 273°, пространством.

И вот, если уж говорить о каком-нибудь качественном различии между поэзией и художественной прозой, так его можно определить так: поэзия — занимается главным образом областью лирики, художественная проза — областью эпоса. И быть подлинным мастером в области художественной прозы настолько же трудно, насколько междупланетное путешествие труднее путешествия по нашей планете.

Рассказчиком, настоящим рассказчиком о себе — является, строго говоря, только лирик. Эпик же, т. е. настоящий мастер художественной прозы — всегда является актером, и всякое произведение эпическое — есть игра, театр. Лирик переживает только себя: эпiku — приходится переживать ощущения десятков, часто — тысяч других, чужих личностей, воплощающиеся в сотни и тысячи образов. «У писателя, — говорит Гейне, — в то время, как он создает свое произведение, на душе так, как будто он, согласно учению Пифагора о переселении душ, вел жизнь на камне под различными видами; его вдохновение имеет все свойства воспоминания». Ясно, что писатель-эпик должен быть большим, талантливым, гениальным актером. Диапазон ролей, так же, как у обыкновенных театральных актеров — у писателя часто бывает ограничен: Гоголь был комик, и когда он пытался сыграть роли трагические или благородные, это у него не выходило; и наоборот, у Тургенева, прирожденного первого любовника — никогда не вышла бы комическая роль. Но вообще диапазон ролей у писателя — неизмеримо обширней, чем у актера театрального; способность перевоплощения у писателя — гораздо богаче. И у некоторых авторов она достигает изумительных, непостижимых пределов; таков был Дикенс.

Итак, остановимся на этом тезисе: эпическое произведение, т. е. нормальный образец художественной прозы — **есть театр, игра;** писатель — актер. Какой-же отсюда следует практический вывод, относительно языка, стиля? Вывод будет зависеть от того, какую из теорий театральной игры мы признаем для себя наиболее приемлемой.

В классическом театре, в греческом, вы знаете — была теория условной игры. Т. е. актеры вовсе не заботились о том, чтобы заставить зрителя забыть, что он видит не актеров, не сцену. Актеры играли в грубых, условных масках; условны были декорации. Терпешняя игра без маски, с гримом — была бы сочтена художественным преступлением, дурным тоном. Тот же тип игры сохранился по сию пору в Японии, в Китае. Условная игра — расчитана на зрителя очень примитивного, с очень свежей и острой фантазией, на зрителя, которому иллюзия не нужна. Но такой зритель для европейского театра уже умер — и потому умер в Европе такой театр, сохранившись в виде шаржа, гротеска.

Создался новый театр, который старался дать зрителю иллюзию действительной жизни, заставить зрителя забыть, что он смотрит на сцену, что он видит игру, — создался театр реальной игры. И тут, как вы знаете, две школы: я бы назвал их школа внешней игры — и школа игры внутренней. Школа внешней игры представлена у нас такими актерами, как Юрьев, такими театрами, как казенный Александринский, Московский Малый. Школа внутренней игры — представлена Станиславским и театрами — Московским Художественным и Студиями. И вот эта последняя школа, школа внутренней игры — требует от актера именно перевоплощения, вживания в изображаемое лицо, необходимого, по моему мнению, психологического условия для работы писателя.

Эту теорию театральной игры — игру Художественного театра — я назвал бы именно нео-реалистической. Если мы примем ее — вывод будет ясен: писатель должен перевоплощаться целиком в изображаемых им людей, в изображаемую среду.

Если вы пишете об уездной жизни — вы должны сами в этот момент жить уездной жизнью, среди уездных людей, мыслить по-уездному, — вы должны забыть, что есть Петербург, Москва, Европа и что вы пишете м. б. больше всего для Петербурга и Москвы, а не для Чухломы и Алатыря. Если вы пишете о Карфагене, о Гамилькаре, о Саламбо — вы должны забыть, что вы живете в 19-м веке после Р. Х., должны чувствовать и говорить, как Гамилькар. Если вы пишете о современном английчине — вы должны думать по-английски и писать так,

чтобы написанное вами по-русски имело вид художественно сделанного перевода с английского.

Вспомним, что рассказывал Чуковский об Андрееве: «Черные маски» он — Герцог Лоренцо; «Семь Повешенных» он — террорист; и т. д. Он — всё время актер, он всё время играл и в жизни. О Флобере мы знаем, что когда он писал «Св. Антония» — ему мерещились, его мучили все страшные дьявольские муки, какие являлись св. Антонию. Когда он писал об отравлении Бовари — он сам это чувствовал. Мопассан, создавши своего Орля — страдал от этого Орля. Словом, настоящие писатели — именно перевоплощались в своих героев.

Прошу извинения, что после Мопассана буду говорить о себе, но к себе и к своим вещам, к своим ощущениям мне придется часто возвращаться, именно потому, что мне они знакомы ближе всего и материал — под руками. Я не помню, кто меня спрашивал об «Островитянах»: «не перевод ли это с английского»?

Стало быть, вытекающее из всего сказанного, требование относительно языка в художественной прозе: язык — должен быть языком изображаемой среды и эпохи. Автора совершенно не должно быть видно. Положение о том, что язык диалогов должен быть языком изображаемой среды — уже стало бесспорным. Но я распространяю этот тезис — на всё произведение целиком: языком изображаемой среды должны быть воспроизведены и все авторские ремарки, все описания обстановки, действующих лиц, все пейзажи.

Пусть, например, действующие лица в рассказе — рыбаки. Если вы, описывая голову какого-нибудь рыбака, сравните ее, скажем, с глобусом или, допустим, с головой гиппопотама — это будет ошибкой. Образ сам по себе б. м. и хорош — но рыбаку он никогда не мог притти в голову. Этот образ выведет читателя из ощущения изображаемой среды, а это ощущение изображаемой среды — должно всё время, неизменно, проходить через весь рассказ, через всю повесть.

Когда я говорю «язык изображаемой среды» — этим я вовсе не хочу сказать, что писать об англичанах можно только по-английски, об эфиопах — по-эфиопски, о мужиках — по-мужицки. Разумеется, обо всем этом — мы будем писать по-русски. Если принять это слишком чистосердечно — мы дошли

бы до нелепых выводов. На каком языке писать о волчихе — то, что писал Чехов в рассказе «Белолобый»? На каком языке писать о лошади в «Изумруде» Куприна? На каком языке писать о дураках, о немых? Мы рисковали бы дойти до «Поэмы безмолвия» Крученых.

И вот, чтобы быть правильно понятым, я должен оговориться, что когда я говорил «язык среды» — я разумел не буквальный язык среды, а художественный синтез языка среды, стилизованный язык среды. Когда пишешь о мужике — вовсе нет надобности писать «штоп», «быдто», «окромя», «апосля». Это — дурной тон и свидетельство художественной беспомощности автора. У опытного мастера всегда есть уменье, не коверкая грубо язык, дать художественно-синтезированное впечатление подлинного языка изображаемой среды, — будет ли это мужик, интеллигент, англичанин, эфиоп или лошадь. Надо выбирать и вкрапливать в текст только типичные, красочные, редкие, оригинальные слова, способные объяснить язык среды, а отнюдь не банальные и тысячи раз использованные «штоп» и

Каждой среде, эпохе, нации — присущ свой строй языка, свой синтаксис, свой характер мышления, ход мыслей. Нужно усвоить себе и использовать именно это. Характерными являются не грамматические, а синтаксические уклонения в языке. Самым характерным, а вместе с тем наименее искажающим литературный язык — является расстановка слов, выборы синонимов. Вот это — синтаксис, расстановку слов — нужно изучить, почувствовать и постараться передать в рассказе или повести. Все эти факторы отнюдь не вводят в язык никаких грубых искажений, а вместе с тем совершенно передают дух языка той или иной среды.

Народный язык. Современный народный язык — это прежде всего язык разговорный, диалогический. А основная особенность диалогического языка — будь это народный или ненародный — это отсутствие периодов и придаточных предложений второй и третьей степени. Почти исключительно самостоятельные предложения или самостоятельные с придаточными первой степени. Следствием этого является, что в народном языке почти совершенно отсутствуют такие союзы как «когда», «так как», «потому что», «повадился кувшин по воду

ходить — там ему и голову сломить»... Отсутствует «который» и т. д. Часто выпадает даже и «что». «Кажется (что)», «думаю (что)». Это, повторяю, — первое и основное. Второе: частое опускание глаголов и своеобразных глагольных форм. «А он шапку об пол — да домой»: глагол опущен. Своеобразные формы — такие, как «хвать», «хлоп», «цап» и т. д. Необыкновенная выразительность, динамичность этих форм. Старинная форма деепричастия: «умываючись», «пугаючись», «русу косу плетучи, шелком перевиваючи». Частое пользование многократным видом глагола: «хаживал», «видывал», «быывал», «поприплевывал». Неопределенное наклонение: «там ему и голову сломить» — очень частая форма. Третье: по отношению к существительным и прилагательным: обильное пользование уменьшительными и увеличительными формами. Особенно типичны — уменьшительно-ласкательные формы прилагательных: «порожнёшенький», «чернёшенький». Своеобразные формы увеличительных для имен существительных: «собака» — «собачища». Четвертое: — повторное употребление предлогов: «как у наших у ворот»... «у околицы у самой»... «из-под дуба — из-под вяза»... Потом: — частое пользование частицами «да», «ведь», «то», «ну». Это идет от очень древних времен: былины. Потом: — расстановка слов... И — собирательная форма в единственном и множественном числе: листъё, батожъё, угольё. «Кликать» вместо «звать»; «кобель» вместо «пёс» или «собака»; «страшать» вместо «пугать». Прилагательные на ящий: зрящий, плодящий, работящий, гулящий. Приставка «пре» — степень прилагательного: сладкий — пресладкий. Числительные с сам: сам-шест, сам-пят, сам-третей. Местоимения: вашенский, нашенский. Многократный вид глаголов: быывал... Однократный — толкануть. Повелительное наклонение — вместо условного (будь я царем) и вместо прошедшего («случись тут на грех мухе быть — и села муха...»).

Писатель не только пользуется языком, но и создает его — создает законы языка, формы и словарь. И потому он должен чувствовать всю ответственность при выборе слов. Надо выбирать, как я уже говорил, такие слова, которые способны обогатить язык, такие слова, которые очищают язык, а не засорят его.

Первоначальный источник и творец языка — народ. Фоль-

клор. Надо прислушиваться к народному говору; тут можно услышать такие неожиданные образы, такие меткие и полные юмора эпитеты, такие выразительные слова, каких городским людям, интеллигентам, воспитанным на газете и испортившим свой язык газетой — никогда не придумать. Все эти жемчужины надо откапывать не в больших городах, а в коренной, кондовой Руси — в провинции. Но тут не надо забывать совета Пушкина, который считал самым лучшим русским языком — язык московских просвирен. Подлинный и чистый русский язык сохранился только в провинции средне-русской и, я добавлю, на севере России — в краях Олонецких и Архангельских. Только здесь можно учиться русскому языку, только отсюда можно черпать такое, что действительно может обогатить литературный язык. В провинциях западной России — русский язык испорчен белорусско-польским влиянием; в провинциях южной России — русский язык испорчен полонизмами, украинизмами и еврейским жаргоном. Пользование этими — южными и западными — провинциализмами в диалогах действующих лиц — конечно, совершенно законно. Но вводить такие провинциализмы в текст, в авторские ремарки, в пейзажи — было бы грубой ошибкой. Особенно страдают этим недостатком писатели-южане, потому что нигде так не испорчен русский язык, как на юге и особенно в Одессе. Такие одессымы часто можно встретить у А. М. Федорова. Недавно, перечитывая Чехова, я нашел у него в начале одного из его рассказов такую фразу: «Душное июньское утро. Чувствуется тоска за грозой (!)». Рассказ написан в Таганроге.

Кроме этих живых источников, которые могут обогатить язык, есть еще источники литературные. Сюда относятся прежде всего памятники эпической народной поэзии: былины, сказки, песни. Для использования этих материалов надо брать, конечно, не хрестоматии, не обработки, а первоисточники, подлинные записи — Русского Географического Общества Академии Наук. И, наконец, мы не сделаем ошибки, если в поисках словесных жемчужин, поднимемся еще дальше вверх по течению, к самым истокам русского языка: к памятникам древнеславянским, к изучению апокрифов, акафистов, Четви-Миней, особенно старообрядческих. Если вы попробуете посравнить старообрядческие церковно-славянские памятники с православ-

ными — вы увидите, какая большая разница между ними — и разница не в пользу православных книг. Объясняется это тем, что при Петре Великом церковные книги и, в частности, Четы-Минеи, были пересмотрены и процензированы, вернее — изуродованы. Было выкинуто описание целого ряда очаровательно-несообразных чудес — в угоду нарождавшемуся позитивному духу; был выкинут целый ряд любовных эпизодов, потому что подчас все эти соблазны и падения святых излагались в словах примитивно-грубых и откровенных; выкидывались просто древние, крепкие слова — и заменялись более новыми.

Есть целый ряд писателей, которые прибегали к перечисленным источникам обогащения языка. Из старых писателей — совершенно исключительное богатство языка у Лескова, который пользовался источниками церковно-славянскими, с одной стороны, и фольклором, провинциализмами в хорошем смысле этого слова — с другой. Затем — Мельников-Печерский: этот пользовался старообрядческими печатными материалами и провинциализмами. Отличными знатоками фольклора были Л. Толстой и Чехов: недавно я перечитывал пьесы Толстого — и меня поразило, какой богатый и подлинно-народный язык, например, во «Власти тьмы»; удивительно, что до сих пор никто не занимался исследованием Толстого с этой точки зрения. Из новых писателей хорошо знает фольклор Горький. Но этими своими знаниями, по крайней мере, вначале своего творчества он пользовался как-то мало и недостаточно искусно; частенько речь его героев звучала фальшиво — все эти премудрые афоризмы... И только в третьем периоде своего творчества — Горький по-настоящему использовал все свои фольклористические богатства («Ералаш»). Очень большой и неоспоримый знаток языка — Ремизов. У него вы найдете и пользование живым фольклором; но основная его специальность — это выкапывание драгоценностей из старых книг, особенно старообрядческих.

Из писателей младшего поколения — я думаю, не без оснований, критика часто отмечала знание фольклора в том, что написано мною; отмечу, что я пользовался почти исключительно живым, подслушанным фольклором — тамбовским, костромским и северным. Хорошо знают язык также Шмелев и Тренев, хотя у последних можно встретить подчас режущие ухо южные провинциализмы. Из поэтов — удивительный знаток и мастер языка

— Николай Клюев; у него — крепкий, верный северный язык, северно-русский фольклор — и одновременно пользование старообрядческими, сектантскими духовными стихами.

Перечисленные авторы могут служить второисточниками для изучения языка. Но этими второисточниками нужно пользоваться только для того, чтобы войти в дух языка, полюбить язык, научиться пользоваться им. Черпать материалы из таких второисточников — не годится. Впечатление оригинальности, своего языка вы можете создать, конечно, только в том случае, если будете обращаться непосредственно к первоисточникам.

Здесь надо упомянуть о технических приемах при пользовании провинциализмами или старо-русскими словами. Одни авторы, совершенно лишенные художественного вкуса, в изобилии уснащают рассказ провинциализмами или — еще хуже — туземными словами, и к каждому слову делают примечание внизу страницы. Щегольнет словом «кугá», а внизу примечание: «Кугá — мелкий лед во время осеннего ледохода». Совершенно очевидно, что такие примечания отвлекают внимание читателя, расхолаживают его и разрушают художественное очарование. Это абсолютно недопустимо. Но с другой стороны, недопустимо и другое: вклеивать в текст слова, смысл которых совершенно непонятен читателю. Где же выход? А выход в том, что, давая читателю слово совершенно новое и незнакомое, преподносить его так, чтобы читателю было понятно, если не точное значение его, то во всяком случае — смысл. Если я говорю «двоединского начетчика племяш» — слово «начетчика» тотчас же ассоциируется с старообрядцами. Иногда это оказывается почему-либо затруднительным: тогда можно прибегнуть к другому способу — рядом с малознакомым словом вы ставите объясняющее его приложение или синоним более употребительный: «поставили себе шатер — лопскую вежу»... («Север»). Таким приемом вы избежите того, что читатель не поймет вас — и, с другой стороны, не нарушите художественного очарования; и не будет для читателя трактата в примечании.

До сих пор мы говорили о пользовании разными источниками для обогащения языка. Но ведь помимо этих сторонних источников у писателя есть еще один, который всего ближе к автору: это он сам. Я хочу сказать, что признаю за писателем право создавать новые слова, так называемые **неологизмы**. Ведь,

в конце концов, несомненно: те первоисточники языка, пользование которыми признается уместным — обогащались тоже не иначе, как путем создания неологизмов. В народе часто вы можете встретить человека, который за словом в карман не полезет, человека с таким же талантом и чутьем к языку, как бывает музыкальный талант. И как обладающий музыкальным талантом естественно создает новые мелодии — так и обладающий лингвистическим талантом создает новые слова. И если эти новые слова оказываются меткими, выразительными — они запечатлеваются в памяти окружающих и постепенно приобретают права гражданства. Путь неологизмов — естественный путь развития и обогащения языка. И больше того: единственный путь. И писателю нельзя отказаться в этом праве.

Но жизнеспособными оказываются только те неологизмы, которые соответствуют законам и духу языка, только те, которые созданы работой подсознания, а не выдуманы. Неологизмы, сделанные в лабораторной банке — никогда долго не выживают. В большинстве случаев, когда вы встречаете настоящий хороший неологизм — вы только с трудом можете установить, что это — неологизм; всегда кажется, что как будто вы уже встречали это слово: настолько естественно оно звучит.

Диалогический язык. Вопрос о разговорном языке в художественной прозе — в сущности говоря — вопрос социального порядка, как это ни парадоксально на первый взгляд. Но это так. Если мы оглянемся назад, мы увидим: чем ближе было общество к феодальному строю, тем больше, рече было различие между литературным и разговорным языком. Средневековые — латынь. Или ближе к нам: вспомните борьбу в начале 19-го века за приближение русского литературного языка к разговорному, борьбу между Шишковым, председателем Академии, и Карамзиным, борьбу между «Беседами любителей русского слова» и «Арзамасом», где были Жуковский, Батюшков, Вяземский.

«Арзамас» тогда победил. Но повторилась обычная история: все революционеры, побеждающие старое, немедленно становятся консерваторами и охранителями «устоев». Победители становятся элементом реакционным, задерживающим развитие. Так случилось и здесь. Разговорный язык — опять ушел вперед от литературного; между литературным и разго-

ворным языком — опять образовалась какая-то расселина. И борьба за сближение литературного и разговорного языков — продолжается. Появились новые адмиралы Шишковы, которые так же рьяно защищают неприкосновенность тургеневского языка в художественной прозе, как раньше Шишков защищал язык Ломоносова и Державина, — новые Шишковы, которые не приемлют никаких неологизмов, борются против обогащения литературного языка народными оборотами и речениями.

Я считаю это явление — сближение литературного и разговорного языка — очень жизненным; оно идет в ногу с общей исторической тенденцией демократизации всей жизни. Словом, мой тезис таков: в современной художественной прозе — язык должен быть по возможности близок к разговорному, непринужденному, живому языку. Разговорным языком должны быть написаны не только диалоги действующих лиц — там это требование уже стало аксиомой — не только диалоги, но и пейзажи, и описание обстановки, и описание персонажей. Разумеется, там, где речь идет о воссоздании какой-нибудь минувшей эпохи, о стилизации, там это требование неприменимо.

Этот тезис, в сущности, логически вытекает из другого, о котором я уже говорил. Если повесть, рассказ — рассматривать, как игру, а писателя, как актера, то ясно, что писатель и вести себя должен, как актер во время игры, т. е. говорить, зрители должны слышать его всё время, видеть его жесты, мимику. Когда я говорю «его» — я не хочу сказать — автора. В произведении эпического склада — автора не должно быть видно: зрители видят ведь не Качалова, а видят Гамлета, Ставрогина, Бранда, Ивана Карамазова. Так и здесь: читатели должны видеть и слышать автора в той роли, в том гримме, который нужен для воспроизведения духа изображаемой среды.

Не знаю: не явилась ли тут у вас такая мысль: зачем так долго останавливаться на разговорном языке? Как будто, такая простая вещь: говорить мы все умеем — просто «говорить», без всяких ораторских приемов. Но в том-то и дело, что говорить мы все умеем, а записать именно так, как мы говорим, просто, текуче, динамически, живо — умеют немногие. Есть, не помню — анекдот или рассказ — о присяжном поверенном, который пришел к зубному врачу и начал рассказывать о зубной боли: «Господа присяжные заседатели!..» Так вот, боль-

шая часть писателей чувствуют себя присяжными поверенными, ораторами, а не актерами, и пишут с ораторскими приемами. Обычный, избитый стиль повествовательной формы — это женщина в корсете. Мне приходилось встречать таких старинного светского закала женщин, которые без корсета чувствовали себя неловко: им мешало отсутствие того, что мешает — корсета. Вот такой же корсет — обычная повествовательная форма, и этот корсет пора сбросить.

Основная особенность не ораторского, не литературного, не корсетного языка — это большая его динамичность: нет сложных периодов, нет придаточных предложений с многократной зависимостью. Причинные и временные придаточные предложения в разговорной речи обычно выделяются в самостоятельные. Вы не скажете: «Ввиду того, что погода была дурная, я весь день сидел дома», а скажете: «Погода была дурная — и я весь день просидел дома». Вы не скажете: «После того как часы, стоящие на камине, пробили девять, мы пошли домой», а скажете: «Часы на камине пробили девять — и мы пошли домой». Причастия и деепричастия в живой разговорной речи встречаются очень редко. «Поужинав, выпив кофе и закурив сигару, я уселся читать роман» — это шаблонный, принятый язык повествовательной формы. Если вы будете держаться разговорной формы — вы должны будете сказать и написать так: «Я поужинал, выпил кофе, закурил сигару — и уселся читать роман». Не годятся в разговорной речи придаточные предложения с местоимением «который». «Те, которые не умеют ненавидеть — не умеют и любить». Ближе к живому разговорному языку будет сказать — и написать: «Кто не умеет ненавидеть — тот и любить не умеет». Пользование частицами «ну», «вот», «то». Тоже самое явление, с каким мы встречались, когда говорили о народном языке; разница только в том, народному говору свойственно более частое пользование этими частицами и их больше: есть еще «де», «мол» и др. Когда слова выражают собою какое-нибудь напряженное переживание, какую-нибудь страсть — это словесная одежда в живом рассказе никогда не бывает аккуратно застегнута на все пуговицы: она непременно небрежна, часто разорвана на клочки. В таких — драматических местах — для живой речи характерны усеченные, неполные предложения; пропуски таких элементов предложения, как

подлежащее, сказуемое; разговорная речь становится лихорадочной, отрывистой.

В сущности, не стоило бы и говорить о том, что в самих диалогах действующих лиц — должен быть живой разговорный язык. И если я всё же упоминаю об этом, то только потому, что у наших писателей, даже и современных, в диалогах очень часто можно найти корсетный, напомаженный, ораторский язык. Особенно у авторов, пишущих на задуманную тему, у которых сюжет складывается дедуктивным путем, хотя бы у того же Арцыбашева, Винниченки, местами — у Горького.

Кроме серого, газетного, переводного языка — вы видите здесь еще один недостаток: это — длинный монолог. Монолог, как вы знаете, был в большом ходу в старой драме — и совершенно вышел из употребления в новой. Точно также монологу — уже нет места в новой художественной прозе. Монолог всегда лучше развертывать в деле, перемежать интермедиями.

По отношению к диалогу между действующими лицами — есть еще одно требование. Чтобы выполнить его, от автора требуется большое мастерство. Но если этот прием удается, он производит большой художественный эффект и дает огромную художественную экономию. Я говорю об индивидуализации речи каждого из действующих лиц. Каждое действующее лицо, во всяком случае — каждый из главных персонажей — должен говорить своим, индивидуальным языком. Художественная экономия достигается потому, что этот прием избавляет вас от необходимости какими-то авторскими ремарками напоминать читателю о тех или иных характерных особенностях действующего лица: само действующее лицо напоминает об этом своей, индивидуализированной речью. А искусство художественной экономии является одним из непременных требований от мастера художественной прозы: чем меньше вы скажете слов и чем больше сумеете сказать этими словами — тем сильней будет эффект, при прочих равных условиях — тем больше будет художественный «коэффициент полезного действия».

То, что я сказал о разговорном языке я думаю дает достаточно ясное представление о разнице между диалогическим языком и обычным литературным. Чем же обусловливается эта разница? Она обусловливается разницей во времени, протекающем

от возникновения мысли у человека до проявления ее во вне, от момента возникновения мысли до момента ее воплощения в словах. Если вы пишете, напр., статью — времени довольно много: мысли могут укладываться в сложные предложения, периоды. Если вы говорите — времени меньше: потому язык разговорный — динамичный, короче литературного, в нем — частые пропуски не абсолютно необходимых элементов, недоговоренности. И наконец, если вы не высказываете вслух своих мыслей, — вы располагаете еще меньшим, неизмеримо меньшим временем, чем в том случае, когда вы говорите. Если мы будем разбираться в языке мысли, мысленном языке, то ясно, что основную его особенность мы увидим в краткости еще большей, чем это мы наблюдаем в разговорном языке. Ясно, что тут уже не может быть речи ни о каких формах сложных или придаточных предложений. Больше того: в мысленном языке, если вы попробуете прислушаться к этому языку в себе, — вы не найдете даже и простых предложений, а одни только кусочки, обрывки простых предложений. Из предложений берется только самое существенное: иногда один глагол, иногда один какой-нибудь эпитет, какое-нибудь дополнение.

Зафиксировать на бумаге эти быстробегущие, как облака, тени слов, фраз, силлогизмов — дело очень нелегкое и удается немногим. Именно потому, что это трудно — можно допустить для передачи мысленного языка понижение динаминости, т. е. передать мысленный язык — разговорным. Если же передавать мысленный язык в описательной, повествовательной форме — это почти всегда выходит вяло, неубедительно, это не доходит до читателя: читатель невольно, бессознательно чувствует несоответствие формы с изображаемым объектом — тяжелой, пустой, повествовательной формы с легчайшим, летучим объектом — мыслью.

Воспроизведение мысленного языка я считал бы безусловно необходимым в тех случаях, где приходится изображать мысли персонажей в какие-нибудь напряженные, катастрофические моменты. Если удается воспроизвести этот — мысленный — язык, это всегда производит большой художественный эффект. На первый взгляд такое утверждение, пожалуй, покажется парадоксальным: почему эти отрывки предложений, разбросанные, как после какого-то взрыва, — могут произвести

на читателя воздействие более сильное, чем те же мысли и образы, построенные в правильные, мерно марширующие одна за другой шеренги? Но если вдуматься в психологическую сторону явления, дело станет ясным. Когда вы читаете вот такие, очень напряженные места, написанные обычным повествовательным языком, вам, вероятно, случалось наблюдать, что вы опрокидываете целые куски фраз, целые фразы, и как-то инстинктивно оставляете одни самые нужные вехи мыслей. Когда вы применяете этот прием, о котором я говорил, и в напряженных местах пользуетесь вот этим самым «мысленным» языком — вы идете навстречу инстинктивной, естественной потребности читателя. Вы не заставляете его хотя бы полусознательно пробегать то, что всё равно выйдет из его восприятия; вы экономите внимание читателя; в меньший промежуток времени вы сообщаеете ему большее количество впечатлений, т. е. в конце концов — дело сводится к тому же принципу художественной экономии. Это — первое.

А второе: воспроизводя этот эмбриональный язык мысли, вы даете мысли читателя только начальный импульс, и заставляете читателя самого вот эти отдельные вехи мыслей связать промежуточными звенями ассоциаций или нехватывающих элементов силлогизма. Нанесенные на бумагу вехи оставляют читателя во власти автора, не позволяют читателю уклониться в сторону; но вместе с тем пустые, незаполненные промежутки между вехами — оставляют свободу для частичного творчества самого читателя. Словом, вы делаете самого читателя соучастником творческой работы, а результат личной творческой работы, а не чужой — всегда ярче и резче.

Фактура, рисунок. На том же самом принципе совместной творческой работы автора и читателя основан ряд других технических приемов в художественной прозе — особенно, в новейшей. Да, я сказал бы — и вообще в новом искусстве. Живопись: сравните тщательную выписанность всех деталей у академистов — и новую живопись. Контуры, незаконченность как-будто. То же самое предоставление зрителю своим творческим воображением восполнить недостающее. Тем же методом пропущенных психологических линий, незаконченного психологического рисунка, намеков — можно пользоваться и в художественной прозе. Есть целый ряд приемов такого типа.

Первый: незаконченные фразы. Это ведь часто можно заметить и на себе самом, когда думаешь о том, что страшно, о том, что дорого, о чем-нибудь совершенно захватывающем в данный момент. В таких случаях мысль часто замолкает и как-то не называет главного предмета мысли. «А что если вдруг...» «Вот оно!..» Еще чаще пользуются незаконченными фразами в диалогах. Я разумею не обычные, механически оборванные фразы — оборванные репликой другого из действующих лиц, а фразы, незаконченные потому, что их с успехом может закончить читатель.

На том же принципе основан прием, который я называю приемом ложных отрицаний. В авторской ремарке вы отрицаете что-нибудь явно вытекающее из всего предыдущего построения или делаете из построения явно ложный вывод и тем самым заставляете читателя с большой энергией сделать правильный вывод, запечатлеваете этот вывод в читателе как бы после некоторого спора, а такие выводы — всегда прочнее. К той же, в сущности, категории относятся иронические утверждения и отрицания.

Кроме незаконченных фраз, кроме ложных утверждений и отступлений — есть еще один прием — прием пропущенных ассоциаций. Этот прием особенно выпукло иллюстрирует принцип совместной творческой работы автора и читателя. Прием этот заключается в том, что автор намеренно выпускает мысль, играющую в изложении центральную роль, и вместо этой мысли — намеренно дает второстепенные, побочные мысли. Но эти побочные мысли выбираются не случайно, а непременно так, чтобы они путем ассоциаций неизбежно заставили читателя восполнить пропущенную центральную мысль. Автор только намекает читателю на главную, центральную мысль. Центральная мысль дается не на страницах, не в строках, а где-то между строк. Посредством этого приема — автор создает как бы нематериализованную в словах мысль, один только дух мысли. Процесс творческий из мира трехплоскостного — переносится в мир высших измерений. Этот прием, разумеется, уменьшен и может произвести желаемое действие только тогда, когда автору приходится иметь дело с очень развитой и умеющей воспринимать тонкие штрихи аудиторией.

Здесь мы можем сделать еще вот какой вывод: для того,

чтобы навести читателя на пропущенную ассоциацию, часто приходится заставить его вспомнить о каком-нибудь предмете или лице, о которых говорилось где-то раньше. Таким образом, мы подходим еще к одному приему, близко связанному с предыдущим. Этот прием — я назвал бы приемом реминисценций. В описании живых лиц этот прием обычно применяют автоматически. Даже у мало опытного автора — когда читатель встречает действующее лицо где-нибудь в напряженном месте рассказа — это действующее лицо уже знакомо читателю, о нем говорилось уже где-то раньше. Это требование — по отношению к живым лицам мы установили уже раньше, когда я говорил о том, что по возможности не должно быть эпизодических лиц. Требование неэпизодичности, требование живой, органической связи с фабулой — мы выдвигаем, как непременное, по отношению к более или менее важным действующим лицам рассказа. Теперь я только распространю этот тезис и на неодушевленные, неживые объекты: если они играют более или менее важную роль в рассказе; они должны мелькнуть перед читателем раз, и другой, и третий. Так что, когда они появятся перед читателем в какой-нибудь нужный момент напряженного действия в рассказе — эти предметы должны встать в воображении уже как знакомые, как живые — читатель должен вспом-

Кроме основной цели — большей яркости и выпуклости, более резкой запечатленности в воображении читателя — приемом реминисценций достигается побочная цель — художе-

Изобразительные методы, основанные на принципе совместного творчества: 1) незаконченные фразы; 2) ложные отрицания и утверждения; 3) пропущенные ассоциации, намеки; 4) реминисценции. Дальше: отраженное изображение. У Чехова: — «Его встретила дама, высокая и худощавая, с легкой просьдью и с черными бровями, повидимому, нерусская... За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад — все это было слашаво и невкусно, но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей, необыкновенно вычурный судок, золотая перечница». — Всё это приемы импрессионистские. Полная параллель между новыми течениями живописи и художественного слова.

Евг. Замятин

ИЛЛЮЗИИ

1

Беспамятство мира, наплыв забытья и забвенья,
Бессоница сердца, скажи, почему нам не спится?
Но Данте вернулся из вечного царства молчанья, И
пела Орфею, негромко, нездешняя птица.

Уже затихала невнятная музыка ночи,
Уже уходила с печальной земли Персефона.
Я знаю, что нет Персефоны — и нет Беатриче,
И нет Эвридики — и призрачных стен Илиона.

Не всё ли равно, помечтаем о чем-нибудь странном,
О чем-то бессмысленном и навсегда невозможном
— Под музыку сфер, в побледневшем сиянии лунном,
Беспечно, бездумно, в молчанье уже не тревожном.

2

Выдумываешь утешения,
И кажется при свете месяца,
Что началось преображение,
Что все сейчас, сейчас изменится —

Не станет логики и алгебры
(О, беспринципное сияние!)
Не станет этой вечной каторги
Глухих законов мироздания —

И мир, свободный от инерции,
От тяжести, от тяготения ,
Войдет в блаженное бессмертие,
В сияние, во вдохновение .

Разыгрывается воображение

... И звуки вырвались из плена партитуры,
Как чудо, как лучи в осенний вечер хмурый.

О, если стать дано и этой жизни тесной
Гармонией земной, симфонией небесной.

О, время нежное, когда не будет гнета,
Преобразятся вдруг забота и работа

И станут музыкой, свободой и покоем,
Как уголь — ладаном, как перегной — левкоем . .

Так музыка, мечтательно звеня,
Своей мечтой тревожила меня.

Мои стихи не помогают жить.
Их даже в руки не берите
Вы, верующие, что может быть
Искусство, как спасительная нить
В холодном, черном лабиринте.

Но я завидую, когда факир,
Забросив высоко веревку,
По ней поднимется в надземный мир
О, власть иллюзии, о, лгун прекрасный цирк,
О, чувство, близкое к восторгу.

Игорь Чиннов

О СМЫСЛЕ СТИХОВ

«Я вас любил. Быть может в моей душе любовь еще не совсем угасла, но пусть она больше не тревожит вас; я не хочу ничем вас печалить. Я любил вас безмолвно, безнадежно, то робостью томим, то ревностью. Я так искренно, так нежно вас любил, как дай вам Бог быть любимой другим».

Какая старина! Нынче таких лирических прощально-любовных посланий не пишут, да и «томим», это не по нынешнему, как и «угасла» или «безмолвно». Но смысл всех слов и всего в целом совершенно ясен, никаких вопросов не вызывает, кроме таких как, что же дальше? Или: кто это пишет и кому? Текст этот надолго нашего внимания не задержит. Раз мы речь завели о смысле стихов, перейдем к стихам. Это и нетрудно будет сделать: я ведь только переставил некоторые слова, изменил слегка пунктуацию (хоть мог бы ее и не менять) и напечатал иначе то, что в «Северных Цветах» на 1830 год было напечатано так:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

Все слова те же и связь их та же. Весь тот смысл, какой есть в сфабрикованной мною прозе, полностью налицо в стихах. Но к этому простому, вполне отчетливому смыслу прибавился теперь и слился с ним, как бы вошел в него какой то другой, от которого тот, первый уже нельзя отделить, не разрушая стихотворения — тем же способом, примерно, каким я его раз-

рушил. Первый смысл при этом не просто пополнился или оказался сильней подчеркнутым, как многие склонны будут думать; он изменился. Это видно уже из того, что вопрос о продолжении отпал: в отличие от парафразы, стихотворение замкнуто в себе, завершено; продолжать его некуда и незачем. Точно также отпал (кроме как для биографов Пушкина) вопрос «кому», и по той же причине. Стихотворение самостоятельно, самодержавно, никаких дополнений не требует. Оно целостно. Эта целостность проистекает не из размера и рифм, самих по себе, а из того членения речи, которое я разрушил вместе с ними. Четверостишие такой рифмовки могли бы послужить для постройки более длинного стихотворения, но здесь всего два соединены и вставлены в оправу, состоящую в том, что первые три слова повторены в начале пятой и седьмой строки, причем сперва это «я вас любил» отделено от дальнейшего, потом слито с двумя подкрепляющими его наречиями, а в третий раз еще сильней устремлено вперед наречиями с частичкой «так». Получилось наростание, разрешаемое, и тем самым завершающее последней строчкой. Однако построение это, возможное и в прозе, настоящую свою действенность приобретает лишь благодаря стиху, внутри которого оно совсем по новому становится ощутимым со стороны интонации и ритма. Здесь, кроме того, в снабженном цезурой пятистопном ямбе (с которым так весело прощается поэт шестой октавой «Домика в Коломне») слова «я вас любил» каждый раз заполняют первую часть стиха, вследствие чего на них падает главное предцезурное ударение, то самое, что дает такую силу начальным словам последней строки и так выделяет гласную слова «Бог», не встречающуюся больше под ударением, ни в этой строке, ни в предыдущей.

В стихотворных строчках и вообще, гораздо острей чем в членениях прозаической речи, чувствуется звучание удаляемых гласных и близких к ним согласных, а затем, в меньшей мере, акустические и артикуляционные свойства всех ее слышимых составных частей. Эти звучания, в союзе с ритмом, собственно и образуют, как отдельные стихи, так и сочетания стихов, в то время, как в прозе, за исключением (и то не всех) афоризмов и пословиц, они такого назначения не имеют. При этом, основную организующую, т. е. объединяющую и расчленяющую функцию выполняют чаще всего повторы (к которым при-

надлежит и рифма), но ощущаются, вопреки обычному мнению, вовсе не они одни, но также и отдельные звучания — вроде звучания «о» в слове «Бог» — по контрасту с другими или просто в своем особом качестве. Рифмы и сходные с ними повторы организуют самый стих и тесней бывают связаны с ритмом; другие звуки и созвучия — со смыслом. Образуя мелодию (иначе говоря: подчиняясь интонации) они сочетаются со смысловым фоном всего стихотворения в целом, как у Жуковского или Фета; или же, как почти всегда у Пушкина, непосредственно вступают в связь со смыслом самого звучащего слова или словесного аккорда. Небезразлично, например, в только что приведенном стихотворении, не только сходство слов «безмолвно», «бездаждно» и родственное (хоть и не совсем такое же) сходство слов «робостью», «ревностью», чего достаточно для прозы, но еще и возможное только в стихах сопоставление этих сходств в двух соседних строчках, подчеркнутое только в стихах ощущимым параллельным чередованием ударяемых гласных о, е; о, е. Второе четверостишие интенсивнее первого, сильнее насыщено тем, что я называю звукосмыслом, но чтобы этот звукосмысл выступил наружу, чтобы эти буквы на бумаге стали впрямь поэзией, мы должны каждую строчку осознать как стих, прочесть как стих. Если бы я любой из них — на выбор — оставил нетронутым в моей парафразе и вы прочли бы его как прозу, звукосмысла никакого бы не получилось, или в лучшем случае осталась бы от него всего лишь зыбкая, бездейственная, а то и досадная, тень.

Слова звучат в стихах по иному, чем в прозе, и от этого нового звучания меняется, перемещается в другое измерение самый их смысл. Чтобы убедиться в этом, можно проделать второй эксперимент, в обратном направлении.

Тургенев написал «Утро туманное, утро седое» и был мастером прозы, но не стихотворений в прозе. Хорошие стихотворения в прозе есть у французов; у нас их нет. «Как хороши, как свежи были розы» годны для той декламации, для которой непригодна хорошая проза и которая портит хорошие стихи. Однако самый этот припев, что в декламации звучит таким несносным сентиментом, вовсе не проза, а стих: такой же пятистопный ямб с цезурой после второй стопы, как те, с которыми мы только что имели дело. Попробуем прочесть его как стих, включить его в стихотворную речь, и он сразу зазвучит иначе.

Уже первые его слова, став на место пушкинских «я вас любил» или «как дай вам Бог», приобретут выразительность, делающую ненужной декламаторскую слезу, а дальнейшие два главных слова получат нужные им стиховые ударения, благодаря чему «свежи» тотчас посвежеет, а «розы», утратив красоту и плаксивость, станут взаправду хороши. Сочинять стихов для проверки этого утверждения ненужно. Тургенев сам говорит, что запомнил первую строчку давно прочитанного и забытого им стихотворения. Мы это стихотворение знаем; вот его начало:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

Первая строчка лучше других: это всего только «Ишки Мятлева стихи»; но эта первая строчка и в мятлевских стихах звучит всё-таки совсем иначе, чем в тургеневской прозе.

Перечитывая написанное, замечаю, что угораздило меня дважды впасть в пятистопный ямб, после цезурного в бесцезурный, упоминая о том ямбе, с которым

Так весело прощается поэт
Шестой октавой «Домика в Коломне».

И что же: стоит напечатать эти стихи стихами, стоит прочесть их как стихи, и сразу же «весело» начинает звучать веселей, следующее за ним слово подмигивать своим «а» «октаве», а сосед «октавы», невинное числительное «шестой», перекликаться с двумя ударяемыми «о» в пушкинском заглавии. Это не значит, конечно, что поэзия возникает сама собой, по недосмотру, из оплошности, из случайного набора слов; но это значит, что стих, сам по себе, и какой бы он ни был, ритмизирует и мелодизирует слова, из которых состоит, создавая этим благоприятные условия для возникновения звукосмысла. Рождается же он всё-таки из слова, а не из слов; хотя случайно сказанные, услышанные, прочитанные, всплывшие в памяти слова могут разбудить слово, а затем — порой без всяких изменений — могут и стать словом.

«Ты говорила: в день свиданья под вечно-голубым небом,

в тени олив, мы лобзанья любви вновь, мой друг, соединим». Напечатано в строку, трижды переставлены слова; этого совершенно достаточно, чтобы убить очарованье. Оно убито, потому что уничтожен звукосмысл. Остался обыкновенный словесный смысл, — что о нем скажешь? Не то ли, что сказал мне многолетний негласный законодатель французских литературных вкусов, любитель и знаток поэзии, Жан Полан? «Ваш Пушкин, да это Эжен Манюэль!» (Был такой поэт: его когда то читали; но уже четверть века назад, когда это было сказано, продолжали читать разве что в пансионатах для благородных девиц). И в самом деле, даже в пушкинские времена, все эти лобзания любви, дни свиданья, голубые небеса, как и берега отчизны, томления разлуки и гробовые урны были готовыми поэтизами, и только. В переводе, от всего стихотворения, как и от большинства пушкинских стихотворений, ничего и не может осться, кроме банальнейших общих мест. Стоит, однако, хотя бы одной строке вернуть стиховое ее достоинство, т. е. напечатать и прочесть ее как стих, чтобы стали ощутимы и действенны ее «ни», «ив», «ви», «ли», «лю», «ло», и

В тени олив, любви лобзанья
зазвучало бы волшебно.

Так что всё дело в звуках, в «музыке»? Иные это и скажут. Недаром Пушкин хвалил «итальянские» звуки Батюшкова и многократно проявлял даже и теоретический интерес к звукам (например, когда говорил Нащокину, о том, что «на всех языках в словах, означающих свет, блеск, слышится буква л»). Недаром, задумав упомянуть о своих заслугах в «Памятнике», он сперва написал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что в русском языке музыку я обрел .

Затем он этот стих изменил, решив должно быть, что вряд ли народ именно музыку так таки у него сразу и полюбит; но первая его мысль была всё-таки о ней. Быть может, однако, вычеркнул он этот стих еще и потому, что с полной точностью выразить в нем свою мысль не мог, — ту самую, нужно думать, мысль, что уже была высказана им раньше: ведь не в одном

«Онегине», но всегда и всюду, не просто звуков искал он, хотя бы и волшебных, а союза

Волшебных звуков, чувств и дум.

Ю. П. Иваск, процитировав этот стих в своей превосходной статье «Волшебные звуки» («Новый Журнал», № 75), не до конца из него выжал его смысл, а потому и не совсем попал в точку говоря, что Пушкин «не был одержим звуками, как многие современные поэты». «Одергим» он ими был, но не ими в отдельности, а их союзом с думами и чувствами, их участием в речевом выражении, в стихотворном высказывании этих дум и чувств. Это участие, этот союз осуществляются у него повсюду, но, конечно, особым образом: соответственно взглядам на поэзию, разделявшимися его друзьями, да еще и по-пушкински; при других взглядах у других поэтов союз и участие могут осуществляться совсем иначе. Но во всяком случае, нет поэзии без звукосмысла, как и нет поэзии обходящейся одними звуками.

Об этом, когда то, в той же редакции «Нувель Ревю Франсэз», где я беседовал о Пушкине с Поланом, был у меня разговор с другим отменным ценителем поэзии, покойным Бернардом Гrotейзеном, для которого немецкий и французский языки были в равной мере родными языками. Мы говорили о Гете; я процитировал начало знаменитых стихов из «Вильгельма Мейстера» и сказал, что в первой же их строчке (переведенной Тютчевым без передачи звукосмысла, хоть и весьма точно, «Кто с хлебом слез своих не ел») ничем нельзя заменить немецких слов, значущих «хлеб», «слезы» и «ел», и что при всякой их замене поэзия из этой строчки — как при сходных операциях и из дальнейших строк — улетучивается бесследно. Гrotейзен со мной согласился, — и даже слишком горячо. Он стал говорить, что одним звуком эти стихи и живут, что их смысл безразличен, банален, что все незачем его и знать. Тут я его остановил. Нет, сказал я, извините, без смысла нам тут не обойтись, без самого простого, ходячего смысла этих слов и того, что ими сказано. Если б мы не знали по-немецки, мы и звука этих стихов не могли бы оценить, да и просто услышать его, как мы его слышим теперь, когда он преображает смысл, уничтожает его банальность, делает его верным и глубоким. Он не спорил со мной, но разговора не продолжал. Должно быть моя

защита банальности не пришла к нему по вкусу. Я же вспомнил о беседе с нашим общим другом и пожалел, что не догадался тогда привести в защиту Пушкина тот же довод. Надо было сказать: не судите о смысле стихов, покуда вы не знаете их звукосмысла, который любые поэтизмы, как и прозаизмы, способен превратить в поэзию; а разве есть для поэзии общие места, разве не всегда новы для нее, как будто никто на свете их имен не называл, нужда и горе, любовь и разлука, радость, отчаянье и смерть?

Интонация, ритм, звучание слов не отменяют их смысла, но, сливаясь с ним, они его изменяют или дополняют. Это уже явление «обычной» речи, которая знает интонации вопроса, переспрашиванья, скобок, кавычек и много (трудней называемых) других, а также разграничитывающую смыслы игру артикуляций, ударений, пауз, ускорений, замедлений. Это также явление того, что мы неопределенно именуем прозой, особенно той, которая могла бы называться и поэзией, для чего ей нет нужды приближаться к стихотворству. Во многих афоризмах, без звукосмысла было бы мало смысла, например в знаменитом паскалевском, насчет «мыслящего тростника». Он непереводим, как стихи; его сила исчезает, если в слове «мыслящий», последнем его слове, ударение не падает на последний слог; звукосмысл его требует придаточного предложения, которое для другого, рассудочного его смысла совершенно излишне. Привилегированной областью звукосмысла остаются, однако, стихи, где уже сама размеренность речи переосмысливает ее, заставляет произносить слова, или верней их ряды, определяемые метром, в особом, на обычный говор непохожем тоне, уже тем самым и перемещая их в новое измеренье, которое мы зовем поэзией. Нам предстоит выяснить теперь, в чем это перемещение состоит и к чему оно приводит.

Первое, что происходит со словом в стихе, это и есть смысловое оправдание его звука, слияние его звука с его смыслом. Не успел зазвенеть

Глагол времен! металла звон!,

как мы уже перестали различать, слышим ли мы его в этом сти-

хе или нас о нем Державин извещает. И дело тут не в звуко-подражанье, а в изображающем и отожествляющем выраженьи, которое с неменьшей силой осуществляется, когда мы читаем (т. е. мысленно произносим)

Смерть, трепет естества и страх!,

хоть никаким звукам этот стих и не «подражает», а только собственным звучаньем — этим «тр» после «рть», которому отвечает на расстоянии другое «тр», этими «ст», «ст», «ст», этими четырьмя «е», вслед за тем «е», что звучит посреди согласных «смерти» — помогает смыслу этого слова «смерть» отожествиться с его звуком, воплотиться в этот звук, восполняет плоть, требуемую для такого воплощенья. Подражания, приводящего к воспроизведению, нет, впрочем, и в том первом стихе: мы в нем слышим колокол (но и «глагол времен»); с колокольным звоном мы его не спутаем. Но в обоих случаях есть то, чему нет имени в наших языках, с тех пор как имя это исчезло, две с половиной тысячи лет тому назад, когда греческое слово «мимезис» утратило свой первоначальный смысл и стало значить более или менее то же, что наше «подражанье» или (копирующее) «изображенье». Первоначально же укоренено было оно в дионаисической культовой пляске и мимическом действе, исполнитель которого являл в себе бога, перевоплощался в него, вследствие чего слово это и значило изображение неотделимое от выраженья (актер или танцовщик не может ничего изобразить, чего он одновременно не выражает) и стремящееся к отожествлению с тем, что выражено и изображено.* За пределами культа — и театра — это отожествление переставало быть персональным; греки о мимезисе говорили применительно к танцу, пению, музыке, поэзии, но лишь после снижения этого слова стали применять его к другим, музам, по их мнению, не подведомственным искусствам (к живописи и скульптуре); я же думаю, что он лежит в основе всех искусств, и, больше того, в основе языка, а значит, тем самым уже, и в основе словесного искусства.

Язык наш, как раз в том, что отличает его от сигнализации,

* Подробнее об этом я говорю в работе, напечатанной в 31-ом томе ежегодника «Эранос» — (Цюрих, 1962).

доступной и животным, не из чего другого не мог возникнуть, как именно из артикуляционного или звукового (поддержанного еще и мимикой лица и рук) уподобления тому, что требовалось высказать. — Из ономатопеи, подскажут мне, и прибавят, что теории такого рода давно опровергнуты и высмеяны. — Они и заслуживали высмеивания, отвечу я, поскольку сводили ономатопею к воспроизведению всяческих «ку-ку» и «ваувау»; как того же заслуживают теории поэзии, низводящие стихи вроде только что приведенных державинских на уровень того, что называли в XVIII-ом веке «подражательной гармонией». К счастью, теперь, многие понимают ономатопею значительно шире, да и начинают по новому видеть связь, угаданную романтиками и уже Вико, между первобытным состоянием языка и тем возвратом к этому его незастывшему, расплавленному виду, который осуществляется в поэзии. Переплавкой его как раз и занимаются поэты. Не все слова в языке одинаково «выразительны», т. е. пригодны для миметической (подсобной мимезису) ономатопеи, но выразительность любого может быть воссоздана или усиlena соседними, и она всегда — это важно помнить — совпадает с изобразительностью. В языке, в отличие от непроизвольных «выражений лица», не может быть одного без другого. Он знает только обходящееся без обоих обозначение и, рядом с ним, изображающее выражение (хотя мы нередко называем обозначение выражением, например, когда говорим «я выразил ему свое сочувствие», в то время, как мы это сочувствие всего лишь обозначали невыразительными словами). Кроме того, выразительность или, что то же, миметизм речи может не сосредотачиваться на отдельном слове, как во втором нашем примере, а охватывает целую группу слов и порой два стиха или больше, в результате чего

Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой

значат не только то, что они значат в прозе, оттого что тут и пламень пенится, и шипенье пламенеет, голубеют и бокалы, и пламень, и пунш; подобно тому, как «печальный пасынок природы» (три «п» и восхождение «а, а, о» превращают эти слова в единый эпитет) не просто

Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод,

а еще и соткал из этих гласных и согласных сплошную ткань, сплел в одно ветхий невод и неведомые воды. Но, конечно, такую густоту и насыщенность звукосмысла нельзя считать для поэзии необходимой, или даже во всех случаях желательной. С исчерпывающей, с гениальной убедительностью это показывает именно «Медный Всадник». Он ведь как раз и построен на противопоставлении такого звукосмысла, относящегося к Петербургу и Петру, совсем другому, характеризующему (лучше было бы сказать изобразительно выражющему) Евгения, его Парашу и

Домишко ветхий. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшою весною
Сvezли на барке. Был он пуст
И весь разрушен.

Только два последних «у» образуют миметический повтор; осмыслены здесь, как и во всем мимезисе этой темы, не тембы, а ритмические ходы: постоянные остановки в середине строки и обусловленные этим «перескоки» (превосходный термин Тредиаковского). Есть также в поэме некоторые раздыхи и переходы, где к четырехстопному ямбу ничего, так сказать, не прибавлено. Их звукосмысл можно назвать минимальным. При повествовании допустимо им довольствоваться. Для лирики его было бы маловато.

Сам стих, поскольку в нем оживает и осмысляется метрическая схема, уже явление звукосмысла, как, вне метра, и проза, о которой Малларме хорошо сказал, что в ней, как только возникает ритм, появляется стиль (т. е. искусство и, если угодно, поэзия). Но, конечно, есть много разновидностей прозы, со звукосмыслом не совместимых и для него непригодных. Они довольствуются благозвучием, иначе говоря отсутствием чересчур оскорбительных для уха звукосочетаний, как и слишком нудных повторений тех же или сходных по звуку слов. Для словесного искусства, в стихах ли или в прозе, этого совершенно недостаточно; вот почему «евфо-

ния», для разговора о нем, плохое слово (друзья, не пишите его хоть через «э», а то начнете скоро писать «Эвгений» и «Эвропа»). Но почему же звукосмысл несовместим с далекими от искусства видами прозы? Потому что не всякий смысл так тесно соединяется со звуком, чтобы из соединения их мог образоваться звукосмысл. И тут мы снова подходим к родству стихотворного (и поэтического вообще) слова с первобытным словом, о котором составить себе — очень приблизительное, конечно — представление не так уж невозможно, как обычно думают.

Первоначальное именование относилось не к вещам, а к воспринятым или пережитым качествам вещей. В конце прошлого века Узенер, в своей книге об именах богов, очень проницательно заметил, что ранние человеческие слова должны были иметь характер скорей прилагательных, чем существительных или глаголов. В наше время другой филолог, Снелль, пришел к столь жециальному выводу о том, что среди функций языка, та, что по преимуществу выполняют прилагательные, наиболее соответствует языку искусства. С мыслью Узенера он эту свою мысль не связал; связь, очень ясная и способная многое уяснить, получается тут лишь через мимезис, в том первоначальном значении, которое мы этому слову вернули. Изображающее и отожествляющее выражение только и могло, только и может относиться к замеченным и качественно опознанным нами явлениям, ставшим тем самым и частицами нашего внутреннего мира, а не к вещам или фактам, мыслимым нами как нечто отдельное от нас и отделимое от своих качеств. Вещи и факты — не самы по себе, но в осознанности их — продукт отвлекающей их от их пережитой качественности мысли. Выражения они не требуют и выразить их нельзя. Отожествиться с ними тоже нельзя, ни непосредственно, ни посредством слова, все равно пользующегося ли словами или прибегающего к средствам других языков (живописи, например, или музыки). Их можно только обозначать нейтральными условными, никакого сближения с ними не ищущими знаками, а также изображать, но при помощи таких же знаков, т. е. без выраженья, — что имеет место, например, при протокольном описании или такой же зарисовке. Качества при таких операциях возвращаются предмету, но как бы наклеиваются на него, в сознании их отдельности. Такого сознания у раннего человечества как раз и не могло быть, как его нет и у художника или поэта, по крайней

мере, в те часы или минуты, когда он мыслит как художник и поэт. Оттого то и доступен ему мимезис, что он мыслит, как мыслил человек, когда создавал язык. Это мышление до-рас-судочно и до-научно. Никакой рассудок, никакая наука не могут его заменить. Думать, что укорененность в далеком прошлом признак отсталости — нелепый (хоть и распространенный) предрассудок не достойный ни разума, ни науки. Но тем, кто его принимает к руководству, следует на искусство и поэзию поставить крест, а не стараться их обманом протащить в цивилизацию, которой нечего выражать и где им поэту нет места.

Независимо от мимезиса, хоть и в тесной связи с самой возможностью его, поэт ищет в слове его смысла, а не его значения. «Смысл» и «значение», в нашем языке, как и родственные слова в других языках, не разграничены достаточно ясно; однако можно под смыслом понимать то, что непосредственно открывается в слове, включенном в живую речь, помимо его отнесенности к вещам и фактам (мыслимым отдельно от восприятия или переживания их), а под значением — как раз эту отнесенность. Вещи и факты мы обозначаем сквозь понятия. Существуют слова, только и пригодные для такого обозначения, это имена понятий, термины; в поэзии они неприменимы без иронического или эмфатического осмысления их. Но большинство слов пригодны как для обозначения понятий, так и для выражения своего смысла, который может очень далеко отстоять от соответственного понятия, и может приближаться к нему, никогда с ним однако не совпадая. Лесоводство знает понятие «лес», выцеженное из смысла слова «лес», посредством изъятия из него всего, что позволяло бы обозначенное им облечь в «багряный убор», да еще сказать, что оно этот убор «роняет». «В багрец и золото одетые леса», это те же, да не те, что поставляют сырье лесопильным заводам; для топора те же, для языка не те: я именую их тем же словом, но одни через его смысл, а другие через его значение. Уже самый стих заботится о том, чтобы понятия не встречались в стихах: значение слов он подменяет их смыслом. Когда Ломоносов рифмует химию с Россией, он так же далеко отводит ее от химии, как Россию от географии. Однако, в пушкинской строке помогают этому и метафоры. Понятие «лес» знать ничего не знает о лесах одетых, и еще того меньше о лесах одетых в золото. Метафоры, как и все тропы, тому прежде всего и служат, что-

бы сказанное воспринималось со стороны своего смысла, а не значения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы тропы или «образные выражения» по самой своей природе отличались бы от других слов, применяемых в стихах. Между метафорами и не-метафорами нельзя даже провести вполне строгую границу, как показывает слово «багрец» в той же строке, царственность, пурпурность и трагичность которого (через Евангелие) поэтом, конечно, учтены, но которое — с натяжкой — можно принять и за простое обозначение определенного цвета. Слово «леса» и без натяжки можно было бы не-поэтически понять, тогда как счастье, в этой связи, одежду одеждой или принять золото за чистую монету, было бы и вовсе невозможно. В этом вся — скользящая — разница и есть. Ею диференцируются, внутри поэзии, поэтические стили. В разговорном языке метафоры потушены, значения и смыслы перемешаны (оттого то он так неясно и разграничивает слова «значение» и «смысл»). Пушкин не любит применять резких средств для отсеивания смысла, не зачеркивает значений, чем и создает иллюзию простоты. Он не проще, а хитрее многих других поэтов.

Смыловые, поэтические слова тем отличаются от понятий, что сливают общее и частное, и не прикрепляются к отдельным предметам. Они всегда невещественны и всегда конкретны; это значит, что наши обычные взгляды на абстрактное и конкретное к ним не применимы. Как для первобытной мысли, создающей язык, для поэтической существуют сходства, приводящие к тождеству, а не условная одинаковость предметов, «входящих» в понятия. В логике научного мышления, которую мы считаем логикой вообще, чем понятие уже, тем оно богаче признаками, а для поэзии «антрацит» куда беднее, чем «уголь», если не признаками (их поэзия не знает), то смыслом, — из чего сразу и видно, что она имеет дело не с понятиями, а со смыслами. Объем понятия роли при этом не играет. «Гранит» не богаче, но и не беднее смыслом, чем «камень»; зато на много бедней обоих и «кварц», и «минерал». Это касается даже и таких слов, у которых и вне поэзии есть только смысл, а не значение; не-поэтическая мысль превращает их смысл в понятие; поэзия этого не делает. Поэтому любовь для нее не разновидность симпатии (как для Шелера) и не

сублимация похоти (как для Фрейда), да и не видит она в ярости степень гнева, не сводит качества к количеству. Там же, где у слова есть и значение, и где поэт не вытравил его из слова, пригодность слова для поэзии и действенность его определяются всё же смыслом. В прелестном, хоть и немного эклектическом стихотворении А. К. Толстого

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты .

«тайна» означает маску; это объяснила юной Зинаиде Гиппиус. вдова поэта. Однако, для поэзии, это столь же безразлично, как то, что «ты» означает С. А. Миллер; а поэзия этих стихов именно на «тайне» и держится; замените ее «маской» и вы поэзию убьете. Недаром Лермонтову («Из-под таинственной холодной полумаски . . .») пришлось двумя эпитетами обеззначить и осмыслить это слово, которое рифмой «глазки» сумело таки ему отомстить. И пусть Державин, в пояснениях к своим стихам, велит нам «звезды» одной своей оды прицеплять к мундирям; мы просим прощенья, но назвал он их звездами: этого довольно, чтобы вернуть их небу.

Предлагаем ли мы, приводя этот пример, понимать стихи наперекор намеренью поэта? Нисколько; но следует различать то, что он говорит ими как поэт, от того, что ему хотелось бы ими высказать в порядке обычной речи, смешивающей смыслы и значения. Такое различие часто, хоть и не всегда, совпадает с отмежеванием того, что ему удалось поэтически высказать от того, что ему, как поэту высказать не удалось. Мотивы высказыванья, как житейские, так и литературные (восслед традиции или вопреки ей) тут значения не имеют; дерзость так же может привести к неудаче, как покорность, и наоборот. Но то, что высказано в слиянии звука и смысла, то высказано навсегда, — оттого то и остаются иногда от поэтов отдельные строчки. Неувядаемо мил у Джона Шеффильда, герцога Бэкингемширского, первый стих его мадригала

Like children in a starry night,

а дальше мы узнаем, что упомянул он о детях в звездную ночь лишь для сравнения: как они не понимают могущества звезд, так он когда то не понимал могущества глаз своей возлюбленной. И если, относительно двух последних и самых певучих стихов поэмы Винни «Дом пастуха» комментатор поучает нас, что первый из этих стихов перефразирует неверно переведенный стих Шекспира, а второй имеет в виду замужнюю женщину (г-жу Ольмез), чья любовь вследствие этого и была «угрожаема и молчалива», разве мы, не скажем ему: «внимай их пенью и молчи», когда прочтем:

*Pleurant, comme Diane au bord de ses fontaines,
Ton amour taciturne et toujours menacé.*

3

Незаметно мы перешли от смысла слов к смыслу слово-сочетаний и целых стихов или цепи стихов. Всё это взаимообусловлено, и одно от другого неотделимо. Выражаясь немного педантично, можно сказать, что стихотворный синтаксис так же подчинен мимезису и звукоискусству, как и стихотворная (или поэтическая вообще) лексика. Грамматика, если не включать в нее синтаксис, остается неприкоснувшейся: поэтому не прощается незнание собственного языка, и значение слов даже меньше пострадает, чем их смысл, от ошибки в спряжениях или склонениях. Но, конечно, все смысловые оттенки времен, наклонений, падежей столь же внимательно используются им, как смысловые оттенки слов, которые он своему стиху препоручает. Всё это заживет в стихе жизнью стиха, но с этой жизнью стиха синтаксис связан еще теснее, и как раз потому с ним вольней обращается поэт. Он его и не видит иначе, как сквозь интонацию и ритм, да и мы сами, когда говорим о затрудненном синтаксисе некоторых стихотворений Баратынского, ни о чем другом не высказываем суждение, как о их интонации и ритме. Оттого то инверсии и другие нарушения обычного порядка слов допускаются в стихах даже теми языками, в которых порядок этот регламентирован гораздо строже, чем в нашем языке. Но было бы наивно думать, что такие «поплажки» определяются трудностью «втиснуть в строчку» враж-

дебный метрике словесный материал. Стихотворный синтаксис, как и всякий другой, подчиняется смыслу, но именно смыслу, больше чем значению слов и предложений, и звукосмыслу, а не смыслу, для которого не важен звук. Поэтому соседство слов существенней бывает для него — не только из-за звука, как многие думают, но и по смыслу или звукосмыслу — чем их синтаксическая связь (в качестве подлежащих, сказуемых, прямых дополнений, определений), еще и обозначаемая нередко союзами или предлогами, которым придать выразительность бывает трудно, а то и невозможно. Малларме, в поздних стихах, постоянно их выбрасывая и почти отказавшись от знаков препинания, заметно приближался к устраниению разницы между частями предложения, если не между частями речи; это был рискованный вывод из посылок вполне правильных. Смысл поэтической речи — особый; оттого и проявляться, члениться он должен особым образом.

Весь вопрос тут лишь в том, возможно ли совсем освободить слова от их значений, сохранив их смыслы и связав их друг с другом одними этими — зазвучавшими, слившимися со звуком — смыслами. О том, чтобы обойтись одними звуками не может быть и речи; об этом мечтали и мечтают только люди очень уж простодушные. Но и на серьезный вопрос, поставленный редкостно одаренным и умевшим мыслить поэтом, ответ, после многих лет и бесчисленных экспериментов, получается всё же отрицательный. Синтаксис, как бы он не стушевывался или не размягчался, совсем исчезнуть из поэзии не может, потому что она — не слова, а слово, не «набор слов», пусть даже и выражавших с предельной полнотой свои или присущие небольшим словесным гнездам смыслы, а живая, связная, осмысленная речь, чья осмысленность предрешает те отдельные смыслы, создает или воссоздает их, а не получается из их сложения. И как раз поскольку такая речь с самого начала исходит из смыслов, поскольку поэт постоянно мыслит ими, так что из них возникает уже и замысел его стихов, ему нет надобности устраниять внешнюю близость их к значениям, будь то в отдельных словах, будь то в способе сочетания этих слов. Только в такие времена, как наши, когда язык, вне поэзии, тяготеет к изгнанию смыслов и замене их сигнализацией и сло-

весными ярлыками, наклеенными на понятия или псевдо-понятия, чувствует поэт — и все сильнее — потребность защищать поэзию, оградить ее ото всего, что вокруг него, а главное в нем самом, ей препятствует и ее отрицает. Лучше, чем когда либо он знает ее приметы, и он ищет к ней пути, исходя из них; оттого, сквозь слова, иногда и не слышно у него слова. Но не потому, чтобы он ошибался в приметах. Смысл стихов, а не только слов в стихе, был во все времена особым смыслом.

Стихи могут повествовать. Но говорить об этом, значило бы говорить о вымысле, изложенном стихами, и тем самым о вымысле больше, чем о стихах. Если придерживаться основной нашей темы, достаточно будет напомнить о той «дьявольской разнице», которую Пушкин так проницательно усмотрел между вымыслом, изложенным стихами и вымыслом, изложенным прозою. Он говорил о романе (и впрямь, чем стал бы «Евгений Онегин», если бы...); но верно это и о поэме и о драме; и, конечно, это так, из-за свойств стихотворного языка. Несомненно, однако и то, что всякое присутствие повествования или вымысла, даже в коротких стихотворениях, оказывает влияние на характер поэтического языка, приближая его к языку прозы. Исключения из этого правила наблюдаются главным образом в тех случаях, где стихами переданный вымысел в высокой степени сказочен и фантастичен. Однако и тут смысловая подкладка словесной ткани не может не содержать известного количества значений, относящих нас не к действительности, как в обычном языке, а к вымыслу, который тем сходен с действительностью, что не совпадает со звукосмысло-вой тканью, не застревает в ней, а стелется, метафорически выражаясь, где то за ней, позади нее. Верно это, впрочем, и о самых коротких, чисто лирических стихотворениях, где всегда бывает намечена исходная ситуация, называемая также темой, но здесь вымысел только то и делает, что открывает дорогу звукосмыслу, а в дальнейшем, если и сопутствует ему, то очень издали. Вероятно, поэтому и не говорит Аристотель ни слова о лирической поэзии в своей «Поэтике», или по крайней мере в той, только и сохранившейся ее части, что посвящена истолкованию вымысла и отношения его к действительности. И, конечно, нет другой области, во всем искусстве слова, где бы звукосмысл играл большую, а вымысел меньшую роль, чем

здесь. Они как бы соперничают друг с другом, могут почти совсем обойтись один без другого, могут поочередно господствовать (в драме, например, или в поэме); поэзия может осуществляться каждым из них в отдельности или обоими вместе; но мы вправе отличать поэзию смысла от поэзии вымысла, и, разумеется, не тут, не в вымысле, который можно передать и «своими словами», и совсем без слов зрительными образами, следует искать особенности поэтического слова.

О них мы всё время и размышляли, и нам остается спросить себя теперь, что же, собственно, поэтическим словом, если оно ни о чём не повествует, бывает сказано. Такой вопрос, чаще всего, либо отказываются ставить (важно, мол, «как», а «что» — для одних, всё равно что, для других, ничто), либо дают на него ответы, стирающие различие между поэтическим и непоэтическим языком. На самом же деле, различие это, хоть и устанавливается читателем или слушателем на основании качеств самой речи, всё же ведет затем к тому, что речь поэта и понимается иначе, оттого что он говорит «не то». Тут возможны, конечно, ошибки. Лже-поэзию принимают за поэзию. Люди, к поэзии глухие, предъявляют подлинной поэзии неоправданные требования, ища значений в ее смыслах (или действительности в ее вымыслах), и сердятся, когда она этих требований не выполняет. Один незадачливый критик, Юбер Фабюро, в своей книге о Валери (Париж, 1937), поставил ему в вину перемену, которую он произвел в окончательном тексте своего знаменитого стихотворения «Пальма», сравнительно с первой (напечатанной в свое время) его версией. Критик нам не объясняет, на каком основании он лишает Валери права менять как угодно свой хотя бы и напечатанный раньше текст; негодование его ослепило; вызвано же оно было тем, что замена одного слова во второй строфе придала ей, якобы, совершенно обратный смысл. Говорилось о том, что пальма «разграничивает таинственно (*avec mystère*) вес небосклона и притяжение земли», а теперь оказывается, что делает она это без всякой тайны (*sans mystère*). Что же поэт смеется, что ли, над своим читателем? На самом же деле читатель этот читал не стихи, а какой то подсунутый им на их место космологический трактат. Поэзия этих стихов ничего общего не имеет с реальным притяжением земли или весом небосклона (да и что это такое?) или

каким то настоящим, а не таинственным — и потому допускающим, чтобы назвали его и не таинственным — разграничением их. Что же касается самой строки *Départage sans mystère*, то она лучше своей предшественницы и по звуку, и по смыслу, да и связана крепче со звукосмыслом всей строфы. Значение прежней строчки противоположно значению новой, но смысловое различие их очень невелико; два веских слова перевешивают соединяющий их предлог, и тайна остается тайной: отрицание ее не равняется устраниению из стиха самого этого

Мнимое или приближающееся к мнимому отрицание может принимать в звукосмысловом языке очень различные формы, — не только ту, что так распространена в нашей народной поэзии и оттуда перешла в одно из лучших стихотворений Блока —

То не ели, не тонкие ели
На закате подъемлют кресты .

где эти ели, хоть и сказано, что их нет, подымают тем не менее свои кресты, как если бы сказано этого не было. Можно, конечно, назвать такое отрицание замаскированным сравнением, но это еще не объяснит логическую его бездейственность. Тем более, что проявляется она и помимо сравнений, а подчас и против воли автора. Я недавно прочел стихи высоко ценимого мною поэта:

И птица пронеслась — не с червяком,
С масличной ветвью, вечность обещая

и немного пожалел, что червяка он не вовсе из них изъял, по-надеявшись должно быть на силу отрицательной частички. Быть может я неправ, но мне всё кажется, что пронестись-то птица пронеслась, а червяка на страницу всё-таки обронила. Отрицание не помогло. Его слабость, как и слабость всех других строго логических категорий в поэзии, соприродна ослабленности синтаксических членений и связанной с этим приглушенности функций, выполняемых в обычной речи союзами,

предлогами, флексиями. Важны слова, наполненные смыслом, еще лучше звукосмыслом; остальное менее важно. Но это не дает нам еще права видеть в этих словах мозаические кубики, прикрепленные *par des moyens de fortune* один к другому и сверкающие разноцветными огнями, так сказать, под музыку стиха. Во-первых, они сами поют, а во-вторых, слова поэзии, это всё-таки слова поэта. Они — его слово; он вложил смысл в свои стихи — не один и тот же, а каждый раз другой. Это, только это и есть их смысл. Его, если мы их поняли, мы и понимаем.

Мы их понимаем; но спорить с ними мы не можем; это все-го глубже, пожалуй, являет их отличие от всего, что нам говорят другие, и что сам поэт говорит, когда он говорит не как поэт. Мы можем критиковать его, отвергать его поэзию, но в ту минуту, когда мы ее приняли и его признали, мы утратили возможность спорить с ним или с ней. В тридцатых годах, в Англии, долгое время обсуждался вопрос о том, требует ли поэзия веры (*belief*), правильней было бы сказать: согласия с поэтом. Да, требует, правы были те, кто именно это и утверждал. Прав был уже Кольридж, когда писал, что неверие можно в этом случае отсрочить, временно упразднить. Не-христианин поймет «Божественную Комедию», но при условии, что он сумеет вообразить себя христианином. Да и не религиозный это вопрос, а вопрос понимания поэзии, как поэзии. Когда я читаю последний стих «Цыган» — И от судеб защиты нет, — я соглашаюсь с ним, хоть это и не значит ни что я стал фаталистом, ни что я объявляю фаталистом Пушкина. Другое дело, если я этот стих привожу затем как изречение, чтобы высказать мое согласие или несогласие с ним: тут я волен решать, как хочу, но смысловое целое «Цыган» требует, чтобы я мысль, выраженную этим стихом, принял на веру. Мысль это не мысль, подлежащая спору. Все поэтические сентенции (как и вообще суждения) таковы. Например, знаменитая,вшепнутая Китсу воспетой им греческой вазой, о тождестве истины и красоты. О ней также много спорили, и в спорах мелькал термин, для этого случая, если не ошибаюсь, придуманный Ричардсон, «лже-утверждение». Как будто все недоказуемые утверждения неспособны быть ни истинными, ни ложными, а потому и утверждениями не могут называться! Никто при

этом не вспомнил, что мысль, высказанная Китсом, очень близка к шиллеровской:

Was wir als Schönheit hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegengehn.

Неизвестно, почему такие мысли — не мысли, и почему мы не можем им верить: верят вообще лишь в то, чего нельзя доказать. Но должны мы верить, что красота будет истиной, что красота есть истина, только пока мы читаем Шиллера и Китса. Стихи нам это велят; если бы в них не было смысла, они ждали бы от нас только комплиментов; но хоть смысл в них и есть, возражений они от нас не ждут. Поэзия принуждает нас с ними согласиться. В этом одном нетяжелый ее гнет.

Конечно, из одних суждений, и уж тем более из сентенций, стиховые смыслы не состоят, но характер всего, из чего они состоят, сказывается в сентенциях тем ясней, что они, взятые отдельно, наименее похожи на поэзию. Даже «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» на минуту представится мне правдой, поскольку я сочту поэзией диалог, откуда взяты эти два стиха. Правдой будет для меня и вымысел, верными все смыслы, относящие меня не к вымыслу (к нему относят значения), а к смыслу мира, который сквозь них (как и сквозь вымысел) угадывает, нашупывает поэт. Смыслы эти — и вымыслы — мы понимаем; даже глагол этот «понимать» подходит к ним лучше, чем к чему либо другому; но не так понимаем, как просьбу, приказ, и не как теорию относительности (или таблицу умножения). Там сплошь значенья; там всё переводимо на факты, всё приложимо. Смыслы, и уж во всяком случае эти смыслы, не приложимы ни к чему кроме смыслов, ни к каким фактам и вещам. И удвоется эта неприложимость — да и всё сказанное осложняется — еще и тем, что ведь поэт не просто говорит стихами, а обращается к нам через стихотворения, «говорит» путем создания из словесной, звукосмысловой ткани органических единств, именно и сочлененных на подобие живого организма. Очень показательно, что на русском, как и на других известных мне языках, о «смысле» этих единств не говорят; не смысл обитает в них, а нечто вроде души, по-немецки *Gehalt* (не «содержание», оно зовется *Inhalt*), — то несказанное, в высказывании которого,

по Гёте, состоит искусство. Оно, это высказанное осмысленно, мы питаемся в стихах им, а не бессмыслицей, но куда же его применить, к какой действительности его приспособить, когда и уловить его нельзя иначе, как теми самыми стихами, которыми высказал его поэт. Поэзия тут, она с нами, она в нас, и ее нет. Она в словах, но как будто и не в словах. Она «вивает в воздухе». Она «между небом и землей», и должно быть ближе к небу. Вот почему писания о стихах и кончаются чаще всего стихами. Последуем традиции и мы. Пусть это будут те прелестные четыре строчки, что нашептала добрая Муза поэту, Игорю Чиннову, сразу после того, как он, не послушав ее, оказал слишком много доверия частице «не»:

А что стихи? Обман? Благая весть?
— Дыханье, дуновенье, вдохновенье.
Как легкий ладан, голубая смесь
Благоуханья и — благоговенья.

Верю. Каждому слову верю, без вопросов. Только, не говоря уже о прозе, никакими стихами полностью нельзя сказать, что такое поэзия.

B. Вейдле.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Всё теряю время на людей ненужных,
На ненужные затеи и дела;
Всё стараюсь в непробудной стуже
Отогреть закоченевшие тела;
Всё людей живых найти стараюсь
И своим, в который раз, кольцом
Снова расточительно меняюсь
С погибающим от скуки мертвцом.

II

Ты не первый, ты и не последний
В бранной славе жаждавший конца,
Утвержденный Господом наследник
Прадеда, и деда и отца.
Нашу юность мы не пощадили.
Веря в путеводную звезду,
Мы б с тобой наверно, подружили,
Встретясь в восемнадцатом году.
Не судьба! Но уходя от жизни,
Проведя ее в пожизненном плenу,
Никогда не предпочли отчизне
Мы другую чужеземную страну.
Не стихи, а то, что есть за ними,
Только то еще волнует нас:
О любви, непонятой другими
Краткий, целомудренный рассказ.

Николай Туроверов

О «ЗАПИСКАХ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» И «ИГРОКЕ»

1864-м годом начинается третий период литературной деятельности Достоевского. В журнале «Эпоха» печатались в этом году «Записки из подполья», которые можно считать первым произведением третьего периода.

«Записки из подполья» написаны в первом лице. Главное действующее лицо, автор «Записок», не имеет имени, т. ч. придется, говоря о нем, называть его «человек из подполья». Всё произведение представляет собой лишь пробное самоописание, автохарактеристику этого человека, и вместе с тем изложение его мировоззрения.

Это мировоззрение очень своеобразно и парадоксально. Человек из подполья не признает рациональным желание организовать человеческое счастье. В каждом человеке наряду с врожденным стремлением к строительству и порядку, существует столь-же врожденное стремление к разрушению и хаосу. Нет никакого основания предпочитать первое стремление второму. Для человека мыслящего, тот факт, что какой-нибудь поступок отвечает его интересам еще далеко не является достаточным аргументом в пользу его совершения. Самое сильное побуждение человека — это поступать по своей воле, без всяких ограничений, а «собственный интерес» не что иное, как ограничение свободной воли. Если допустить, что «собственный интерес» коренится в самой человеческой натуре, он становится как-бы своего рода законом природы; но перед законом природы склоняется только ограниченный человек, человека-же мыслящего он не обязывает ни к чему. Если осуществление свободного желания человека сталкивается с природной необходимостью, если ему мешает закон природы, то само желание от этого не перестает существовать, оно даже

не ослабевает, а, наоборот, усиливается. Это вызывает страдание, но страдание еще не достаточная причина, чтобы такие желания подавлять или препятствовать их возникновению. На-против, подлинно мыслящий человек найдет себе в этом страдании удовлетворение, создаст себе из него особое наслаждение. Страданием он выражает свой протест против необходимости, помешавшей ему осуществить свою волю, а наслаждаясь, он преодолевает необходимость.

Обыкновенный человек, человек дела, всегда ограничен: для него личный интерес и природная необходимость являются убедительными аргументами, заставляющими его поступать так или иначе; его поступки всегда обоснованы какой-нибудь причиной. Это происходит только от его ограниченности: он не понимает, что все причины, говорящие за или против поступка, имеют одинаковое право на существование; он не старается найти обоснование самой причины, т. к. для него всегда существует какая-то непоколебимая отправная точка. Но у человека мысли не может быть такой отправной точки, п. ч. он ищет и для нее обоснования, затем причину этого обоснования и т. д.: он не может остановиться в этом мысленном процессе. Мыслящий человек, лишенный предрассудков и желающий жить независимо, по своей свободной воле, не может вообще совершать никаких поступков. Он должен отгородиться от внешнего мира и от других людей, должен ненавидеть и презирать всё, наслаждаться своим страданием и своими обидами, обращая боль в сладострастие. Поэтому автор «Записок» и удалился в свое «подполье», т. е. в свою маленькую квартиру и живет там много лет, без всякого общения с другими людьми.

Это парадоксальное мировоззрение изложено в первой части «Записок». «Человек из подполья» спорит мысленно с воображаемым противником, приводит его аргументы и опровергает их. Этот спор ведется очень страстно. Автор «Записок» сердится на своего противника, презирает его, но не может от него избавиться, его тянет говорить с ним. Страстность, с которой он защищает свои мысли, и саркастический тон, в котором он иногда говорит о самом себе, показывают, что в глубине души он своей идеологией недоволен, и только старается перекричать свой внутренний голос. Ход его мыслей вполне логичен, но он не облекает их в спокойную, академическую форму, а выскаживает их взволнованно, со страстью и настойчивостью; поря-

док изложения мыслей, так-же как и частые отступления, очень затрудняют понимание их. Всё окрашено в одинаковый цвет, всё проникнуто одним духом, духом пессимизма и полного отрицания, т. ч. читателям кажется, что всё время повторяется то-же самое. Частые яркие вспышки блестящих и остроумных мыслей на этом мрачном фоне только усиливают общее гнетущее впечатление. Вся философская или идеологическая сторона «Записок» тесно переплетена с психологией их автора, вызывая впечатление чего-то отталкивающего, безнадежного, безобразного и унылого. Таково душевное состояние «Человека из подполья». Он выступает из своих записок как резко очерченная, своеобразная личность.

Во второй части автор «Записок» рассказывает несколько эпизодов из своей жизни, выбирая как раз такие, о которых ему особенно стыдно и неприятно вспоминать. Ему при этом хочется быть совершенно искренним, он зорко смотрит в глубину своей души, чтобы не выпустить наружу никакого просящегося оттуда извинения, оправдания, чтобы обнажить свои скривленнейшие мысли, и насладиться тем мучением, которое в нем вызовет этот процесс. Он снова стоит перед своим воображаемым противником или судьей, которого хочет оскорбить своим цинизмом.

Рассказанные эпизоды — столкновения с внешним миром, с другими людьми относятся к тому времени, когда автор «Записок» еще не заключился в «подполье». Они вполне характеризуют его личность, его безмерное самолюбие, связанное со столь же безмерным, ярко-выраженным комплексом неполнопочленности. Он презирает всех людей, в тоже время страстно желая, чтобы они его признали и оценили; каждый свой шаг он рассматривает с точки зрения эффекта, производимого им на зрителя. Внутренно гордый и самоуверенный, он внешне очень застенчив, смиренен, стушевывается перед всем и каждым. Свои унижения он компенсирует фантастическими мечтами, он мечтатель типа героя «Белых ночей», но у него привычка мечтать зашла уже так далеко, что сделала его неспособным жить среди людей. К тому же он стыдится проявлять свои чувства и потому обыкновенно делает как раз противоположное тому, что хочет сделать.

Первый эпизод совсем короткий. Раз, когда автор «Записок» находился в биллиардной грязного трактира, через ком-

нату проходил слегка подвыпивший офицер, и т. к. человек из подполья загораживал ему дорогу, он взял его за плечи, отодвинул и прошел дальше не извинившись. Оскорбленный герой рассказа начинает придумывать всякие планы, как отомстить офицеру, придумывает их в течение нескольких лет, постоянно встречая при этом своего обидчика на улице. Офицер, разумеется, не узнает его и вообще не обращает на него никакого внимания, что еще более раздражает человека из подполья. После многолетнего раздумья он принимает наконец решение: не уступить офицеру дорогу при встрече с ним, даже если это вызовет скандал. Чтобы при такой встрече произвести достаточно солидное впечатление, нужно быть хорошо одетым, и автор «Записок» долго копит деньги, чтобы приобрести новый костюм взамен старого и потрепанного, который он обыкновенно носил. Когда всё готово, он отправляется на улицу, где всегда встречает офицера, но встретив его, снова уступает ему дорогу, в последнюю минуту, не найдя в себе мужества, осуществить свой план. Он в отчаянии, мучится, проводит бессонные ночи, но на следующий день происходит опять то же самое. Когда же он, наконец, решает отказаться от своего плана, он неожиданно встречает офицера, прямо идет на него, и тот уступает ему дорогу.

В другом эпизоде автор «Записок» рассказывает, как он посетил школьного товарища, которого давно не видал, которого глубоко презирал, но к которому должен был пойти чтобы отдать деньги. У него он встретился с двумя другими бывшими товарищами. Все три обычные, довольно ограниченные люди, сумевшие однако сделать карьеру, в то время как человек из подполья все еще был канцеляристом с маленьким жалованьем и еще меньшим чином. Товарищи разговаривают о том, что хотят устроить прощальный ужин четвертому товарищу, уезжающему на Кавказ. Автор «Записок» не принадлежит к их кругу, ничего общего у него с прежними товарищами нет, — они и показывают ему с достаточной ясностью что не считают его своим — и вот именно поэтому он заявляет, что желает принять участие в этом ужине. Затем следует описание самого ужина.

Вся сцена изображена, разумеется, с точки зрения человека из подполья, но изображена так живо, что легко можно угадать и почувствовать также и отношение его товарищей к

происходящему. Читатель одновременно видит всё с двух диаметрально противоположных точек зрения. Противоположность обусловлена тем, что автор «Записок» совершенно не подходит к обществу своих зажиточных, практических, умеющих пользоваться жизнью но совершенно банальных и неинтересных бывших товарищей. Каждое их слово, каждый жест воспринимаются им как преднамеренное оскорбление: эти люди не хотят его замечать, а между тем он чувствует свое превосходство над ними. Им же должно было казаться бестактностью каждое слово человека из подполья, и на него они смотрели как на злобного, тщеславного, смешного человека, достойного только презрения. Всё его поведение до крайности глупо. Он всё время пытается показать свое превосходство, свою независимость, но это ему не удается; он сердится на самого себя, пытается снова, новая попытка опять не удается — словом он срамится всё больше и больше. Товарищи, собравшиеся чтобы весело провести время, ясно дают ему понять, что он лишний. Вся сцена похожа на музыкальную пьесу, в которой две разные мелодии идут параллельно, совершенно не считаясь друг с другом, т. ч. ежеминутно создается режущий ухо диссонанс. Обе мелодии — банальный разговор карьеристов и бессильная злоба преувеличенно обидчивого и самолюбивого автора «Записок» одинаково неприглядны.

Третий эпизод — встреча человека из подполья с проституткой, — хотя формально и является продолжением предыдущего, имеет однако независимое от него значение. Автор «Записок» после ужина следует за остальными в публичный дом и там встречает проститутку Лизу. Со всей силой своего красноречия, со всей живостью своей фантазии и способности проникать в самую глубину психики, он рисует перед ней ужасное будущее, которое ее ожидает, и глубину той моральной пропасти, в которую она свалилась. Девушка сперва защищается, старается казаться равнодушной, но мало-по-малу всё более поддается своему собеседнику и, наконец, совершенно потрясенная разражается рыданиями. Это слезы отчаяния, раскаяния, душевной муки. Человек из подполья достиг своей цели — ему только нужно было показать себе самому свою власть над чужой душой, чтобы компенсировать этим унижения и обиды, перенесенные им. Но когда он видит отчаяние девушки, ему становится жаль ее, он начинает ее уте-

шать, и Лиза обещает ему бросить свою профессию и снова стать честной девушкой, что еще возможно, т. к. она только недавно стала на этот путь. Он дает ей свой адрес и уходит.

На следующий день его мучит чувство глубокого недовольства самим собой: ему стыдно, что он искренне почувствовал жалость и участие, и вместе с тем того, что он надел накануне на себя маску благородного моралиста; он уверен что если только Лиза придет к нему, она под маской разглядит его настоящую сущность. Но в то же время воображение рисует ему целый роман с Лизой. Через несколько дней она действительно приходит к нему и как раз в очень неудачный момент — во время безобразной сцены, когда человек из подполья бранится со своим слугой и кричит на него. Это проявление дурного характера, а также и вся неряшливая и потерпленная обстановка его жизни не подходят к тому облику благородного моралиста, в котором он явился перед ней при первой встрече; Лиза этого не замечает, но зато он сам это сильно чувствует, стыдится, сердится и раздражение его обрушивается на Лизу. В страстном, циничном монологе, он ей объясняет, что в тот раз он только хотел над ней посмеяться, что всё, что он говорил было ложью, что ее жизнь и судьба нисколько его не интересуют, и он совершенно не имеет желания о ней заботиться. Он не герой и не моралист, а просто подлец и лентяй, единственное желание которого, чтобы его оставили в покое. Он так возбужден, что у него делается приступ нервного плача. Из всего этого Лиза понимает только одно — что он глубоко несчастен, и начинает с трогательной нежностью утешать его. Человек из подполья чувствует, что роли переменились, что теперь она морально выше его, и это снова наполняет его яростью. Он ведет себя с ней так грубо и цинично, что в конце-концов она уходит от него вся в слезах, огорченная и обиженная: чтобы еще более ее оскорбить и унизить, он в последнюю минуту еще сунул ей в руку деньги. Когда она, бросив деньги на пол, выходит из комнаты, он еще сидит некоторое время неподвижно, затем на него нападает раскаяние, и ему хочется побежать за ней, вернуть ее, попросить у нее прощения, но вскоре он одумывается. Он слишком хорошо себя знает и не сомневается в том, что если он попросит у нее прощения, то сейчас же и начнет мстить за свое унижение, и потому он остается у себя.

«Записки» заканчиваются общими рассуждениями их автора, который утверждает, что читатели переживали и переживают те же душевные движения, те же чувства, что и он, и вся разница между ним и ими только в том, что они непоследовательны и лицемерны, в то время как он додумывает свои мысли до конца и беспощадно разоблачает свое «я».

«Записки из подполья» первое произведение Достоевского, в котором он пользуется идеологией как средством для характеристики действующего лица. Идеология человека из подполья составляет одно целое с его личностью, т. ч. трудно сказать, возникла ли его идеология на почве его характера или, наоборот, характер его сложился под влиянием идеологии. При создании образа человека из подполья, генетически первичным фактором для самого Достоевского была идеология. В это время он в своих публицистических статьях polemizировал с рационализмом и утилитаризмом, и доводя до абсурда мировоззрение рационалистов, часто высказывал мысли очень сходные с мыслями человека из подполья. При этом им часто подчеркивалось, что русские интеллигенты, хотяющие жить по принципам рационализма, только мечтают и болтают, но неспособны действовать, что они озлоблены, желчны и безмерно самолюбивы. Достоевскому достаточно было представить себе рационалиста, обладающего всеми этими свойствами в преувеличенной степени и доводящего свои рассуждения до последних логических выводов, чтобы получить образ «человека из подполья».

Стиль первой части «Записок» тоже связан с публицистической деятельностью писателя. Фамильярный разговор с читателем был характерен для журнальных статей Достоевского. Преувеличив эту манеру и добавив к ней несколько индивидуальных черт, характерных для «человека из подполья», легко получить этот стиль. Парадоксальная идеология (парадоксальность которой происходит оттого, что она polemически доведена до абсурда), соединившись с индивидуальными чертами, дает живую человеческую фигуру. Это новость в творчестве Достоевского: идеологии, ставших людьми, абстрактных мыслей, получивших человеческий образ, до сих пор у него не встречалось. Самый принцип очеловечения литературных образов не нов, его мы неоднократно находили в творениях первого периода, но там дело шло об очеловечении

марионеток или сказочных фигур, а не о воплощении отвлеченных идеологических конструкций. Когда такая воплощенная идеология становится живой человеческой личностью, Достоевский обращается с ней уже знакомым нам образом: не как с объектом изложения, а как с субъектом, проникает внутрь ее, становится всецело на ее точку зрения. Свои собственные взгляды, свое «лицо», он, как и в других произведениях, прячет; в «Записках из подполья» этот художественный прием полного растворения автора в своем герое проведен так искусно, что вводит в заблуждение не только читателя, но и серьезных исследователей. Такой тонкий мыслитель, как Лев Шестов, такие знатоки Достоевского, как Гроссман и Комаров, считали, что в «человеке из подполья» писатель сам отказался от своих гуманитарных и идеалистических взглядов. Они повидимому совершенно не приняли во внимание, что «Записки из подполья» были напечатаны в первом номере журнала «Эпоха», направление которого было определенно идеалистическим; как раз в первом номере всякого нового идеологического журнала направление должно быть выявлено с особой ясностью, т. ч. этого одного уже достаточно, чтобы показать, что об отказе от гуманитарных идеалов не могло быть и речи.

Во второй, повествовательной части автор «Записок» выступает перед нами в качестве мечтателя, не теряя при этом, разумеется, своих характерных черт, известных читателю из первой части. Далекий от жизни мечтатель был для Достоевского уже давно знакомым образом («Хозяйка», «Белые ночи»), который в «Записках из подполья», в силу особенностей психики их героя, приобретает резко-отрицательный характер. Вместе с тем изображение этого образа достигает такой рельефности, какой у него еще никогда не было. Все эпизоды, рассказанные автором «Записок» подобраны так, чтобы показать человека из подполья в его самом отталкивающем виде — с несомненной полемической целью, особенно ясной в эпизоде с офицером, в котором обидчивость и восприимчивость рассказчика слишком преувеличены и доведены до абсурда. Читателю, впрочем, преувеличение не так бросается в глаза — он уже прочитал первую часть, и привык уже к непомерному и постоянному взвинчиванию чувств и мыслей.

Второй эпизод сводит автора «Записок» с обыкновенны-

ми, банальными людьми его возраста, третий — с женщиной; в обоих случаях он охарактеризован контрастически. Третий эпизод самый важный т. к. в нем человек из подполья неожиданно для самого себя испытывает непосредственное чувство — ему в самом деле жаль Лизу. Но презрение к чувствам, самоанализ и вся его исковерканная психология не дают ему отдаваться этому чувству. Достоевский, не раз подчеркивал в своих журнальных статьях, что не разум, а лишь полное самоожертование может делать человека счастливым, и что чувство жалости основание всякой морали и всякого здорового социального устройства. В контексте журнала «Эпоха», в котором «Записки из подполья» были напечатаны, они должны были восприниматься читателями, как иллюстрация мыслей Достоевского о несостоятельности рационализма (как это очень верно отметил литературовед Скофтымов). В такой связи характер и поведение человека из подполья должны казаться последствием его идеологии; но вне этой связи, наоборот, поведение и идеология автора «Записок» должны казаться следствием его психической структуры, и тогда на первый план выступает не рационализм, а социальность, сочетание самолюбия и бесконечного самоанализа с комплексом неполноты и бесполезности. Таким образом мы снова сталкиваемся с возможностью двух толкований, с загадкой, допускающей разные решения, — прием уже знакомый нам по произведениям первого периода.

Общее впечатление, производимое «Записками из подполья» исключительно неприятно. Это длительный диссонанс, раздражающий и мучащий нервы. Часто у читателя возникает желание, особенно вначале, бросить книгу, но парадоксальность идеологии и глубокая внутренняя правдивость психологического анализа всё же заставляют прочесть «Записки» до конца. Личность человека из подполья чрезвычайно интересна, и это компенсирует мучительный диссонанс изложения. Неприятное впечатление усиливается еще тем, что в рассказе слишком мало действия. Для дальнейшего развития примененного Достоевским в этом произведении способа изображения, необходимо было сочетать его с интересной, захватывающей фабулой. В этом заключалась формальная задача, которую писателю предстояло разрешить в своих больших романах.

Но остановимся еще на одном произведении, не написанном техникой больших романов, хотя оно и появилось позже «Преступления и Наказания» — на «Игроке», напечатанном в 1867 г.

«Игрок» был написан в пять недель — от 4 октября до 8 ноября 1866 года, что даже для Достоевского, писавшего очень быстро, было рекордом. В этом произведении есть довольно много автобиографических элементов, что постоянно вводило в заблуждение исследователей: одни рассматривали «Игрока» как биографический источник, другие видели в нем произведение, в котором самое важное — автобиографические элементы, нахождение которых они считали своей задачей. И те, и другие забывали при этом, что «Игрок» прежде всего роман, литературное произведение. Альфред Бем, чувствовавший односторонность такого биографического подхода, пытался заменить его другим и искал литературные источники «Игрока», приводя в качестве такового «Пиковую Даму» Пушкина. Это конечно тоже совершенно неправильно, т. к. с «Пиковой Дамой» у «Игрока» мало общего. Значительно важнее и нужнее исследовать вопрос, какое положение занимает «Игрок» в художественном развитии Достоевского.

«Игрок» снабжен подзаголовком: «Из записок молодого человека». Роман представляет собой рассказ очень молодого человека, ведущийся в первом лице. Уже одно это обстоятельство уменьшает автобиографическую ценность произведения, т. к. страсть Достоевского к игре и его любовная связь с Сусловой, которые вспоминаются при чтении некоторых эпизодов «Игрока», относятся ко времени, когда ему уже было 40—41 год.

Рассказчик, некто Алексей Иванович, живет в семье отставного генерала, в качестве воспитателя его детей. Генерал — вдовец и уже не молод, но отличается большим легкомыслием; все его имущество заложено, он кругом в долг, но он единственный наследник старой больной тетки, которая очень богата. Он живет заграницей, на элегантном курорте и влюблен в красивую француженку из полусвета, на которой хочет жениться. Мадмазель Бланш готова выйти за него замуж, но не раньше, чем он получит наследство. Главный кредитор ге-

нерала — француз, по имени де Грие, выдающий себя за маркиза; всё имущество генерала заложено у него, и перейдет в его собственность, если генерал не сможет заплатить своего долга. В доме генерала живет его падчерица Полина, у которой раньше была связь с де Грие; позднее, разочаровавшись в нем, она порвала эту связь, но материально она тоже находится в зависимости от француза. Богатый англичанин, по имени Аттлей, тоже влюблен в Полину; он замкнут, молчалив, застенчив, но очень благороден, верен в привязанностях и настойчив во всем, чего добивается. Это главные действующие лица.

Рассказчик сам страстно влюблен в Полину и готов пожертвовать для нее жизнью; она знает это, но обращается с ним пренебрежительно и как-будто не принимает его всерьез. Он живет в атмосфере неуверенности, отношения действующих лиц между собой ему неясны, он может о них только догадываться. Больше всего беспокоит его вопрос об отношениях Полины с де Грие, его мучат неизвестность и ревность, а Полина находит удовольствие в том, чтобы его мучения еще более усиливать. Роль мистера Аттлея ему тоже непонятна; англичанин хорошо к нему относится, но никогда не высказывается вполне откровенно. Одно только совершенно ясно — и генерал, и Полина, находятся в отчаянном денежном положении, и единственное спасение для них — смерть старой тетки, от которой получено известие, что у нее был удар. Французы — де Грие и Бланш тоже ждут этой смерти, как коршуны. Такова ситуация, как она изображена в первых пяти главах. Уже в первой главе генерал запрещает Алексею Ивановичу ходить в казино где играют в рулетку, но Полина просит его сыграть за нее, ей нужны деньги, и он играет два раза; оба раза сама игра описана очень подробно, из этого описания видно, что она привлекает рассказчика, но т. к. он играет не для себя, то играет осторожно, без азарта и даже без большого интереса. Преобладающим переживанием для него является любовь к Полине и связанные с ней чувства. Он болезненно ощущает свое приниженнное, неравное положение, не только в социальном, но и в других отношениях. Он чувствует себя оскорбленным тоном и выражениями де Грие, когда тот говорит о русских, и считает позором, что большинство русских рабски подражает Европе, как будто они стыдятся быть

русскими. Национальное чувство переплетается у Алексея Ивановича с ревностью к французу. Ему ужасно хочется доказать всем, что он никому не должен кланяться, что он самостоятелен и независим, что он ни в чем не уступает никаким европейцам, но он понимает, что для независимости нужна материальная база, и что он, если хочет быть независим, должен стать богатым. Все эти чувства в нем наивны, он еще молод, слишком много говорит, и поведение его далеко не всегда благоразумно.

Первые пять глав хронологически непрерывно следуют одна за другой, между пятой и шестой главой перерыв в два дня, после которого начинается вторая часть. Главное действующее лицо в ней та самая старая тетка генерала, чьей смерти все ожидают с таким нетерпением: она не только не умерла, но поправилась от удара, и по совету своего врача, предприняла путешествие заграницу. Неожиданно она появляется на курорте, где проживает семья генерала. Это русская помещица старого закала, которая всем говорит правду в глаза, не терпит никакого двуличия, ни перед кем не унижается. Она презирает европейцев и не желает этого скрывать, но так как она очень богата, то все перед ней заискивают. Генерал и французы ошеломлены ее появлением, тем более, что она сразу заявляет, что ни копейки генералу не даст. Всеобщее смущение усиливается еще больше, когда оказывается, что она страстный игрок. Сразу по приезде она велит отвести себя в казино и выигрывает крупную сумму, что еще больше подзадаривает ее страсть; дальнейшая игра ее менее счастлива, она проигрывает, играет еще и еще и наконец у нее едва остается денег, чтобы уехать с курорта. Рассказчик, уже в пятой главе потерявший свое место у генерала, служит теперь у старой помещицы переводчиком и сопровождает ее повсюду; за рулеткой его заражает ее азарт и он с волнением следит за игрой, которая снова описывается во всех подробностях. О Полине в этой части Алексей Иванович не говорит, т. к. не видаится с ней.

Вторая часть занимает шесть глав. Между двенадцатой и тринадцатой, начинаящей собой третью часть романа, проходит месяц. В ней описываются, уже с некоторого расстояния, события, последовавшие за отъездом старой тетки, который имел катастрофические последствия: де Грие и Бланш порвали

с генералом, и он находится в отчаянном материальном положении. У Алексея Ивановича есть основания предполагать, что и у Полины положение не лучше, и он пишет ей, спрашивая, не может ли ей быть полезен. Вместо ответа, она сама приходит к нему, и дает ему понять, что любит его. В разгогоре она упоминает, что когда то получила от де Грие 50.000 франков, и что этот долг ее очень тяготит. Рассказчик просит ее немного подождать, бежит в казино, играет несколько часов подряд и выигрывает двести тысяч. Он как в дурмане, опьянен игрой и игорным азартом. Он возвращается к Полине не вполне ясно сознавая, ни того, что он делает, ни того, что вокруг происходит. Полина проводит ночь у него, но ведет себя как-то странно, а утром бросает ему деньги в лицо, объявляет, что ненавидит его, и убегает. Он бросается за ней, но вспоминает, что сперва нужно спрятать деньги. А когда, сделав это, он выходит, Полины уже нигде нет. Несколько позже он встречает мистера Аттлея, который сообщает ему, что Полина больна и он устроил ее у себя в гостинице.

Алексей Иванович идет домой и по дороге встречается с Бланш, которая окликает его и предлагает ехать вместе с ней в Париж, проживать там выигранные деньги. Он соглашается и проводит с ней там месяц ни разу не вспомнив о Полине. Когда деньги самым бессмысленным образом растратены, попав главным образом в карман Бланш, он возвращается в Гомбург чтобы снова начать играть.

В последней главе описывается положение двадцать месяцев спустя. Рассказчик совершенно порабощен страстью к игре, превратившейся у него в настоящую манию. Он то выигрывает, то проигрывает всё до последнего гроша, и тогда прислуживает курортным гостям, чтобы заработать на дальнейшую игру. Страсть к игре совершенно вытеснила в нем любовь к Полине. Раз как то он снова встречается с мистером Аттлей, и тот ему говорит, что она всё еще больна, и что она его любит. Алексей Иванович как будто приходит в себя, он решает вернуться к Полине, но только тогда, когда выиграет много денег. Завтра он пойдет в последний раз в казино, т. к. наверное завтра выиграет. «Завтра, завтра решительный день» — этими словами кончаются его записки.

Основная психологическая тема этого романа — вытеснение любви к женщине страстью к игре. Эта тема единственное,

что связывает «Игрока» с «Пиковой Дамой». Нет никакой необходимости предполагать здесь генетическую связь, Пушкин и Достоевский могли совершенно независимо друг от друга написать литературное произведение на эту тему. Вытеснение любовной страсти игорной — явление, которое можно наблюдать постоянно, когда эти две страсти сталкиваются, оно психологически интересно и представляет собой прекрасный сюжет для романа или повести. Достоевский знал этот психологический факт из собственного опыта. Когда в 1863 г. он поехал заграницу, его сопровождала Аполлинария Суслова, с которой у него была связь прежде; из дневника Сусловой мы знаем, что он устраивал ей сцены ревности, стало-быть его страсть еще не прошла, но как только он попал к рулеточному столу, любовь была забыта. Автобиографические моменты отразились в «Игроке» — характер Полины, с ее неожиданными переходами от любви к ненависти напоминает истерическуюnatуру Сусловой; то, что у Полины была связь с иностранцем, к которому ее ревнует Алексей Иванович, тоже отражает действительный факт — у Сусловой, перед самым приездом Достоевского в Париж, был роман с испанцем, что, судя по ее дневникам, было причиной сцен ревности. Самая страсть к игре была хорошо известна Достоевскому. Таким образом, в «Игроке» несомненно есть автобиографическая основа, но не следует преувеличивать ее значения: «Игрок» прежде всего роман, литературное произведение, а не автобиография.

При ближайшем рассмотрении действующих лиц в «Игроке» оказывается, что центральной фигурой является сам игрок, Алексей Иванович, остальные лица все обусловлены этой центральной личностью, и нужны главным образом для того, чтобы его индивидуальные черты, его психология яснее раскрылись читателю, и чтобы основная психологическая тема обрисовалась ярче. Полина лишь объект любви. Чтобы вытеснение любовной страсти игорной производило более сильное впечатление, любовь должна быть особенно глубокой и сильной, а самый объект ее — женщиной, способной вызывать сильные чувства, имеющей власть над мужчиной; она сама должна чувствовать глубоко и страстно, требуя таких же чувств и от других. И такая женщина сама бросилась в объятия игрока; то, что ее любовь он не сумел оценить, показывает, какой силой обладает страсть к игре, победившая в

нем все остальные чувства. Мистер Аттлей нужен в романе, чтобы показать какую верную и сильную любовь может вну- шить к себе Полина. Он англичанин, а англичане были для До- стоевского олицетворением сильного и упорного характера. Аттлей стоит перед игроком воплощенным упреком, что осо- бенно ясно видно при их последнем разговоре. Его можно считать полной противоположностью игроку, т. ч. функция его в романе отчасти тоже контрастическая. Контрастом к По- лине служит мадмазель Бланш, низкопробная и вульгарная во всех своих чувствах, способная вызвать в мужчине только гру- бую чувственную страсть. То что игрок, презирающий ее, по- ехал с ней в Париж и отказался от любви Полины, показывает, в какой дурман погрузила его игорная страсть, с первого раза завладевшая всем его существом. То, что для роли Бланш вы- брана француженка, стоит в связи с взглядами Достоевского на франузов и Францию. Эти взгляды были выражены Досто- евским в свое время в «Зимних заметках о летних впечатле-ниях», и многое из того, что было высказано им в этом произ- ведении, нашло свое отражение в романе «Игрок». Сам игрок прямо высказывает мысли писателя о том, как недостойно и подобострастно перед европейцами ведут себя русские из высшего общества, ездающие заграницу, и генерал является прекрасным образчиком русских этого сорта. Он настолько ослеплен всем европейским, что даже Бланш принимает всерь- ез и готов на ней жениться; он распекает Алексея Ивановича всякий раз как тот, по его мнению, недостаточно почтительно отзыается о Европе. При этом безмерное уважение к европе- юцам сочетается у него с чисто-русскими реакционными по- нятиями. Старая тетка напротив иллюстрирует другой тип русских, которым ни Европа, ни европейцы не импонируют. Ее эксплуатируют как и других, но в то же время боятся и ува- жают. Внешняя элегантность ее не обманывает, она сама вовсе не стремится «выглядеть по-европейски» и гордо выставляет напоказ свою «русскость». И эта гордая, непреклонная свое- вольная женщина становится слабой и бессильной как ребе- нок, когда ее охватывает страсть к игре — это лишний раз показывает какая страшная сила заключена в этой страсти. Де Грие — пара к Бланш: внешне элегантный и благородный, внутри — мелкая ростовщическая натура.

Так в «Игроке» переплетаются два основных мотива: с

одной стороны мысль, что страсть к игре сильнее любовной страсти, с другой — мысли из «Зимних заметок о летних впечатлениях» о проблеме отношения между русскими и европейцами. Страсть к игре представлена как национальная черта: сперва сам игрок, потом мистер Аттлей говорят: — «рулетка создана для русских».

«Игрока» можно назвать отчасти идеологическим романом, т. к. одна из его целей иллюстрировать некоторые взгляды автора на известные проблемы. Это, как я уже говорил, связывает его с «Зимними заметками о летних впечатлениях». С другой стороны «Игрок» несомненно связан и с «Записками из подполья». Сама личность игрока имеет много общего с человеком из подполья. Оба страдают «комплексом неполноценности», чувствуя себя всегда обиженными, не получившими того, на что имеют право рассчитывать. Они хотят доказать другим, а прежде всего самим себе, что они нисколько не хуже других, наоборот, — гораздо лучше. У человека из подполья это душевное состояние превращается в настоящую манию, тогда как у игрока его оттесняют на задний план то любовь к Полине, то страсть к игре, хотя нетрудно заметить, что и в этих двух страстих комплекс неполноценности играет немаловажную роль. К эпизоду с офицером, которому человек из подполья не хотел уступать дорогу, можно найти параллель в «Игроке», где место офицера занимает прусский юнкер и его жена. Последняя настолько горда и спесива, что при встрече с Алексеем Ивановичем прямо идет на него, как бы вовсе не замечая его существования: для нее само собой разумеется, что он должен уступить ей дорогу. Игрок ей действительно уступает ее, но при этом преувеличенно вежливо кланяется и говорит «милостивая государыня, я ваш покорный слуга», чем приводит в бешенство юнкера, ее мужа.

В «Игроке» можно также найти много общих черт с позднейшим романом «Подросток» (1875). Герой его, подросток, тоже во что бы то ни стало хочет разбогатеть, чтобы быть самостоятельным и независимым. Он страдает от унижений, которые ему приходится переносить в силу своего социального положения, и надеется при помощи богатства освободиться от этого страдания. Покамест же ему приходится доказывать свою независимость только вызывающим тоном, что он и делает при каждом удобном случае. Это нам знакомо уже, так же

поступал и Алексей Иванович.* В конце концов всё это генетически восходит к человеку из подполья, с его комплексом неполноценности, но у него не было стремления достигнуть независимости через богатство, и он не был молод. Эти два элемента не нужны для человека из подполья, они даже искали бы его образ, в котором асоциальное поведение и все душевые страдания зависели от идеологии. Ведь, описывая судьбу носителя последовательно доведенного до конца рационализма, автор здесь опровергает самый рационализм. Введение мотивов молодости, наивности или материальной заинтересованности, ослабили бы силу опровержения. С другой стороны, дальнейшее развитие этого образа, в котором поведение и психология объяснялись бы молодостью и социальным положением, напрашивалось само собой; при этом он конечно должен был потерять свой отталкивающий характер, а центр тяжести произведения должен был быть перенесен с опровержения рационализма на что-нибудь иное. В «Игроке» мы и видим, что идеологическая проблема уже не рационализм, а отношение русских к Европе. Такое же перемещение идеологического центра мы видим и в «Подростке».

Кроме черт общих всем трем произведениям, есть черты общие только «Игроку» и «Подростку». Это прежде всего самый принцип изложения происходящего так, как его видит очень молодой человек, который отчасти в силу своей молодости, отчасти в силу взволнованного душевного состояния, никогда себе этого происходящего вполне не уясняет. В «Игроке» этот мотив непонимания окружающего не так сильно разработан, как в «Подростке» — тайны, окружающие Полину, не так трудно разгадать; подростка же окружает такая густая сеть тайн, которую разгадать действительно очень трудно. В большой степени это находится в связи с тем, что в «Подростке» центр тяжести лежит не в самом рассказчике, а вне его, что характерно для той особой трактовки рассказа в первом лице, с которой мы встречаемся в больших романах Достоевского. Другая черта, общая обоим произведениям, — это идеологическая проблема отношения русских к Европе. В «Игроке» она дана в упрощенной форме и трактуется довольно поверхностно, вероятно в связи с тогдашними настроениями.

*

* Эпизод с офицером находит свое дальнейшее развитие в столкновении подростка с гвардейским офицером.

ниями писателя, с его еще свежими и не глубоко продуманными впечатлениями от первой поездки в Европу. Некоторую роль в этом отношении могла сыграть и рекордная быстрота, с которой был написан «Игрок». В «Подростке» та же проблема поставлена гораздо глубже. За восемь лет, отделяющие оба произведения, Достоевский много о ней думал и лучше узнал Европу. Высказываемые в «Подростке» Версиловым мысли на эту тему неизмеримо глубже всего, что говорит Алексей Иванович, что, конечно, можно тоже мотивировать тем, что игрок еще очень молод. Противопоставление в «Подростке» лишенного корней, европеизированного русского Версилова почвенному, живущему в национальной культуре, незастронутому европеизмом Макару Долгорукому, гораздо важнее и значительнее противопоставления увлекающегося Европой генерала — его старой тетке в «Игроке».

В общем «Подростка» можно рассматривать, как облеченнюю в другую фабулу, новую переработку основных тем «Игрока», углубленную, расширенную и дополненную новыми мо-

Н. Трубецкой

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ

Наследственность, бытовая среда, эпоха — вот слагаемые, создающие писателя. Но и от многоного побочного, более или менее случайного, зависит итог — творческий подвиг писателя; эти биографические «случайности» мы называем обобщенно писательской судьбой. Тут на первом месте — любовь и любви писателя, в особенности — поэта.

Гумилев-поэт — явление многогранное, его поэзия сложна, как вся создавшая ее эпоха, когда многое начиналось в России и многое навсегда кончилось. В Гумилеве было много противоречивости, лучше сказать — двойственности: легкомысленным озорством просвечивает его трагичная неудовлетворенность, рисовкой, подчас цинизмом, окрашены нежнейшая лирика и драматические поэмы, и даже воинская его доблесть. И всегда грусть, часто несознательная, подспудная, сквозь иронию, насмешку и бравурную похвальбу, в мажорном ключе — затаенное предчувствие гибели.

По наследству от предков Гумилев не получил ни красоты, ни физической силы, ни цветущего здоровья. Казался почти хилым. Может быть, это отчасти и вызвало ставшую его «второй натурой» позу мужественной неколебимости. Держался он на вытяжку, поворачивая голову медленно и ступал твердо, всей ступней, хоть и косолапил слегка; говорил, карставя, не выговаривая ни «л», ни «р», с остановками, словно задерживая слова, чтобы они звучали внушительнее.

Эта работа о Н. Гумилеве — последняя работа покойного С. К. Маковского. Мы печатаем ее с любезного разрешения его сына С. С. Маковского. Печатаем мы ее с некоторыми сокращениями. РЕД.

Был ростом высок и строен, но лицом некрасив, хотя и не настолько, как рассказала недавно в «На берегах Невы», вспоминая о последних его годах в Петербурге, И. В. Одоевцева, бывшая его ученица. Я-то подружился с ним десятью годами раньше, когда он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Аполлоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М. Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его дон-жуанской предприимчивости...

Николай Степанович Гумилев — уроженец Кронштадта. Отец его, Степан Алексеевич, был военным врачом, служил в Балтийском флоте. Женат два раза. От первого брака осталась дочь Александра, по мужу Сверчкова. У нее была дочь Маруся, а сына ее, Николая, все называли «Колей маленьким»; был он юношей мечтательным и сумасбродным и отличным наездником (с ним в 1907 году путешествовал Николай Степанович в Африку).

Н. Гумилев — младший сын от второго брака Степана Алексеевича с Анной Ивановной Львовой, происходившей из семьи мелкопоместных дворян Тверской губернии Бежецкого уезда. Старшего брата звали Дмитрием, он женился на Анне Андреевне Фрейганг.

Родовое именьице называлось «Слепнёво» (в пятнадцати верстах от города Бежецка), полученное Анной Ивановной и старшей ее сестрой Варварой (в замужестве Лампе) по наследству от отца их, «адмирала торгового флота» в отставке.

По рождении младшего сына, Николая, 16 апреля 1886 г., отец его приобрел особнячок в Царском Селе и перебрался в него с семьей в чине «статского советника». Раннее детство поэта прошло в Царском. Девяти лет он был переведен в петербургскую гимназию Гуревича (1895 г.), а еще через три года, когда семья перебралась на Кавказ, в Тифлис, двенадцатилетнего поэта определили в тифлисскую гимназию; пробыл он в ней шесть лет, учился плохо, в семнадцать лет едва добрел до

шестого класса. Зато в 1902 году вышло в «Тифлисском Листке» его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Помещал он и раньше стихи (правда, слабые) в разных гимназических журнальчиках.

Возвратясь великовозрастным гимназистом в Царское Село (1903 г.), Николай Степанович не без труда окончил царскосельскую Николаевскую гимназию (1906 г.), где еще директорствовал Иннокентий Анненский, сыгравший такую роль в дальнейшей жизни поэта. Получив аттестат зрелости, Гумилев поехал в Париж.

Я не убежден, что Гумилев успел до этого времени сблизиться с Иннокентием Федоровичем как многообещающий поэт, — так удостоверяет Н. Оцуп в своей книге «Современники». Мне кажутся наивно приукрашенными эти «воспоминания»: автору их и было-то в 1903 году всего девять лет от роду.

Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, чтобы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха «не-посвященного» и особенно удрученный тогда службой, своим «постылым» и «тягостным делом», как он жаловался в письме кому-то из друзей, находил время для ничем еще своего таланта не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование, «с вниманием следил за его первыми литературными трудами» и убеждался постепенно, «что он имеет дело с подлинным поэтом». Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он на них особое внимание. В первый сборник «Путь конкистадоров» Николай Степанович поместил лучшие из своих гимназических строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненского, хоть и сквозят они переводами Бодлера, Анри де Ренье, Верлэна и др. Впоследствии Гумилев не включал эти «пробы пера» в своих сборники.

Во время своей первой поездки в Париж Гумилев начал было выпускать русский журнальчик «Сириус», где напечатал несколько своих стихотворений (под псевдонимом), затем он недолго съездил в Африку, о которой с детства грезил, в Египет и Судан, и возвратясь в Париж, издал вторую книжку стихов «Романтические цветы» (1907 г.). Лишь два-три стихотворения заслуживают внимания в этой пейзажной по преимуще-

ству лирике, хотя в ней и живет уже будущий поэт «дальних странствий» и любовных приключений — задор его парадоксальных метафор и звон ритмических перебоев, влюбленность в парнассскую словесную живопись и зачарованность Левантом... Иностранных языков Гумилев не знал, но вслед за Валерием Брюсовым, Анненским, Коневским, гр. Василием Комаровским с помощью словаря и подстрочников приобщался к красочной пышности Леконта де Лилля, Эредиа, Бодлэра, Теофия Готье, прославляя их, и переводил ревностно, особенно — последнего (позже выпустил отдельной книжкой) «Эмали и камеи», 1914 г.).

Тогда же сочинил он первые рассказы прозой — «Тень от пальмы»; написаны они в 1907 году, первые три — посвящены Анне Андреевне Горенко, его будущей жене (Ахматовой). Ею он увлекался давно, еще гимназистом. Была она тремя годами моложе, родилась на Большом Фонтане, под Одессой. Отец ее был инженер-механик. Ребенком ее отвезли родители в Царское Село (1903 г.) и определили в женскую гимназию, где она и училась до шестнадцати лет, но окончила среднее образование в Фундуклеевской гимназии в Киеве (1907 г.), куда перебралась семья Горенко. В Киеве же поступила Анна Андреевна ненадолго на Высшие Женские Курсы; наконец, в 1907 году переехала с семьей опять на север и поступила на Петербургские литературные курсы Раева.

Так, коротко говорит о своей юности Ахматова в предисловии к избранным своим стихам, вышедшим в 1961 году. Следовательно, в Царском Селе, девочкой, она могла встречать Гумилева, после приезда его из тифлисской гимназии, с 1903 до 1906 г. Вероятно, в 1907 году летом Гумилев съездил к Горенко, на берег Черного моря, под Севастополем. Там, близ древнего Херсонеса, обычно проводили Горенко летние месяцы. Тогда-то, вероятно, и стал Николай Степанович подумывать о женитьбе на Анне Андреевне... Однако, долго не решался.

Ахматова с молодых лет писала стихи, но из скромности редко кому их показывала. К тому же Гумилев, которого она сразу полюбила («как сорок тысяч сестер», — из ее стихотворения «Гамлет»), не сочувствовал ее писательству, «не женское это дело», — заявлял он (не дело для *его* жены, во всяком слу-

чае: в любви он был эгоистом безусловным). Вероятно, между ними уже тогда началась глухая борьба. Вспоминая одно из еще добрачных свиданий с Гумилевым, Ахматова не удержалась от признания:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот.
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь я крикнула: «Шутка
Всё что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся, спокойно и жутко,
И сказал мне: «Не стой на ветру».

А вот, после их последней встречи, пятью годами позже, ставшая знаменитой ахматовская строфа:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки...

Печататься в серьезных журналах Гумилев жене «не позволял»; после их брака мне стоило много усилий уговорить Анну Ахматову поместить несколько стихотворений в «Аполлоне» (1910).

В 1907 году Николай Степанович уже провозглашал себя, хоть и без особого права, «мэтром», выпустил две книжки стихов и готовил третью и четвертую «Жемчуга» и «Чужое небо». Многие из более зрелых произведений в этих книгах были хорошо известны «царкосельскому Малларме», Анненскому.

Первое чтение Гумилевым своих «Капитанов», поэмы, на веянной Бодлэром и Анри де Ренье, состоялось при мне. Анненскому понравился буквенный звон этих стихов: звуки разлетающиеся, как брызги морских волн, гремящая инструментальная насыщенность рифмованных строф:

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
 Из-за пояса рвет пистолет,
 Так что сыплется золото с кружев,
 С розоватых брабантских манжет.

Гумилев был уже тогда «своим человеком» у Анненских, и запросто приводил к ним своих друзей и знакомых.

Я познакомился с Гумилевым 1-го января 1909 года, на вернисаже петербургской выставки — «Салон 1909 года», устроенной мной в помещении музея Первого кадетского корпуса (бывшего Меншиковского дворца). Гумилев вернулся перед тем из Парижа; проживая вместе с матерью и младшим братом Дмитрием в Царском, он поступил в Петербургский университет (на романо-германское отделение филологического факультета).

Он был в форме: в длинном студенческом сюртуке «в талию», с высоким темносиним воротником (по моде того времени). Подтянутый, тщательно причесанный (с пробором), совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого «студиозуса», но не проявлял и пошловатости «белоподкладочника». Он был нарядно независим в движениях, в манере подавать руку.

С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного журнала; от многих писателей уже слышал он о моем намерении «продолжить» дягилевский «Мир Искусства». Тут же поднес он мне свои «Романтические цветы» и предложил повести к Иннокентию Анненскому. Возлагая большие надежды на помощь Анненского писательской молодежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе «Тихих песен» (о котором, каюсь, я почти еще ничего не знал).

Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне всё больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с первым встречным, чувство достоинства, которого, надо сказать, часто не достает русским. Нас сближало, несмотря на разницу лет, общее увлечение французами-новаторами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев познакомил меня со своими друзьями — Алексеем Толстым (в то время писал только стихи), с Ауслендером, Городецким... Михаила Кузмина я встречал и раньше.

Спустя немного времени, когда улеглась первая выставоч-

ная суетня, я поехал, помнится, — с целой компанией молодых людей, к тому, которого впоследствии, в «Колчане», Гумилев назвал «последним из царскосельских лебедей», — к Анненскому.

Со временем отставки от директорства, Иннокентий Анненский продолжал жить в Царском с семьей в им нанятом двухэтажном, выкрашенном в фисташковый цвет доме с небольшим садом. Первая комната прямо из сеней, просторная проходная гостиная (невысокий потолок, книжные этажерки, угловой диван, высоченные стенные часы с маятником и сипло гремящим каждые пятнадцать минут боем) выдавала свое «казенное» происхождение. В ней посетители задерживались редко, разве какое-нибудь литературное собрание. Направо была узкая темноватая столовая и очень светлый рабочий кабинет Анненского: полка во всю длину комнаты для томиков излюбленных авторов, фотографические учебные группы около бюста Эврипида. Напротив, перед письменным столом, в широкие окна глядели из палисадника тощие березки, кусты сирени и черемухи. Выше, по винтовой лесенке, обширная библиотека Анненского продолжалась в шкафных комнатах, среди которых была одна, «заветная» куда поэт мог уйти от гомона молодых гостей. По крайней мере, так я думал, замечая иногда «исчезновение» Иннокентия Федоровича и его возвращение, такое же внезапное, с лицом задумчиво-отсутствующим.

Анненский стоял в стороне от соревнования литературных школ. Не был ни с Бальмонтом, ни с Валерием Брюсовым в поисках сверхчеловеческого дерзания. Он был символистом в духе французских эстетов, но не поэтом-мистиком, заразившимся от Владимира Соловьева софийной мудростью. В известной мере был он и русским парнасцем, и декадентом, и лириком близким Фету, Тютчеву, Константину Случевскому и автору «Кому на Руси жить хорошо». Ему пришлось многое поднять на плечи, чтобы уравнять русскую поэзию с «последними словами» Запада.

Анненский оказал мне решающую моральную поддержку в эти первые полгода создания «Аполлона». Я не хочу преувеличивать роли Гумилева в этот начальный период журнала. Он не только свел меня с Анненским, но радостно согласился во всем содействовать моей журнальной затее. Если и возникали

между нами несогласия, например, о привлечении Блока в чи-
сло «ближайших» сотрудников (по предложению Вячеслава
Иванова), то Гумилев соглашался и с этим по-товарищески про-
стодушно... Мы стали встречаться почти ежедневно. Завяза-
лась моя дружба и с приятелями Николая Степановича — Але-
шей Толстым, Ауслендером, Городецким и остальную «моло-
дежью», которой я раньше не встречал. Уже тогда Гумилев над
ними главенствовал, держал себя авторитетом в области стихо-
творного умения, критиком непогрешимым. Мне нравилась его
независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась
сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция,
быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него
разумение, всё равно — будь то стилистическая тонкость или
научное открытие, о каком прежде он ничего не знал — тотчас
усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и полыщет к не-
му слова, бьющие в цель, без обиняков.

Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же, как
и позу, потому что за мальчишеской его «простотой» просту-
пало что-то совсем иного порядка — мука непонятности, оди-
нокости, самоуязвленного сознания своих несовершенств фи-
зических и духовных: он был и некрасив, и неспособен к
наукам, не обладал памятью, не мог научиться, как следует, ни
одному языку (даже по-русски был малограмотен). И в то же
время — как страстно хотел он — в жизни, в глазах почитате-
лей, последователей и особенно женщин, быть большим, непо-
бедимым, противоборствующим житейской пошлости, жалким
будням «жизни сей», чуть ли не волшебником-чудотворцем.
Чувствовалось в нем и сознание долга по отношению к своей
стране.

Из всех моих спутников, в эти первые годы «Аполлона»,
Гумилев был наиболее энергичным и организующим помощни-
ком, ничуть не завистливым, благодушно-доброжелательным к
«малым сим», хоть и неукоснительно строгим, когда от побла-
жек автору мог произойти ущерб поэзии. Он был принципиа-
лен, настойчиво негибок в восприятии чужого творчества и в
воспитании собственной воли, в «победах» над встречавшимися
на его пути женщинами и в любви к чему-то несказанному,
что для него воплощалось в образе недосягаемо-прекрасной
девушки, благословленной молодой колдуны... И тут, в стра-

стях Гумилева и в его женолюбивом романтизме, начинался другой Гумилев, тот, который оставил глубокий след в своей лирике и лирических драмах и в насыщенной волшебством Востока прозе.

С отрочества, видимо, развил он свою волю к самоутверждению, к игре в поэта властного, всё по-своему познающего, в повелительного почти-чародея. У поэта-чародея не должно было быть ни оседлости, ни удовлетворенной самоограниченности супружеской любви, он «пленяет и покоряет», на всё смеет дерзнуть, уходит от жалкой действительности и скитается в странах неведомых, в неоткрытых «Америках», по землям и морям еще не загрязненным цивилизацией, в мирах первородного Адама, что сродни «нездешней отчизне»; в своем одиночестве, к ней восхождении он преображает явь чудом своего творчества, покоряя красивых девушек в предчувствии небесных гурий...

Этого Гумилева я почти не знал, когда мы приступали к общей редакционной работе. Лишь после нашумевшей в Петербурге дуэли его с Волошиным, с которым он дружил вначале, открылся мне этот второй его лик. Он еще не был тогда женат на А. А. Горенко; в «Романтических цветах» только намечался его задорно-фантастический эротизм.

Но пафос всепобедной мужественности, доводящей поэта до демонического неистовства, выступал уже в рассказах, написанных после первой «Африки», лирической прозой. Недаром третий сборник его стихов «Жемчуга» (1907-1910) начинается с посвященного Валерию Брюсову стихотворения «Волшебная скрипка»:

Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей.
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей...

А вот последние строки этого, написанного уже в предвидении смерти, восьмистопного хорея (с женской цезурой после четвертой стопы):

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ,
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Так не только писалось ему смолоду, так хотел он **жить!** Но в жизни, на самом деле, мечтал он не разрушать, а творить, совершенствовать свое искусство и учить, покорять, вызывать к себе поклонение.

Всем нам, однако, самоуверенное тщеславие Гумилева только помогало в общем сотрудничестве. Себя в большинстве случаев он «плохо слышал», но других умел ценить и наставлять с удивительно тонким беспристрастием. Я понял это и меня не смущало ироническое отношение к нему аполлоновцев. Не удалось и Вячеславу Иванову (только позже оценившему автора «Огненного столпа») убедить меня не поручать ему в «Аполлоне» «Писем о русской поэзии». Будущее доказало мою правоту. Вряд ли кто-нибудь сейчас, полувеком позже, станет оспаривать критическое «шестое чувство» Гумилева. Его промахи были редки. С формальной точки зрения, во всяком случае, прогнозы его оказались верны. Умнейший и самый пронзительный из русских ценителей поэзии, Владислав Ходасевич в своем «Некрополе» так отзыается об его критике: «Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок и тонок. В механику стиха он проникал как мало кто».

Тогда, перед выходом первой книжки «Аполлона», выяснилась еще одна задача для дела успешного объединения поэтов. О ее разрешении больше всех заботился Вячеслав Иванов. Он давно мечтал собрания на его «башне» (которые отнимали много времени и становились непосильной обузой для его скромного бюджета) приспособить к какому-нибудь другому литературному очагу. И тут Гумилев со своей «молодежью» очень делу помог. Несмотря на несогласие с Вячеславом Ивановым в отношении целей поэзии и самого стиля российского словотворчества, он принял деятельное участие в создании «Общества ревнителей художественного слова» при «Аполлоне».

В сущности, это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время — усмирения Столыпиным «первой» революции. Тут пригодились мои связи в бюрократическом мире. Мы отправились втроем в градона-

чальство: Анненский, Вячеслав Иванов и я. Всё было улажено в несколько минут (я хорошо знал тогдашнего градоначальника).

Тотчас начались поэтические собрания Общества уже в редакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский. Тогда же был избран нами, членами-учредителями Общества, возглавляющий комитет из шести писателей. Кроме нас троих, вошли в него Блок, Михаил Кузмин и Гумилев (когда Анненского не стало, его заменил профессор Зелинский, а несколько позже к нам присоединился профессор Федор Браун). Всё это — без всяких личных заминок, отчасти благодаря Гумилеву. Общество сразу расцвело.

Тут, кстати, во имя восстановления исторической точности, необходимо исправить более, чем неточность одного из биографов Гумилева — Глеба Струве. В своей вышедшей в 1952 году книжке, озаглавленной «Неизданный Гумилев», он так излагает учреждение «Общества ревнителей художественного слова»: «По почину Гумилева в Петербурге, под руководством Вячеслава Иванова и при ближайшем участии Н. В. Недоброво и В. А. Чудовского, была организована «Академия стиха», позднее переименованная в «Общество ревнителей художественного слова».

Не понимаю, почему понадобилось Глебу Струве (в 1952 году) переиначивать ход событий, еще памятных многим петербуржцам. Ума не приложу. Если для того, чтобы не упоминать имени Анненского и моего, в угоду каким-то соображениям, то проще было совсем не говорить о том, как создалась «Поэтическая академия» при «Аполлоне». Ведь В. Чудовский появился в журнале больше, чем на год позже учреждения Общества, лишь после того, как ушел первоначальный секретарь журнала Е. А. Зноско-Боровский и был заменен М. Л. Лозинским (с которым свел меня тот же Гумилев). Царскосел Н. В. Недоброво, насколько я помню, стал появляться в «Обществе ревнителей» уже после смерти Анненского.

Скажу кстати, что и Струве и Н. Оцуп (хорошо осведомленные о Гумилеве и о самом тесном его участии в «Аполлоне», целых восемь лет!) упоминают лишь вскользь о его сотрудничестве со мной, умалчивая почему-то и об очень существенных событиях в жизни поэта, например — о столкновении его

с Максимилианом Волошиным (зимой 1909 года) из-за выдуманной Волошиным «Черубины де Габриак», Дмитриевой (о чем я подробно рассказал в «Портретах современников»).

Весной 1910 года Николай Степанович женился на Анне Андреевне Горенко и увез жену в Париж. В Париже они отдались всей душой музеям города-светоча и французской литературе. Он готовил к печати «Жемчуга». Осенью 1910 года, на обратном моем пути из Парижа в Петербург, случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева.

Под укачивающий стук вагонных колес легче всего разговориться по-душе. Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева, повесы из повес, у кого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой и атласной чолкой на лбу (по парижской моде) был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею. Не раз до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей настоящей любви... с отроческих лет.

В этот год мы встречались часто. Драма их любви стала развиваться на моих глазах... Женившись, я поселился тоже в Царском, познакомил Ахматову с моей женой, постоянно видел Гумилевых в эту напряженно-деятельную зиму. Когда Николай Степанович, после года приблизительно брачной жизни опять уехал в дальнее странствие, Анна Андреевна как-то зашла к нам, читала стихи. Она еще не печаталась «всеръез» (были помещены ее стихи под псевдонимом лишь в какой-то киевской газете и в парижском «Сириусе»), Гумилев «не позволял».

Прослушав несколько стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: «Что скажет Николай Степанович, когда вернется?» Он продолжал быть решительно против ее писательства. Но я настаивал: — «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строки я попросту выкрад из вашей тетрадки и напечатал самовластно». Так и условились... Стихи Ахматовой, как

только появились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из Абиссинии, оставалось только примириться с фактом. Позже он, первый, восхищался ею, считал ее лучшей своей ученицей.

Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева (женатого на Екатерине Дмитриевне Бушен), в его усадьбе Борисково (по соседству со Слепнёвым), Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям. У Кузьминых-Караваевых была дочь Екатерина и три сына — Дмитрий (принявший после революции католическое священство), Борис и Михаил. Жена Дмитрия — Елизавета Юрьевна, рожденная Пиленко, художница и поэтесса, автор «Скифских черепков» — высокая, румяная, в полном обаянии своей живой поэтической натуры — была несколькими годами раньше одним из первых увлечений Гумилева, а позже — одной из первых его «цехисток».*

Тогда же в Борисково приехали из Слепнёва и две дочери А. Д. Кузьмина-Караваева — Мария и Ольга, приходившиеся по матери двоюродными племянницами Гумилеву, знавшие его с детства и с ним «на ты». Обе сестры — прелестные, светловолосые — как бы дополняли друг друга. Маша, спокойная, тихая, цветущей внешности русская красавица, с чудесным цветом лица, и только выступавший по вечерам лихорадочный румянец говорил о ее больных легких. Ольга (ныне княгиня Оболенская) более оживленная, более блестящая, очаровывала всех своим большим и очень красивым голосом.

Приехали в Борисково и соседи Неведомские — Владимир Неведомский, владелец Подобина, со своим братом Николаем и его молодая жена Вера Алексеевна, рожденная Король-

* Она была еще гимназисткой, когда Гумилев, изображавший из себя рокового обольстителя, написал обращенные к ней стихи:

Это было не раз, это было не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный тайной любовью,
Если стоны любви будут стенами мук,
Поцелуи окрашены кровью...

кова, художница, ученица Д. Н. Кардовского, знаменитая в Петербурге и в Тверской губернии своими удивительными светло-зелеными глазами и рыжими волосами редкого золотого

Вместе с тонкой, горбоносой, немного таинственно замкнутой Анной Андреевной какой женский цветник для соблазна влюблчивого Гумилева!

Слепнёво никакими деревенскими красотами не отличалось. Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бесстильных построек конца прошлого века. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посреди рос высокий дуб... «Единственного в этом парке дуба»... — писала Ахматова. Старый парк был окружен земляным валом. По боковой стороне его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом — в Подобино к Неведомским. За дорогой, отдельно от парка огород и фруктовый сад.

Анна Андреевна не слишком прилась ко двору в провинциальном уюте слепнёвской усадьбы. Вся уже отдаваясь поэзии, русской и иностранной, и во власти своей только пробудившейся музы, она любила уединяться в березовые рощи и васильковые поля, не принимала участия в «играх», что затевал ее муж. После Черного моря и Днепра и Царского с несравненным дворцовым парком, Ахматовой не слишком нравилось великорусское захолустье с ржаными нивами, кузницей рядом, речкой в низких берегах и грибной сыростью чернолесья. Вот как рисует она в том же предисловии к своим избранным стихам пейзаж приютившего ее деревенского уголка: ...«Это — не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осущенные болота, «воротца», хлебá, хлебá... Там я написала почти всю «Белую стаю»...*

Но хуже было то, что она сразу стала ревновать мужа. Не

* Гумилев писал о Слепнёве:

Дом косой, двухэтажный,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важно
Ведут немолчный разговор.

щадил он ее самолюбия. Любя и его и его стихи, не умела она мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продолжал вести себя по-холостяцки, не стесняясь присутствия жены. Не прошло и одного брачного года, а он уж с мальчишеским задором увивался за всеми слепнёвскими девушкиами.

Ахматова рассказала свою ревность в стихах:

...Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побить не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, струны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

И еще:

...Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую!

Если в этих стихах есть, как будто, намек и на Машу Кузьмину-Караваеву, то намек несправедливый: она-то, религиозная и рассудочно-строгая, цветущая на вид, но раненая неизлечимым недугом, менее всего была повинна перед Анной Андреевной. Гумилев относился к Маше с нежностью почти благоговейной, только притворялся повесой. К ней написано, как я узнал от художника Д. Бушена, двоюродного брата Маши, стихотворение «Девушке». Этот «портрет» появился позже в «Чужом небе». Он типичен для поэта начала века, говорившего о любви по бальмонтовски — «будем, как солнце!» Ставяясь всячески играть в героя-покорителя, Гумилев влюбился, однако, в Машу с необычной для него нежностью.

ДЕВУШКЕ

Мне не нравится томность
 Ваших скрещенных рук,
 И спокойная скромность,
 И стыдливый испуг.
 Героиня романов Тургенева,
 Вы надменны, нежны и чисты,
 В вас так много безбурно-осеннего
 От аллеи, где кружат листы.
 Никогда ничему не поверите,
 Прежде, чем не сочтете, не смерите,
 Никогда никуда не пойдете,
 Коль на карте путей не найдете.
 И вам чужд тот безумный охотник,
 Что, взойдя на нагую скалу,
 В пьяном счастье, в тоске безотчетной
 Прямо в солнце пускает стрелу.

Совсем по другому звучат позднейшие стихи, обращенные уже к памяти М. А. Кузьминой-Караваевой* — «Родос» (вшли также в «Чужое небо»):

...Наше бремя, тяжелое бремя:
 Труд зловещий дала нам судьба,
 Чтоб прославить на краткое время,
 Нет, не нас, только наши гроба.

В каждом взгляде тоска без просвета,
 В каждом вздохе томительный крик, —
 Высыхать в глубине кабинета
 Перед полными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
 Смерти чувствуя веянье роз,
 У веков, у пространств, у природы,
 Отвоевывать древний Родос...

Почему «Родос»? Здесь приоткрывается **другой лик** Гумилева. Родос — символ ушедших веков, веков веры и рыцар-

*

* Она скончалась в самом начале 1912 г. в Италии, в Оспидалетти, 22-х лет от роду, похоронена в Бежецке, в монастыре.

ского подвига, это цитадель «посвященных небу сердец», что не стремятся «ни к славе, ни к счастью». Этую вышнюю любовь поэт воспевает, как слияние земли и неба, как видение волшебно-страдальческой красоты.

В одном из последних своих стихотворений «Заблудившийся трамвай» (из «Огненного Столпа») Гумилев так вспоминает «Машеньку», ирреалистически смешивая времена и места действия:

...А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
«Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!»

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

И в предпоследней строфе:

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне...

Мне кажется, что Машу находим мы и в Деве-Птице (написана тогда же, в 1917 году, когда Гумилев увлекался фольклором Бретани):

...И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головой милой, девичьей...

Но в образе этой птицы поэт видит не только обреченную на раннюю смерть Машу, а также и других «райских птиц», в

которых преображал он девушек, вызывавших в нем сладостное мечтание и предчувствие рока. Уже свои «Романтические Цветы» начинает он с «Баллады», похожей романтическим своим подъемом на предсмертную «Деву-Птицу»:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидеть небес золотое лицо.

Там на высях сознанья — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичем,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом...

В этой «деве» мерещится и тогдашняя невеста его Анна Андреевна Горенко. И о своей последней парижской несчастной любви говорит он так же, как о трепещущей «птице райской» («К синей звезде»):

И умер я... и видел пламя
Невиданное никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.

И вдруг из глуби осиянной
Вошел обратно мир земной,
Ты птицей раненой нежданно
Затрепетала предо мной...

Но тогда (первый год в Царском и в Слепнёве) жене своей он отвечает на жалобы насмешливо-весело, называя ее «птицей подбитой»:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдуны.
Я думал забавницу,
Гадал — своюенравицу,
Веселую птицу-певунью.

Молчит — только ежится

И всё ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую
Над участью, Богом заклятою.

Ей же, однако, поздней, посвятил он совсем другие строфы. Портрет «Она» мог быть написан только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать ее нельзя красивой,
Но в ней всё счаствие мое...

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они были слишком «разные». В плане поэтическом, может быть, только дополняли друг друга, но в жизни... С отрочества Гумилев мнил себя «конквистадором». После поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием «Креста», и о первобытном человеке, божественно-сильном, неистертом, так называемой, цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существование самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительна-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнёва в Царское, он только и мечтал умчаться поскорее в новое «странствие» и, не долго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию. Вернулся с почти готовым к печати сборником «Чужое небо».

Тогда, после этого второго путешествия, впервые попал я к нему в царскосельский дом, где жили его мать, Анна Ивановна

и другие Гумилевы, в верхнем этаже. Молодые занимали четыре комнаты — в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комната, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках и всюду набросанных. Тут же — широкий диван, на котором он спал. Рядом в темносиней комнате стояла кушетка Ахматовой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате стояла мебель стиль-модерн, в остальных — старосветская мебель красного дерева, а вовсе не карельской березы, как вспоминает Г. Месняев в «Возрождении» № 119. Четвертая комната, окнами тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь покрытые «абиссинскими картинами», среди которых были навешены широкие браслеты слоновой кости.

Гумилев был еще «одержим» впечатлениями от Сахары и подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он свои «трофеи», вывезенные из «колдовской» страны: слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, некое подобие большеголовых романских примитивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темнокожих колдунах, о крокодилах и бегемотах — там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутифория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздять свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грязью своей... Но она безучастна, хотя еще любит

его — чужда ему и завоеванной им славе. Стоя у догорающего камина и рассказывая о своих африканских приключениях, он горько сознает это:

...Древний я открыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.
И в стране озер, семь больших племен,
Слушались меня, чтили мой закон.
Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.
Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь, в четырех стенах,
Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.
И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Не помню, чтобы в это время он кем-нибудь сильно увлекался. Это были годы неистовой богемы в Петербурге, литературной кружковщины, борьбы поэтических направлений, возникновения всяких крайностей и прянностей и в живописи и в театре и в поэзии. Оглушительно трубили в свои рекламные трубы футуристы и кубофутуристы, «бубновые валеты» и «ослиные хвосты» и пр. Всюду можно было встретить Гумилевых, вместе и в одиночку, на маскарадных вечерах и в кабачках, особенно — в «Бродячей собаке» Пронина. В эту пору многие из бывавших в «Аполлоне» увлекались Ахматовой, уже знаменитостью, но не заметил я, чтобы она серьезно кем-нибудь увлеклась, как случилось позже... Анна Андреевна признавалась, что в угларе кабачка «Бродячей собаки» ей бывало приятно, с жалостью о нем вспоминает и в своей недавно опубликованной «Поэме без героя». Однако, это ночное «веселье» не упрочило ее близости с мужем, связь могла разорваться от первого «случая».

Зимой того же (1912-го) года родился у них сын, крещен Львом. Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семейства»? От его троюродного брата Д. В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом,

шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, всё это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть, «как все»...

После родов Анна Андреевна стала готовить к печати «Белую стаю» и вновь уединилась, а он выхлопотал себе командировку от Академии Наук — возглавляющим этнографическую экспедицию на Сомали. Но оставаться долго без влюбленности Гумилев не мог, и «случай» послал ему опять несчастливую любовь, девушку не менее красивую и умственно-яркую, чем прежние любви — Татьяну Александровну А. Не берусь утверждать, что увлечение было взаимно... Во всяком случае опять, в третий раз, через Париж и Марсель, Гумилев отправился в африканское странствие.

«1913 год был решающим в судьбе Гумилева и Ахматовой, — говорит Н. Оциуп в своей книге «Литературные очерки», — она пережила сильное чувство к знаменитому современнику с коротким звонким именем». Это тоже вымысел. «Аполлон» не мог бы не знать, если бы что-нибудь подобное было. Ахматова только один раз зашла к Блоку по делу и об этом свидании написала стихи. Если в этот «решающий год» увлекалась кем-нибудь, то не «современником с коротким звонким именем». Она расставалась с мужем покорно и скорбно.

Вдали от жены и сына, в это путешествие, окончившееся для него неблагополучно, малярией, Гумилев как будто стосковался по жизни «дома», и не без волнения поспешил в Слепнёво. Но тут определенно выяснилось, что разрыв наступил. В одном из наиболее ярких своих стихотворений — «Пятистопные Ямбы» («Колчан»), он так признается в своей печали от разрыва с женой:

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти,
Когда-то проиграл безумный Наль,
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчиво и строго:
«Я верила, любила слишком много,

А ухожу не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя.

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
И сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье
Похожая на древнее распятье.

Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлоновцев были мобилизованы, но почти все призванные, надев военную форму, продолжали работать по-прежнему, как-то «устраивались» в тылу. Один Гумилев, имевший все права, как «белобилетчик», не быть мобилизованным, решил во что бы то ни стало итти на войну. Он поступил вольноопределяющимся в Ее Величества лейб-гвардии Уланский полк.

Не раз встречался я с ним летом 1915 и 1916 г.г., когда он приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя солдатскими «Георгиями» (золотой, 4-й степени) за отличие в боях. Он бывал в «Аполлоне», завтракал у меня, писал очередные «Письма о русской поэзии», посетил Слепнёво, где подростал Левушка.

В 1915 году — новое увлечение аполлоновцев, под влиянием Гордона Крэга, выписанного Художественным театром для постановки «Гамлета». Вместе с Сазоновым, режиссером и артистом Александринского театра и его женой, Ю. Л. Сазоновой-Слонимской, я затеял кукольный театрик для тесного круга друзей. Большой двусветный зал в своем особняке на Английской набережной отдал нам на некоторое время друживший со мной Ф. Гауш, художник-пейзажист. Решено было для начала поставить пьесу собственного изделия, поручив дело приятелю моему Фоме Гартману, небезызвестному композитору балета «Аленький цветочек». Обращаться с куклами «на нитках» никто из нас не умел, привлечен был специалист-кукольник, крестьянин, в семье которого сохранилась традиция этого театрального фольклора.

Спектакль прошел с успехом. На премьере собрался художественный «весь Петербург». Подготовлялась постановка но-

вой пьесы. Мы мечтали о гётеевском «Фаусте», которым прославился кукольный театр в Дрездене, а пока-что сочинить пьесу для второго спектакля я попросил Гумилева, давно грезившего о своем «театре». Он взялся за дело с большим воодушевлением и в несколько недель состряпал марионеточную драму — «Дитя Аллаха». Для музыкального сопровождения я пригласил начинающего композитора, москвича А. Лурье. Но дело, из-за оборота который приняла война, на этом и застяжало. Всё же «Дитя Аллаха» было напечатано в «Аполлоне». Пьеса Гумилева, по совести говоря, мне не слишком нравилась. Она мало сценична, разговоров больше, чем действия, но некоторые пассажи забавно-остроумны и лирически ярки.

До того Гумилев уже испробовал свои силы драматурга в короткой мифологической трагедии, которую критика не заметила, «Актеон». Глеб Струве заявил, что «Актеон» никогда не был напечатан. Между тем я имел в руках третий выпуск «Гиперборея», целиком посвященный гумилевскому «Актеону» (издание «Цеха», 1915 г.). Мало того, эту поэму-трагедию, написанную под влиянием Иннокентия Анненского, я считаю большей удачей Гумилева, чем позднейшие лирические его трагедии: «Гондла» и «Отравленная туника».

Во время второго отпуска, после того, как он был произведен за отличие в боях в унтер-офицеры, Николай Степанович получил разрешение сдать экзамены на офицерский чин. Вскоре он был переведен из улан в Александрийские Ее Величества гусары прапорщиком. Новая форма ему нравилась, напоминала о царскосельском Пушкине. Весной того же года, в мае, получил он, по своему желанию, командировку от Временного правительства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт. Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Марсель и т. д. Но с 17 февраля 1917 года изменилось многое не только в России. Союзники отказались от наступления в Эгейском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был оставлен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предложено принять другое назначение. Он избрал «месопотамский» или «персидский» фронт. Чтобы получить транзитные визы надо было вернуться в Лондон за инструкциями от военного начальства. Но в Париже он завяз... опять из-за несчастной любви! О ней рассказано им очень пла-

менно в стихах «К синей звезде» (впоследствии эти стихи вошли частью в «Шатер», частью в «Огненный Столп»).

Целую зиму, забыв всё на свете, он старался пленить красивую русскую девушку из дворянской семьи, рассказывая ей и стихами и прозой о своих дальних странствиях и подвигах. Но и парижская «райская птица» оказалась рассудочно-осторожной. Предложение его она отвергла и предпочла бедному поэту статного, красивого и «вовсе обыкновенного» американца с достатком, за которого и вышла замуж. Действительность снова «одёрнула» поэта, Дон-Кихот не обрел Дульцинеи.. Упорствуя, писал он ей одно объяснение в любви за другим, хотел верить чуду. И всё-таки пришлось сдаться.

Грезя о неземном блаженстве, Гумилев говорит о своей страсти «без меры», что «печальней смерти, пьяней вина». Любовь стала для него «безумием», «дивной мудростью» и, обращаясь к этой девушке «с огромными глазами» и «с искусными речами», говорит он о вечном союзе с ней, соединяющем землю и ад и Божье небо:

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставши для небес из преисподней.

(Отсюда и заглавие последнего сборника «Огненный Столп»).

Независимо даже от силы его чувства к «Синей звезде», эта неудача была для него не только любовным поражением, она связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны...
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще...

Всё-же не надо преувеличивать значения «несчастной» парижской страсти Гумилева. Стихи «К синей звезде» искренни и отражают подлинную муку, однако, остаются «стихами поэта», и неосторожно было бы приравнивать их к трагической

исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения формальной стихи «К синей звезде» часто небезупречны, неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что останутся в русской лирике.

Нежность и безысходная грусть, с легкой усмешкой по своему адресу, переходит то и дело в трагическое вещание. И трагизм этой любви — не в ней самой, а в том, что она неразлучна с мыслью о смерти. К смерти возвращается поэт со зловещим постоянством. Каждый день его «как мертвец спокойный»; он искупает «вольной смертью» свое «ослепительное дерзновение»; он скорбит «смертной скорбью»; он принимает одно «не споря» — «тихий, тихий золотой ложкой, да двенадцать тысяч футов моря» над своей «пробитой головой»; он добавляет в другом стихотворении:

И не узнаешь никогда ты
Что-б в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога.

И врывается в эту тему страшной смерти (невольно мерецится: предчувствие!) другая тема — тема возникающей из света, райски-прекрасной, но раненой птицы. Может быть не все почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений «Дева-Птица» — та, что среди строф «К синей звезде» появилась «из глубины осиянной». Тут родина ее определенно названа — долы баснословной Броселианы (т. е. баснословной страны из «Романов круглого стола», точнее — Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого дьявола.

Эта райская раненая птица, «как пламя» — больше, чем случайная метафора. В лирике Гумилева она занимает центральное место, вскрывая духовную глубину его; она светится сквозь всё его творчество и придает, в конце концов, мистический смысл его поэзии, на первый взгляд такой внешне-выпуклой, красочно-описательной, подчас и мишурно-блещущей.

Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилевалирика, необходимо задуматься именно над этим образом.

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-метерлинковском стиле (под влиянием «Романов круглого стола»). Но в конце концов разгадывание возможно, если сердцем почувствовать Гумилева, как лирика-романтика, влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда — всеразрешающей женской любви. Дева-Птица — это его вдохновительница, духовная мать, и одновременно — та девушка, к которой он рвется душой, он, «пастух», не у знающий своей Музы, потому что встретил ее, еще «не родившись», как вещий поэт, а только беспечно поющий «песню своих веселий». В долах Броселианды лишь безотчетно подпадает он под ее чары и «что делает — сам не знает», убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позвоет его из другого, преображенного мира. Она-то и есть гумилевская настоящая Муза; его «поэтическое нутро» ни в чем так не сказалось, как в стихах о любви, приближающей сердце к вечности. Так было с первых «проб пера», с юношеских его песен. Хотя и стал он сразу в оппозицию к символизму, к «Прекрасной Даме» Блока, к волошинской «Царевне Таиах» и к «Царице Сивилле» Вячеслава Иванова, по существу потусторонний эрос у них общий. Но Гумилев был слишком гордо самолюбив, чтобы не «грести против течения».

Было, слов нет, много напускного в его повелительной мужественности, в героической патетике «Жемчугов» и «Шатра», в его отрицании метафизических глубин и «туманной мглы германских лесов». Гумилевская Птица родилась всё-таки в мифической Броселианде... Были для него лишь известного рода самозащитой гимны телесной мощи, бесстрашной борьбе с людьми и стихиями, гимны радостной отваге. На самом деле, физически слабый и предчувствовавший раннюю смерть поэт, с отрочества падкий на волшебства Денницы, но с совестью религиозной, оглядывающейся на Христа, поэт с упорной волей, но жалостливый и нежный, как Мерлин из Броселианды, — мечтал об одном, о вечном союзе со своей Вивианой...

Не буду перечислять стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из «святая-святых» воссвященной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переход-

дящая в Отчаяние (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселиандского «Пастуха», убившего поцелуем Деву, за что «злая судьба» не даст ему наслаждения, а «шестой конь», подаренный Люцифером, унесет во тьму, в смерть.

В Лондоне, в начале мая, представившись военному начальству, Гумилев навещал своего друга Н. Б. Анрепа, покупал игрушки Левушке, хлопотал о транзитных визах в Россию, при водил в порядок рукописи. Анрепу оставил целый архив. В архиве оказались служебные документы, георгиевские кресты, готовые к печати стихи «К синей звезде» и почти законченная рукопись «Отравленной туники».

Путь в Россию лежал на север — Норвегия, Белое море, Мурманск.

В Царском Селе всё, как будто, оставалось попрежнему, но Анны Андреевны там уже не было. Приходилось начинать новую жизнь в трудных условиях. Всё же тогда энергичному писателю была еще возможность работать с известной независимостью. Гумилев стал сразу зарабатывать, читая литературные лекции в самых разнообразных учреждениях: в Тенишевском училище на Моховой, в Пролеткульте, в Балтфлоте, он возобновил Цех поэтов, куда стала стекаться молодежь. В это время он развелся с Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Николаевне Энгельгардт, начинавшей писательнице — румянной, с пушистыми белокурыми волосами и голубыми наивными глазами. Сначала Гумилев поселился в квартире ее родителей (когда они уехали куда-то). Когда родилась у них дочь, Лена, он отоспал жену с дочерью к своей матери, Анне Ивановне, в Слепнёво, где легче было добывать продукты питания. Затем он переехал на мою бывшую квартиру на Ивановской улице, вероятно, с разрешения М. Л. Лозинского, секретаря «Аполлона», которому я предоставил право распоряжаться ею.

А. Н. Энгельгардт простодушно полюбила Гумилева, во всем подчинялась ему, после рождения дочери ухитрялась приезжать к нему из деревни, посещала изредка «Цех» (но не была на панихиде по нем, на которую пришел весь почти литературный Петербург, в том числе Анна Ахматова). Анне Ни-

коалаевне посвящен последний сборник стихов Гумилева «Огненный Столп».

За эти два петербургские года Гумилев выпустил еще три книги: «Мик», африканская поэма (1918), «Дитя Аллаха», арабская сказка (1918); кроме того, он обработал перевод поэмы «Гильгамеш» (ававилонский эпос) известного ассириолога Бориса Шилейко (1919).

Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось переехать в «Дом Искусств», бывший дом Елисеева, на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из состава сотрудников «Аполлона». За время пребывания Гумилева на фронте репутация его, как писателя, значительно выросла; он не чувствовал себя, вернувшись в русский литературный мир, одиночкой. Почти вся группировавшаяся вокруг него в «Аполлоне» талантливая молодежь осталась при новой власти привилегированым меньшинством. Многие несвязанные политикой сотрудники «Аполлона» могли служить власти, не вызывая особых подозрений, в то время как большинство сотрудников других журналов примыкали так или иначе к политическим партиям. Большевикам нужны были люди европейски образованные. Этим объясняется, что в «Доме Искусств» оказалось немало аполлонцев или примыкавших к ним художественных деятелей.

В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рискуя жизнью (в первую очередь — Мережковские и Философов), не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.

Гумилев менее всего думал куда-нибудь «бежать», он продолжал упорно свою поэтическую линию, борясь с символистами и всякими «декадентами», вроде Маяковского, Хлебникова и пр.

Выразительней всех и очень колко, по обыкновению, рассказал об этом Владислав Ходасевич в своей книге «Некрополь».

Раньше Ходасевич не был знаком с Гумилевым. Как-то «представился» ему случай и он получил у него «аудиенцию». Гумилев жил еще в моей квартире, до переселения в «Дом

Искусств». «Он меня пригласил к себе, — рассказывает Ходасевич, — встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью... В опустелом, холодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых щиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с высокомерною важностью...»

Там же Ходасевич рассказывает об аресте Гумилева 3-го августа и об его расстреле 25-го августа. С большим волнением прочел я следующую страницу «Некрополя»:

«В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3-го августа, мне предстояло уехать. Вечером на кануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома»... «Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увеличили. Итак, я был последним, кто видел его на воле»... «Я пошел к себе и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала: — Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошел с ума!» Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду...»

Поразительное совпадение! Оба, и Гумилев и Блок, вместе выбыли из строя, исчезли вместе 3-го августа, один в застенок (неизвестно, что вынес он во время двухнедельного допроса), другой, Блок, исчез в безумие. В этом одновременном исчезновении — какая жуткая «символика»! Почти всю жизнь Блок и

Гумилев враждовали, хоть личной неприязни, на моей памяти, между ними не было; друг друга «не любили», но встречаясь в «Аполлоне», заседая в комитете «Поэтической академии», ни разу ни тот, ни другой не проявил открыто этой нелюбви. И после революции они много работали вместе, с трудом добывая пропитание, и в то же время — как были чужды друг другу мыслями, вкусом, мироощущением, отношением к России, всем, что создает писательскую личность! Они были «антиномичны», а русская действительность всё время их сталкивала. До последних лет соперничая, может быть и не без взаимной зависти, они в тот же день ушли из жизни. Надо ли говорить, что это соревнование продолжается и после их смерти: русские стихолюбы до сей поры — или «блокисты» или «гумилисты».

В какой-то из своих статей (помнится об Эмиле Верхарне) Георгий Чулков говорит: «Понять поэта значит разгадать его любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим признакам, но о значительности его только по одному: любовь, страсть или влюбленность художника предопределяют высоту и глубину его поэтического дара». С этой точки зрения Гумилев — несомненнейший из поэтов нашего века: его сущность — любовь к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глуби стоящих перед человечеством вопросов. Да и жизненный путь кончил он действительно слишком рано, никак не принадлежа к гениям, как, например, Лермонтов (с которым, однако, у него много общего — и гордыня, и комплекс малоценностии, и любовные муки, и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти); даром стихослагательства он не был наделен сверх меры. Но рядом с этим, иногда целые стихотворения Гумилева достигают прелести лучших образцов русской лирики.

Если забыть о пресловутом термине «акмеизм», которым Гумилев отстаивал себя, свою писательскую новизну, в борьбе с символистами (особенно с Блоком), если вслушаться в его стихи без предвзятости, то станет очевидным, что многие его строфы близки к модернизму символическому. Недаром высоко чтил он Иннокентия Анненского. Стихи Гумилева из парнасски-агностических из образных описаний Африки в духе Леконта де Лилля и Эредиа, становятся символическими в са-

мом глубоком смысле, когда выражают волнение любви или предчувствие иного мира, или отчаяние от сознания бренности земного бытия. Даже сюрреалистом кажется он, если угодно, к концу жизни (последние стихотворения, попавшие в «Колчан», «Костер» и «Огненный Столп», как «Фра Беато Анжелико», «Эзбекие», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Дева-Птица» и др.).

Насколько эти поздние стихи лучше тех, что сочинял Гумилев «дальних странствий», и добавлю — Гумилев трагедий «Гондла» и «Отравленная туника».

Ранняя смерть Николая Степановича — большая потеря для русской поэзии.

За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу заплачу
Непоправимой гибелью последней —

говорит Гумилев в одном из предсмертных своих стихотворений — «Память». Причины этой гибели до сих пор не вполне еще выяснены. За что был он убит 25 августа 1921 года, после трехнедельного ареста, вместе с другими участниками, так называемого «Таганцевского заговора» (между ними — Таганцев, сын директора гимназии, князь Ухтомский, сопровождавший когда-то Николая II в Японию, и ряд других монархически настроенных «заговорщиков»)? Многие в то время мечтали в Петербурге о восстановлении Романовской монархии, не одна возникла контр-революционная организация, и конечно, в каждую просачивались провокаторы. Никто не догадывался, что Гумилев состоит в тайном обществе, замышлявшем переворот, хотя Николай Степанович, бывавший всюду, где мог найти слушателей (даже в самых «советских» кругах), не скрывал своих убеждений. Он самоуверенно воображал, что прямота, даже безбоязненная дерзость — лучшая защита от большевистской подозрительности. К тому же, он был доверчив, не видел в каждом встречном соглядатая. Вероятно, к нему подослан был советский агент, притворившийся другом, и Гумилев говорил «другу» то, что было говорить смертельно опасно. Веря в свою «звезду», он был неосторожен...

В начале июля 1921 года в Крым отправился поезд красного

адмирала Немица, бывшего царского адмирала, человека образованного и обаятельного. Поезд был набит военными, Гумилев выхлопотал право проехать в нем до Севастополя и обратно. В Севастополе допечатывалась последняя его книга стихов «Огненный Столп». Деньги на это издание он нашел, повидимому, у кого-то из крымских моряков.

В поезде Немица атмосфера, вероятно, была ему дружелюбная, полуграмотные «красные» слушали внимательно и сочувственно его «африканские» стихи. Он играл с ними в карты, шутил, много пил. Через неделю, как ни в чем не бывало, вернулся в Петербург, продолжал свою деятельность лектора, наставителя поэтов... Ночью на 3-е августа люди в кожаных куртках куда-то повели его, позволив ему из книг взять с собой Библию и Одиссею. Никто его не видел больше. В конце месяца, в «Петроградской Правде» был напечатан список расстрелянных «таганцевцев», с указанием «кто и за что». О Гумилеве сказано было, что он поэт, член правления горьковской «Мировой литературы», беспартийный и бывший военный, участвовал в составлении прокламаций, обещал присоединить к таганцевской организации группу интеллигентов в случае восстания, получал деньги на технические надобности организации.

Вот, как заключает свой рассказ о смерти Гумилева и Блока Владислав Ходасевич, бывший тогда в деревне: «В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунаемками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей. В начале 1922 г., когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу «Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении, публика стала вызывать: — Автора! Пьесу велели снять с репертуара».

Сергей Маковский

ИЗ ЗАПИСОК ЛЕОНИДА ПАСТЕРНАКА

Иллюстрированное издание произведений Лермонтова. Врубель

Появление моих рисунков и иллюстраций (пером, тушью и другими способами) в «Артисте» и других журналах знакомило публику и немногих, тогда единичных, издателей художественных журналов с моими работами. Так, вскоре после моего переезда в Москву, приблизительно в начале девяностых годов, ко мне явился один из пайщиков-членов типографского товарищества «Братья Кушнеревы» (крупная, известная в то время московская печатная фирма), некий Петр Петрович Кончаловский с предложением, взять на себя редакторство и общее руководство художественной и репродукционно-технической частью задуманного кушнеревским товариществом иллюстрированного издания всего Лермонтова.

П. П. Кончаловский, отец известного художника Петра Кончаловского, был очень милым, душевным, увлекающимся человеком. С самого начала мы очень сблизились с ним и лично и семьями, и искренняя наша дружба продолжалась всю жизнь. Петя — гимназистиком — впервые стал у меня брать уроки рисования.

Это лермонтовское издание было редким, а в то время, может быть, и первым в своем роде иллюстрированным изданием, и несмотря на некоторые, обычно неизбежные в репродукционной части, недочеты, имело большой успех, быстро разошлось, и пришлось выпустить второе издание, что чрезвычайно редко случается с дорогими иллюстрированными книгами.

Издательство и, главным образом, Кончаловский охотно согласились с моим предложением — привлечь к участию наиболее широкий круг русских художников: и старых, известных и, глав-

ным образом, талантливых молодых, приобретших уже некоторое

Среди предложенных мною сотрудников был и Врубель. Его тогда в Москве почти никто не знал, даже среди художников, кроме, кажется, В. Васнецова, Серова, Остроухова и двух-трех еще. С Врубелем я встречался и раньше, но как и где мы познакомились, не помню. Быть может, он был известен мне по Одесской Школе Рисования, где он тоже учился, о чем мне рассказывал наш общий друг художник Костанди (а может быть, и сам Врубель). И вот я случайно узнал, что Врубель, окончив свою роспись Киевского Собора, переехал в Москву, что он очень нуждается и что поселился он у Остроухова, в его мастерской, вблизи от набережной, на Ленивке, кажется.

Я знал, что он прекрасный талантливый рисовальщик и считал его вообще даровитым, выдающимся и крупным художником. Между прочим, кроме А. Иванова, Врубель одно время тоже очень увлекался весьма известным тогда художником Фортуни (почти забытым теперь), особенно манерой его, техникой, подражая ему в передаче мельчайших подробностей, в деталях формы (филигранная работа кристалловидными «планчиками»).

Врубель и был, по моему совету, приглашен к участию. Когда были сделаны им первые иллюстрации к «Демону» (каждый художник сам выбирал, что больше по душе ему было иллюстрировать), и когда «для одобрения» они были показаны директорам типографии, — последние пришли в ужас, и конечно, досталось Кончаловскому, допустившему участие такого, никому неизвестного, «декадента»-художника. Естественно, как на ответственного руководителя художественной частью, вся вина падала на меня, «открывшего какого-то Врубеля». К счастью, Кончаловский оказался редким издателем, не столько заботившимся о коммерческих успехах фирмы, сколько о хорошо изданной книге. Как человек, увлекающийся и искренно любящий искусство, он правильно угадал огромное художественное дарование Врубеля, и сумел отстоять его перед своими коллегами, директорами издательства.

Не хочу углубляться в подробности, скажу лишь, что Врубелю на меня наклеветали. Несмотря на то, что по моей инициативе пригласили его, что из-за него мне доставалось от директоров Товарищества, он всё же поверил моим клеветникам, и

мы как-то разошлись. И только через много лет, когда интриги улеглись, Врубель мог убедиться в моих симпатиях и доброжелательных чувствах к нему.

Помню, за одним товарищеским обедом, в связи с открытием выставки, кажется, Венского Сецессиона, где устроителями мне было поручено создать Русский Отдел, и где, по моему указанию, находились, конечно, и прекрасные акварели Врубеля, — мы сидели рядом, и помнится, я первый заговорил с ним. Я сказал, что пользуюсь этой нашей встречей, чтобы разъяснить недоразумение; что в свое время на меня наклеветали и что никогда я перед ним ни в чем не покривил душой, в чем он за это время и сам мог убедиться и т. д.

На это, перебивая меня, Врубель вдруг говорит: «Да! я вам простить не мог, что вы — такой художник, — и знаетесь с Толстым!..» Признаться, такого абсурда я уж не ожидал. Но нужно было знать Врубеля, чтобы поверить, что он, как человек парадоксальный, — и возможно, уже больной, — мог сказать такую нелепость.

Не помню уж, как разговор перешел на «Демона». «Я теперь сделал нового 'Демона', — сказал он, — вот приходите ко мне, мне именно вам, рисовальщику, хотелось бы его показать; он вам, я знаю, понравится: я его по натуре весь прошел».

Я уже сказал, что надо было знать Врубеля в его «натуральную величину», надо было знать, каким оригиналом был этот человек, чтобы поверить, что он, например, терпеть не мог Рембрандта, да и вообще всю голландскую живопись; только высоко ценил и любил итальянское искусство и Ренессанс (сказалось в этом отчасти, быть может, и влияние полуитальянской Школы Рисования в Одессе, учеником которой он был до поступления в Петербургскую Академию Художеств); знал итальянских мастеров, как никто из русских художников. Как никто из русских художников он владел натурой, которая ему и не нужна была, ибо по памяти, от себя, прекрасно умел нарисовать фигуру (иногда также позволял себе утрировать форму) в любом виде и положении, и, — если нужно было, по памяти, — в любом историческом костюме любого столетия и стиля. Редко кто у нас из художников был так образован (кончил, кажется, и университет). Он вынес из Академии всё то лучшее, в смысле художественного образования, что Академия может дать талантливому

от природы ученику (за исключением, конечно, самого таланта, который от Бога).

Между прочим, говорили, будто он польского происхождения, и было в нем что-то от польского аристократа.

Иллюстрации к лермонтовскому изданию создали Врубелю громкое имя, и публика, как всегда бывает, разделилась на «приемлющих» и «отвергающих». Особенno это относится к его «Демону» (несколько театральному), который с небольшого листа рисовальной бумаги вскоре перекочевал на огромные холсты живописи. Причем, видимо, его самого «Демона» не удовлетворял, ибо он много раз его исправлял, переписывал, переделывал, уже будучи психически больным.

Прекрасным рисунком, врезавшимся в мою память на всю жизнь, была его «Тамара в Гробу» и два-три рисунка к «Герою Нашего Времени», удачно передающие ту эпоху.

Это лермонтовское издание с иллюстрациями почти всех наших тогдашних русских художников было своего рода смотром и состязанием. Но, выражаясь словами бородинского ветерана-солдата: «Немногие вернулись с поля...» И как раз самые прославленные оказались слабыми. Трудная это штука — иллюстрация!.. А как гордые передвижники-генералы с высоты своего величия презрительно отзывались о роде этого искусства.

Вспоминаю по этому поводу Серова, который говорил: «Если на десять иллюстраций хоть одна — ничего себе или удачна, то — это огромное достижение. Вот в «Маскараде» у вас «игроки»... вот это мне нравится». Как раз эту иллюстрацию и я находил лучшей в «Маскараде», по схваченной среде, по атмосфере и духу времени, отразившихся в рисунке.

Офорт, литография И. И. Шишкина, С. И. Щукин

Когда, после Мюнхенской Академии, я вернулся из-заграницы домой в Одессу, и когда потом переехал в Москву, я был поражен, как мало даже серьезные художники понимали и интересовались у нас рисунком, как самостоятельным родом пластического искусства, и как презрительно они относились к разным видам графики (не говорю, конечно, о таких мастерах-рисовальщиках как Репин, Васнецов, Поленов, Серов и некоторые другие).

Между тем, заграницей, в начале восьмидесятых годов прошлого столетия, началось возрождение художественной литографии. Нарождались новые способы репродукции — вместо отвратительных олеографий и плохих ксилографий.

Будучи в Мюнхенской Академии я часто ходил в «Купферштихкабинет» (так назывался гравюрный кабинет при мюнхенских музеях — одно из первоклассных, выдающихся собраний рисунков-оригиналов и оригинальной художественной графики старых мастеров). Здесь я знакомился с произведениями старых мастеров и с образцами художественной графики. И каким наслаждением бывало — сидеть в тиши специально оборудованной обстановки и рассматривать, — словно лицом к лицу с ним, — папку за папкой, рисунков, эскизов и особенно офортов Рембрандта или другого мастера.

В Москве, после Мюнхенской Академии, как я сказал, я был поражен тем, как мало интересовались рисунком и как пренебрежительно относились к нему знаменитые художники-передвижники. Главное в произведении было «сюжет». Передвижники приучили к «картине с гражданским содержанием». Мы, молодые художники, группировавшиеся вокруг В. Д. Поленова, — смело могу сказать, — работами нашими в области рисунка (углем, пастелью, акварелью) не мало способствовали освобождению русского искусства от чуждых ему пут сюжетности. Наше поколение добилось свободы и писать и выставлять вещи, исполненные разными способами (а не только маслом, как того требовали в то время передвижники; помнится, что они не принимали акварелей).

Замечу мимоходом, что в основе и живописи и графики лежит умение рисовать, и *рисунок — это фундамент всех видов изобразительных искусств*. Владеющий рисунком может в один-два присеста, ознакомившись с манипуляциями и приемами литографской или офортной техники, сработать свою вещь в любой из них, и может со временем стать мастером.

Приехав в Петербург на одну из выставок передвижников, я познакомился там с Иваном Ивановичем Шишкиным. Когда я показал ему свои рисунки пером, он восторженно воскликнул: «Ну да вы прирожденный офортист!» Я сказал ему, что не умею гравировать, но хотел бы. «Пойдемте ко мне в мастерскую, я покажу вам, в несколько часов, приемы гравирования офортом

и вы будете делать блестящие работы». Я зашел к нему. Он дал мне небольшую медную дощечку, покрыл ее лаком, закоптил: — «Ну, нарисуйте что-нибудь, здесь вот игла для этого». Я нарисовал довольно плохо финляндского «вейку» (извозчика). «Ну, вот, хорошо, — теперь потравим его...». Словом через час-два я узнал всю премудрость гравирования и, прощаюсь с ним, горячо благодаряя его, уже видел, какие я буду закатывать офорты, и как порадую старика. Увы... надежды Шишкина на мои «шедевры» не оправдались, и встретившись с ним через несколько лет, на его вопрос: — «Ну-с, где ваши офорты?» — я стал оправдываться как школьник, что времени не было и т. д. Шишкин: — «Я так и знал. Дело в том, что надо быть со средствами. Это можно делать только на досуге, надо иметь печатный станок». Он был прав. Первый и сложный офорт (портрет Толстого) я действительно мог сделать лишь через несколько лет, в 1906-м году, заграницей, в Берлине, где над моей квартирой жил художник-офортист Г-н Ейкман, у которого все было под рукой для травления, собственный печатный станок и прочее. Он любезно предложил мне поработать в его мастерской, и так как у меня был тогда необходимый досуг, я мог свободно у него рисовать и экспериментировать. К сожалению, И. И. Шишкина уже не было в живых, а то бы я показал ему мои работы, которые может быть его порадовали бы.

Московские общества «Зб» и «Союз Русских Художников» (как и «Мир Искусства» в Петербурге) своими ежегодными выставками влияли на общественный вкус, на развитие интереса к художественным произведениям, а также на постепенное развитие, особенно в Москве, коллекционерства в широких слоях населения. Рядом с известными дворянскими именами, носители которых из рода в род хранили и пополняли свои художественные сокровища, появились новые имена.

Одним из первых и самым значительным, и по размерам и по художественно-историческому значению, было, конечно, собрание братьев Третьяковых. Но и некоторые другие представители культурных слоев населения приобрели известность своими достижениями в области коллекционерства. Назову лишь несколько имен: Морозовы, Востряковы, Остроухов, Солдатенковы, Молосов, Ланговой, Гиршман, Высоцкий, Цветков и другие. С осо-

бенным воодушевлением стали заниматься делом созиания картин и других предметов искусства, в начале девяностых годов, братья Щукины.

Поскольку помнится, Иван Иванович Щукин, вначале собиравший древнерусскую утварь, материю и костюмы, впоследствии сосредоточил свое внимание на испанских мастерах; были у него и некоторые современные французские художники.

Дмитрий Иванович собирал старых мастеров (главным образом, голландцев). Любопытный случай мне рассказывал Л.-Й. Приходит он как-то к Дмитрию Ивановичу осматривать его великолепное собрание, замечает новую картину и спрашивает: «А что это у вас там наверху?» — «Ах, пустяки!» — «Да покажите!» — «Право не стоит, я ее отдаю, ну ее!» Потом оказалось, что это был Верmeer van-Dельфт, который красуется в Гаагском музее (женская фигура, ночью).

Что касается Сергея Ивановича Щукина, то он собирать стал поздно. Сначала очень мало. Бывая у него, среди картин преимущественно французских импрессионистов, в задних жилых комнатах, я видел еще и Сурикова и даже мой угольный рисунок головы старика. Но постепенно прекрасные французские произведения стали вытеснять и те немногие и мало значущие работы русских художников, какие у него были.

Щукин одно время устраивал у себя блестящие вечера камерной музыки для приглашенных, с обилием — помимо яств и пития — чудных, огромных букетов красных роз. В антрактах гостеприимный хозяин показывал свое собрание замечательных французских импрессионистов — Сезанна, Дега, Ренуара, Монэ, Сизлея и др.

Однажды Серов и я были одни у Щукина. «А вот я покажу вам», — приоткрывая тяжелую оконную портьеру, проговорил он, и вынул оттуда первого своего Гогена (Маоританскую Венеру с веером), и смеясь и заикаясь, добавил: — «Вот — су... су... сумасшедший писал, и су... су... сумасшедший купил». И снова спрятал.

С. И. Щукин ездил в Париж и там «перевоспитывался». Он был под влиянием, главным образом, Дюран-Рюэля, этого прекрасного знатока и дельца среди французских художников, который первым понял и оценил значение импрессионизма и поддерживал молодых художников. Благодаря ему Манэ, Дега, Ренуар

и другие вскоре стали считаться классиками. Дюран-Рюэль чуть-ем угадывал будущий успех еще неизвестных художников и тогда как в самом Париже еще отмахивались от всяких Гогенов и Ван-Гогов, он, бывало, говорил Щукину: «Вот теперь покупайте», и Щукин покупал. Нужно сказать, что его Маоританская Венера была лучшей в Москве картиной Гогена, произведения которого впоследствии стали приобретать и другие.

Таким образом, постепенно, но быстро шло художественное развитие Щукина. Уже не прятались Гогены; уже Матиссы и Пикассо, а также разные «измы» в обилии красовались на стенах его дома.

Отдельные, прежде разрозненные, осмотры коллекции его знакомыми и друзьями превратились в регулярные — по воскресеньям — посещения большими группами публики, в особенности учащимися Училища Живописи и других художественных школ. Воскресные осмотры эти сопровождались объяснениями самого хозяина и разрастались в курсы по истории «новых течений» в искусстве.

Щукин показывал однажды свое собрание очень большой и очень разношерстной толпе посетителей. В тишине паузы, внезапно наступившей в его лекции, с оттенком сожаления в интонации, внезапно вдруг раздался чей-то голос: «И к чему утомлять глаз хорошим рисунком!..»

Вот как бедный юноша «понял» новые течения. А ведь ловко сказано! И в самом деле, с точки зрения вводимой в заблуждение молодежи, — зачем учиться, зачем добиваться совершенства, зачем стараться рисовать хорошо, когда, с благословения новых законодателей крайних модернистических течений, не только можно, но и нужно рисовать дурно, и когда художественная безграмотность, в глазах вожаков, превратилась в добродетель.

Встречи с Н. Н. Ге. А. М. Горький

Курьезно было мое знакомство с Н. Н. Ге у Поленовых, где я впервые встретился с ним. Это было в начале девяностых годов, когда окончательно поселившись в Москве, я знакомился с художниками.

Однажды я зашел к Поленовым, и за вечерним чаем, кроме всей семьи их, застал незнакомого мне, очень живописного, с

красивой головой, старика, который, к моей радости, оказался Николаем Николаевичем Ге. Я никогда не видывал его прежде, не знал, и был удивлен, когда, здороваясь, он заговорил со мной, как со старым знакомым, как с близким человеком, причем тут же, во всеуслышание объявил, что смотрит на меня, как на своего последователя, на ученика и преемника его художественных взглядов и деятельности, — нечто вроде этого... Хоть и крайне лестно было услышать такое мнение из уст выдающегося мастера этого художника, прославленного представителя русской живописи, но разделить его я не мог, и так и непонятым осталось, в чём, чем и почему я заслужил поощряющий, и вместе с тем странный отзыв. Несмотря на мое недоумение, он добавил: «Мы с вами давно друзья, — вы мой продолжатель!» Между тем я его вещей почти не видал, едва знал его творчество, он был значительно старше меня и мне неловко было в тот вечер.

Н. Н. Ге очень интересно и с большим темпераментом рассказывал. Помню, между прочим, какой-то анекдот про одного важного генерала. Дело в том, что в салонах Петербурга тогда только и было разговору, что о напшумевшей и имевшей большой успех исторической картине Ге «Петр с сыном». Чувствовалось, что у этого художника было большое, значительное прошлое. В его лице поражали живые, умные и, несмотря на возраст, молодые, горящие глаза. А что за оригинальным, большого ума, человеком он был, каким образованным и начитанным, не говоря уже о том, что он был одним из крупнейших, не стареющих душой, художников-передвижников!

Я так жалел потом, что не пришлось мне написать с него большого портрета. Всё же я рад, что увековечил его с его великим другом (как я в тот вечер узнал, он был толстовцем и был искренней дружбой связан со Львом Николаевичем) в небольшой картине «Чтение рукописи». Должен кстати сказать, что в действительности рукопись одного чудесного рассказа Лев Николаевич читал мне, но я не хотел афишировать себя с Толстым, и вместо себя решил «посадить» его лучшего друга, и написал Н. Н. Ге. Кроме того, я сделал рисунок с натуры, на котором (в мастерской, недалеко от Бутырок, где он показывал друзьям свою картину «Распятие Христа») Н. Н. Ге читает свои записки г-же Г-ч, редакторше толстовского журнала «Современник».

Но вернемся к вечеру у Поленовых. Как я уже сказал, Н. Н.

ошеломил меня своим внезапным признанием — в момент знакомства — что он видит во мне своего последователя. Еще больше смущил он меня, когда стал хвалить виденные им мои работы, а к концу вечера сказал, что хотел бы узнать меня поближе, увидеть незнакомые еще ему мои произведения. Конечно, я с искренней радостью пригласил его к себе, и мы тут же условились о дне и часе его прихода.

Когда он пришел к нам, он очаровал всех у нас дома, до няни включительно. По тому, как этот старик, глубокий философ и последователь Толстого смотрел на мои картины, как он приглядывался, словно изучая, к каждому эскизу, рисунку, к каждому цветному этюду, видно было, что это был еще очень молодой, страстный и настоящий художник-живописец.

В мастерскую зашла моя жена, и я ее ему представил: «Ах, — воскликнул он, обращаясь к ней, — я имею обыкновение, знакомясь с женами художников, выражать им мое искреннее сочувствие, они, несчастные, обречены на страдания, и мне их очень жаль!» — но не объяснил, почему, собственно.

«Я всё хочу у вас высмотреть, всякую малейшую вашу вещь, чтобы вас узнать», — говорил он, во все глаза осматривая сверху до низу стены всех комнат. Во время обеда, в комнату к нам вошел мой четырехлетний сынишка Борис. Повидимому, о чем-то думая, широко раскрытыми, недоумевающими глазами глядя на Николая Николаевича, он молча, прямо пошел к нему на колени, тогда как он обычно дичился новых незнакомых людей. Н. Н. затем держал Борю на коленях во всё время обеда, а Боря, очевидно, сразу полюбивший «дедушку», не спускал с него глаз: «Вот видите, как мы с Борей уже и подружились», говорил Ге. Впоследствии, во время одного из своих посещений, Ге говорил мне: «У меня теперь на свете три друга: Лев Николаевич (не помню теперь, кого он назвал вторым) и ваш Боря».

Встречался я потом с Н. Н. у Толстого, и всякий раз сызнова он очаровывал меня своей живостью, своей оригинальностью и своей задушевностью. Видел я его, конечно, и на выставках передвижников, он был членом их товарищества, но как непохож он был всем своим обликом, прямым своим характером, своей непредвзятостью на главных представителей товарищества! Помнится, что одна из первых моих картин, впоследствии приобретенная Люксембургским музеем в Париже, едва-едва утверждена

была к принятию на выставку передвижников в Москве и Петербурге, но неподходящей была признана для дальнейших выставок в других городах России: не угодил размером. В другой раз, не принятые были оригиналы моих иллюстраций к «Воскресению»: «Почему со стеклами?...» Возмущенный отношением ко мне и к некоторым другим молодым художникам большинства передвижников, Ге рассказал мне, как, ратуя за меня, он не раз на их собраниях предлагал (конечно, безрезультатно) выбрать меня в члены товарищества (члены не подвергались жюри). На его замечание: — «Что же вы его до сих пор в члены не выбрали, ведь у него не только в России, но и заграницей есть имя и известность», — ему отвечали, что в этом году, мол, у Пастернака две маленькие по размеру картины, а вот в будущем пусть напишет побольше. — «Да что вы по вершкам меряете?!» — воскликнул Ге. Не вдаваясь в подробности неприязненности передвижников (как ни странно, художник Нестеров верно предсказал, что успех моей первой большой картины «Письмо с Родины» на выставке передвижников «задаром мне не пройдет», и что мне придется «оплатиться за него»), скажу лишь, что с появлением Мира Искусства, а затем и собственных наших московских «Зб» и Союза Русских Художников, на выставках которых ежегодно появлялись и мои работы, забота о том, «где показать» и «примут ли», окончательно отпала, и передвижники перестали интересовать меня и многих моих товарищей.

Между прочим, рассказывая о своих пререканиях с передвижниками и желая утешить меня, Ге, со свойственной ему добротой, как-то заметил: «Да стоит ли вам обращать на них внимание, когда — я знаю это — Лев Николаевич вас любит! Это большое счастье!» Он сильно смущил меня тогда этими словами. Но теперь я — старик, не нынче-завтра — конец... могу говорить открыто, не стесняясь, об одном из самых дорогих воспоминаний.

Говоря в одной из предыдущих глав о моей ранней деятельности в Одессе и о моем участии, в годы юности, в юмористических журналах, не могу не вспомнить Алексея Максимовича Горького. Дело в том, что в журнале «Пчелка», помимо портретных карикатур и сатирических композиций, я помещал также рисунки, чисто художественного характера — одесские типы, уличные сцены, характерные сцены из портовой жизни. Так, вспоминаю,

я поместил в одном из номеров «Пчелки» рисунок типичного портowego «босяка», очень задолго до Горького. Как-то, не помню уже по какому случаю, Горький был у нас дома, и за завтраком, помнится, я спросил его, видал ли он когда-нибудь моего «босяка», в одесской «Пчелке»? — «Как же! Конечно... Хотите я пришлю вам комплект «Пчелки» за целый год, у меня есть». А. М., увы, верно, забыл прислать, а может и послал, да журналы пропали.

В первый раз я встретился с Горьким, когда был приглашен к нему с некоторыми моими товарищами-художниками (Серов и др.) для обсуждения издания нового сатирического журнала, вроде мюнхенского «Симплициссимуса», — накануне первой революции.

Потом, проживая с семьей в Берлине в 1906-м году, я посетил Горького в загородной санатории-пансионе в Целендорфе, и преподнес ему на память один из моих, ставших потом известными, офортов с Льва Николаевича Толстого — на фоне облачного грозового неба. Искренне поблагодарив, Горький тут же прикрепил его кнопкой к стене и, не отрываясь, долго, серьезный, смотрел на «грядущего сквозь бурную стихию» Толстого... И сжатым кулаком и движением правой руки снизу вверх, подчеркивая свои слова, сказал: «Ух, как он клином вошел во всю литературу!»

Между прочим, в мое посещение Горького в Целендорфе, заговорили как-то о 1905-м году, о бунтарско-анархических элементах русского народа. Горький заметил, что смиренность его лишь показная: шапку низко снимает перед барином, а в глазах искорки: погоди, мол, ужотко, расчитаемся. Затем он много рассказывал о 1905-м году и о разных специфических явлениях русской народной жизни.

«А слыхали вы когда-нибудь — я сам об этом недавно узнал — о «нетовцах»? Нигде в мире нет ничего подобного», — рассказывал Горький. — «Это в роде какой-то секты, что-ли. На всякий вопрос отвечают отрицательно. «Как зовут тебя?» «Не знаю». «Пачпорт твой?» «Нету». «Отец, мать есть?» «Нету». «Откуда ты?» «Не знаю». «Куда ты?» На всё ответ: «нет» или «не знаю». Ходят с котомкой, как наши паломники к святым местам, ночуют и кормятся в деревнях, — даст кто приют, хлеба,

— и слава Богу; и так им ничего не надо, ничего не знают, на все вопросы — «нет», вот и прозвали их нетовцами».

До этого моего посещения Горького в Целендорфе я сделал небольшой карандашный набросок с него во время чтения им отрывка нового его произведения на одном из благотворительных литературных вечеров, в 1906-м году, в Берлине. С этого наброска я сделал офорт, но не окончил его (есть лишь в двух трех пробных оттисках — один, кажется, в Музее Горького, в Москве).

Смешной Юпитер

«А вы, Леонид Осипович, и не знаете, что вы спасли меня и что вам я в большой мере обязан тем, что стал художником?» — «Как! чем? Расскажите!» Этот разговор происходил на товарищеском обеде общества Союза Русских Художников между Н. Крымовым и мною. Люди, немного расчувствовавшиеся под влиянием напитков, дружеской атмосферы и отсутствия формальности, становятся общительнее, сдержанность и скрытность сменяются искренними разговорами, откровенностью. Вот что рассказал Крымов:

«Как вы знаете, на приемных экзаменах в Училище Живописи, Ваяния и Зодчества для экзаменующихся открывают обыкновенно два-три зала, но и в них едва все умещаются. И когда пускают в зал, — вы знаете, конечно, — лучшие места «с бою» берутся более сильными, здоровыми, а я как раз из мальчиков был самый маленький и слабый, — и мне досталось коленое место у окна. С трудом лишь удавалось мне разглядеть голову Юпитера, — гипс, который мы должны были срисовать. Уже перед окончанием срока я увидел, что принимавшие участие в конкурсе, наловчившиеся в частных школах трафаретные техники, далеко, как мне казалось, были впереди меня, и я не сомневался, что я с моим жалким Юпитером провалюсь».

Когда Крымов в своем повествовании дошел до этого момента, я сразу вспомнил следующее. По правилам о приемных экзаменах, чтобы кто-нибудь из посторонних не очутился в зале и чтобы вообще не произошло какого-либо обмана, — художники-преподаватели по очереди всё время обходят экзаменационные залы, и «жульничанью» нет места. И случилось, что проходя мимо экзаменующихся, я несколько дольше остановился около

Крымова, ибо у его несуразного и комического «Юпитера» было, однако, что-то, — больше от Юпитера, чем в работах этих ловких, натасканных, «бравых», во время паузы флиртовавших с экзаменовавшимися девицами; что-то было талантливое, непосредственное, и таких, — более даровитых, не испорченных шаблоном, — мы искали для обучения. Этот курьезный Юпитер мне очень понравился, и когда я, уходя, снова обернулся в сторону Крымова и посмотрел на него, не спускавшего с меня глаз, — он, повидимому, уловил на моем лице выражение некоторого удо-

«...Когда вы, уходя, взглянули на меня и улыбнулись, — продолжал Крымов, — я ожил, я почувствовал, что начало не было таким уже плохим, что я могу продолжать в том же роде, — я стал работать увереннее и быстрее, кончил к назначенному сроку и был принят в училище. Одобрение, которое я прочел в ваших глазах, спасло меня: ведь до вашего прихода я уже не надеялся на успех и энергии не было продолжать работу... Вот вы и не чаяли, наверное, Леонид Осипович, что в жизни моей сыграли такую роль?»

Встречи с Р. М. Рильке

Это было более, чем сорок лет тому назад, в Москве. В один из прекрасных весенних дней, послей долгой суровой зимы как бы заливающих всё экстазом солнечного блеска, в мастерской моей передо мной стоял молодой, очень молодой человек, белокурый, хрупкий, в темно-зеленом тирольском плаще. В руках у него были рекомендательные письма от друзей моих из Германии, с просьбой оказать подателю помочь словом и делом, в его знакомстве со страной и ее жителями. Просили меня также, поскольку помню, познакомить его, если можно, с Толстым.

Имя неизвестного мне поэта — Райнера Марии Рильке называли его в письмах — не сказало мне ничего. Но весь внешний облик этого молодого немца (я, незаметно для него, старался его изучить, бегло просматривая письма), который небольшой мягкой бородкой и большими голубыми, по-детски чистыми, во-прошающими глазами скорее напоминал тонкого русского интеллигента; его благородная осанка; его жизнерадостное, движное существо; его необузданный, излучавший радость, восторг по поводу всего им уже виденного в России, этой, как он

выражался, «святой для него» стране: всё это сразу очаровало меня. И уже после первой короткой беседы, мы чувствовали себя старыми добрыми друзьями (какими впоследствии мы и стали).

Рильке приехал в Москву со своими друзьями, с поэтессой Лу Андреас Саломе и ее мужем. Они собирались провести здесь Страстную неделю и Пасхальные праздники. Тогдашняя Москва, с ее бесчисленными монастырями, башнями и золотоглавыми церквами, с ее высящимся над городом бело-золотым, сияющим на солнце, Кремлем — уже издали являла собой картину сказочной красоты. Не трудно представить себе поэтому, как повлиял на столь чуткого художника Рильке необычайно оригинальный по живописности общий вид Москвы. Но совершенно особенный, новый и интересный мир представляла собой Москва во время Страстной и Пасхальной недель, — особенно для иностранца, который, как Рильке, задался целью изучить религиозно-исторические обычаи и обряды страны и ознакомиться с подлинной, неприкрашенной народной жизнью. Как своеобразны были эти ночи Вербной недели, таинственные шествия в узких переулках набожных прихожан, возвращавшихся из церквей с зажженными свечками... А какую оригинальную (особенно интересную для изучающего русские народные нравы), неописуемую картину представлял собой вербный базар на большой исторической Красной площади! Какая пестрая смесь старо-русского с восточным, какая — свойственная этому гулянию — радостно-веселая кутерьма и давка; и наряду со всем этим, — поражающее своей неожиданностью, внезапное появление изящных экипажей высшего общества и богатого купечества, с красивыми лошадьми в прелестной русской упряжи, — элегантность и роскошь, напоминающие нарядное европейское «корсо».

А исполненная благоговейного умиления и веры празднично-мистическая атмосфера Пасхальной ночи в переполненном Кремле, — какое глубокое и могучее впечатление должна была она произвести на восприимчивую, чуткую к выражению религиозных переживаний, душу Рильке.

Возвратившись на родину, полный вдохновивших его в России впечатлений, Рильке вскоре (одновременно посыпая мне свой первый сборник стихов), из Берлина-Шмаргендорфа, писал мне, между прочим, следующее: «...Теперь должен рассказать

вам, что, как я и предчувствовал, Россия не была для меня мимолетным переживанием. С августа прошлого года я начал, а теперь почти исключительно занимаюсь изучением русского искусства, русской истории и культуры и, конечно, вашего прекрасного, незабываемого языка... и что за удовольствие читать стихи Лермонтова или прозу Толстого в оригинале! Как я наслаждаюсь этим! Прямое следствие этих занятий то, что я чрезвычайно тоскую по Москве, и если не случится ничего непредвиденного, первого апреля, по русскому стилю, я буду у вас». И далее: «В этот раз думаю съездить и в Киев и в Крым... В ожидании этого путешествия по России, я чувствую себя, как ребенок перед Рождественскими праздниками». И в конце письма добавляет: «Пришлите мне, пожалуйста, несколько строк — можете теперь писать и по-русски». И точно, с тех пор мы стали переписываться по-русски, — он недурно научился изъясняться на нашем языке.

Следующая моя встреча с Рильке была короткой и мимолетной. В этот раз он приехал в Россию, с намерением совершить большое путешествие. И совершенно случайно мы встретились на станции между Москвой и Тулой. Я с семьей ехал на юг. Когда я вышел из вагона на станцию, я вдруг увидел Рильке. После радостного приветствия, я спросил его, куда он направляется. Оказалось, что он собирается в Ясную Поляну, но, — стал жаловаться Рильке, — он не может установить, находится ли Толстой в данный момент у себя в имении или уехал куда-то. Я был в состоянии тут же помочь ему в его затруднительном положении. Дело в том, что в том же поезде ехал один близкий друг Толстого, который сейчас же телеграммой известил Толстых, и таким образом, облегчил Рильке посещение Ясной Поляны и встречу с Львом Николаевичем.

Интересным совпадением было также то, что мой сын Борис, бывший тогда десятилетним гимназистом, и находившийся со мной на перроне станции, в первый и последний раз в жизни видел моего молодого немецкого друга. И не снилось тогда ни ему, ни мне, что великий немецкий поэт так сильно в будущем повлияет на него и что ему, в свою очередь, дано будет своими переводами способствовать ознакомлению молодых литературных кругов России с творчеством Рильке.

1904-ый год. Я впервые в Италии. Всякий знает, что означает для художника первое посещение Италии. Уже я осмотрел Венецию, Верону, Флоренцию. И вот я в Риме. Жара. От всех этих беспрестанных впечатлений, переживаний, от всего виденного, от всего, чем без конца я упивался в музеях и галереях, — я совершенно изнеможен. Не могу больше, не в состоянии продолжать; я должен найти какого-нибудь близкого человека, друга, с которым мог бы поделиться впечатлениями, рассказать, отвести душу, а вокруг всё — чужие... Иду себе так, и вдруг — кого я вижу, кто идет мне навстречу — Рильке!.. О чудо Божье! Мой милый, мой дорогой, сияющий Рильке... Что за радостная, здесь никак не ожидавшаяся встреча! И после стольких лет, сколько хочется рассказать друг другу. И уже бьет ключом беседа, льется без перерыва, как шумящие невдалеке фонтаны Нептуна. Прощаясь, он пригласил меня к себе, чтобы провести вечер вместе, и еще поболтать и поделиться всячими новостями у него дома, он в то время жил в Риме.

В темноте тихой, теплой, глубоко-черной римской ночи я с трудом лишь нашел виллу Фазол (по соседству с виллой Боргезе, поскольку помню). Оказалось, что он был женат. Он представил мне свою молодую прелестную жену, талантливую скульпторшу, ученицу Родена.

Как уютно было у них и как интересно! Незабываемыми остались часы, проведенные с ними в оживленной беседе. И на этот раз главной темой — кроме искусства — была боготворимая им Россия и русская литература, которую он изучил весьма основательно. Более того, с каким знанием и с каким воодушевлением говорил он об особенных красотах старо-русской поэзии, о «Слове о Полку Игореве», которое он прочел в оригинале, т. е. на труднейшем для иностранца церковно-славянском языке.

И еще одна короткая, случайная, на этот раз последняя, встреча с Рильке в Швейцарии. От времени до времени мы переписывались. Но вот началась война, затем революция. Переписка с немецкими друзьями временно прекратилась. Несколько раз в Москве распространялись слухи, что Рильке умер, но проверить эти слухи было невозможно. И только, когда я приехал в Берлин, к моей и всей моей семье величайшей радости, я узнал, что Рильке жив и здоров, работает и живет в Швейцарии. Я тотчас же написал ему, и как всегда — по-русски.

В ответ я получил длинное письмо от него, последнее перед его совершенно неожиданной смертью. Начинается оно, правда, еще по-русски, но после первых ошибочных строк, он признается, что после стольких лет он разучился писать по-русски; но уверяет, что Россия — «эта незабываемая сказка» — осталась для него «близкой, дорогой и святой, навсегда вошедшей в основы его существования».

Он пишет про свое пребывание, в последние годы, в Париже, рассказывает про свой новый домик в Швейцарии, где он теперь поселился «в совершенном одиночестве, со своей работой и с розами своего небольшого сада». Он пишет о новых и старых парижских друзьях, и впервые я слышу от него: «...и молодая слава вашего сына Бориса тронула меня, — и по разным причинам». Далее сообщает, что в Париже ему случилось прочесть «прекрасные стихи» его, и уже в конце письма, в приписке, добавляет: «как раз в зимнем номере очень хорошего большого парижского журнала «Коммерс», издаваемого великим писателем Поль Валери, появились замечательные стихи Бориса Пастернака во французском переводе...» Эти строчки были последними, полученными мною от него. И невольно при этом я вспоминаю о той встрече между Москвой и Тулой...

Н. Ф. Федоров

В 1892-93 году я посещал Румянцевскую Публичную Библиотеку, где собирал по книгам материалы по военным и гражданским костюмам 1812 года, вообще начала прошлого столетия, для моих иллюстраций к «Войне и Миру» Толстого, заказанных мне художественным петербургским журналом «Север». Как художественную премию своим подписчикам, журнал затеял издание альбома в красках, в котором, кроме меня, принимали участие Репин, Кившенко и Каразин.

Заведывал огромной Румянцевской Библиотекой маленький согбенный старичок, очень бедно и странно одетый в какую-то старую тонкую женскую кофту-куцавейку, — руки его были засунуты в рукава, словно он ежился от холода. С зеленовато-желтого, бледно смуглого, худощавого старческого лица, с седой бородкой и усами, с жиidenькими волосами на лысом черепе, — живо и остро пронизывали вас горящие черные глаза во впавших

глазницах. Что-то странное и очень оригинальное было в нем, нечто в роде тех аскетических монахов, которых изображали итальянские художники. С него можно было бы писать Франциска Ассизского. Как я потом узнал, это и был своего рода святой, и по своим высоко нравственным принципам и по аскетическому образу жизни.

Заметно было, что он живо интересовался всем и заботился о том, чтобы посетитель в поисках нужного материала возможно шире и полнее был обслужен. И потому он сам тащил большие тяжелые фолианты: «Вот здесь вы и найдете нужное вам», говорил он.

Он был всесторонне образован, и научно и литературно, и не было вопроса, которым интересовался посетитель, и которого не знал бы Федоров: тотчас же он начинал искать подходящую книгу или журнал. Приходит, скажем, инженер, которому нужно узнать про какую-нибудь особенную гайку, и Федоров, подумав с минуту, уже знает, когда и в каком специальном журнале появилась статья, о ней упоминающая! И он отыскивал необходимый периодический журнал.

Иногда отрываясь от чтения лежавших передо мной книг, я любил наблюдать его. Он это замечал, и я чувствовал, что это его волнует: почему, мол, я не «занимаюсь», и я снова начинал «заниматься».

Так я и не знал тогда, кто этот Федоров. И даже забыл про него. И только через несколько лет, будучи в гостях в Ясной Поляне, встретил там молодого человека, который рассказал мне о нем подробнее.

Мало известное дотоле имя Федорова, после смерти его в 1904-м г., прославилось по всей России, и не было у нас образованного человека, который бы не знал о нем.

В моей монографии есть этюд к моему групповому портрету Толстого, Соловьева и Федорова. Лицо и фигуру Федорова на этой картине я написал с набросков, которые мне удалось сделать с него в библиотеке, когда он не смотрел на меня, и не замечал, что я рисую.

Встречи трех философов, изображенных на моей картине вокруг стола, в Румянцевской Библиотеке, продолжались иногда до позднего вечера в квартирке Федорова, в скромной его комнате с одним всего, как мне рассказывали, стулом, с маленькой

керосиновой лампочкой под бумажным абажуром. Этот директор великолепного собрания, этот человек блестящей эрудиции, этот величайший мыслитель — вел почти монашескую жизнь и всё что зарабатывал — раздавал нуждавшимся. Говорили даже, что он ухитрялся из собственного жалованья иногда покупать и дарить книги Румянцевской Библиотеке!

В комнате его, в Замоскворечье, собирались ученые, философы, писатели, — велись дискуссии, обсуждались жгучие вопросы, волновавшие умы, и споры религиозно-философского характера велись иногда за полночь.

Из скромности, а может быть, в соответствии с его принципами, Федоров противился всякой попытке сфотографировать его. И если бы мне не случилось встретить его, и если бы, пользуясь своими зарисовками (сделанными без его ведома) с натуры, в библиотеке, я не сделал его портрета, — лицо Федорова было бы неизвестно будущим поколениям.

В. О. Ключевский

Поступив, по желанию родителей, на медицинский факультет Московского Университета, я за год учения успел убедиться, что врачом стать не могу, т. к. не в силах преодолеть отвращение к трупам. Первую часть анатомии, которая необходима и художникам, т. е. учение о костях и мышцах, я всё же прошел. И у профессора анатомии Зернова на полукурсовом экзамене получил даже пятерку. Тем и кончилась моя медицина. Я решил перевестись на юридический факультет, дававший возможность в свободное от лекций время заниматься живописью. Лекции меня не интересовали, университет вообще не дал мне почти ничего, но я оставался в нем, и окончил его только ради родителей.

Из всех профессоров два произвели на меня неизгладимое впечатление: Ключевский и Чупров.

Ко времени моего перехода с медицинского на первый курс юридического факультета, слава Ключевского, как профессора и ученого и как крупнейшего русского историка, уже укрепилась.

Отправляясь на первую его лекцию, я не ожидал, что придется с трудом протискиваться сквозь толпу пришедших слушать его! Огромная аудитория юридического факультета быстро наполнялась студентами и других факультетов. На лекциях Чуп-

рова аудитория тоже бывала переполнена не только студентами юридического, но и других факультетов. На лекциях же Ключевского буквально булавке упасть негде было: сидели на окнах, на подоконниках; стояли вокруг, и за кафедрой, — сплошь было набито студентами всего университета.

Плотная стена сидевших и стоявших передо мною людей за-слоняла переднюю часть аудитории, и только когда Ключевский поднялся на кафедру, я наконец, впервые увидал его. Как описать это первое впечатление? Сколько ни говори, как ни старайся описать — всё выйдет неясно. И кажется мне, что лишь портрет — не словесное изображение — может дать некоторое представление о человеке. Но об этом после. Скажу лишь, что с первого же мгновения Ключевский обвороожил меня.

Стараясь восстановить в памяти его образ таким, каким представился он мне в тот первый раз, невольно рядом с ним я вижу и Чупрова. Оба они были исключительны. Оба — так не-похожи друг на друга, что как бы дополняли друг друга, и сопоставление их особенностей и их качеств облегчает характеристику каждого из них. Оба были профессорами: Ключевский — по русской истории, Чупров — по политической экономии. Оба — поразительные явления типичной русской интеллигенции.

Как крупнейший писатель по русской истории, Ключевский значительно превосходил Чупрова громадной силой своего творческого таланта и своего художественного дарования. Чупров — очаровывал своей благородной натурой и способностью увлечь слушателя живой передачей интересного своего, модного в те времена, предмета. И вижу я первого из них, — напоминавшего мне древне-русского подъячего с чернильницей и пером на груди (отличительный костюм старо-русского «дипломата»), мудрого, тонкого и образованного, с умным и ласковым взглядом глаз из-за очков, всё прекрасно вокруг себя видящих; и второго — типично русского тоже, но усвоившего всё то, что было лучшего в культуре Запада: интеллигента-ученого, европейца английской складки, современного профессора в золотых очках, с благородным выражением лица и широко открытыми на мир глазами, — на весь мир, и в особенности, на одну из интереснейших, и тогда особенно увлекавших молодежь, науку.

Как передать выражение тонкого, умного и живого лица Ключевского, когда, во время лекции, он, как бы охотясь, под-

хватывал историческое событие или лицо и подавал его живым — еще трепещущим — огромной аудитории, не щадя его, подвергая по пути жестокому анализу? Как передать его манеру держать корпус, как описать его особенный, несколько гортанный, с каким-то предыханием, выговор, легкую певучесть голоса его, когда он произносил древне-русские цитаты, в воображении переносившие в шестнадцатый век.

Необыкновенный, гениальный историк своим живым и красочным, искрящимся рассказом умел наэлектризовывать жадно его слушавших. Когда я сидел в битком набитой студентами аудитории, слушая художественный, образный рассказ его о жизни, характере и событиях русской земли в давние века, восхищенный, очарованный им, не снилось мне, что через какие-нибудь десять-двенадцать лет мы будем «товарищами» по московскому Училищу Живописи, Ваяния и Зодчества, в котором мы были преподавателями, и которое и он и я особенно любили. Не снилось мне, что мне удастся написать его портрет в художественной обстановке училища.

В чуждой мне атмосфере юридического факультета, среди чужих, не интересовавших меня людей, только Ключевский и Чупров, как я уже сказал, произвели неотразимое впечатление. Но несмотря на то, что Василий Осипович приобретал всё большую и большую славу, всё, связанное с университетом, скоро перестало трогать меня, я думал только о живописи и готовился к поездке в Мюнхен, в Мюнхенскую Академию Художеств.

В начале девяностых годов в улучшенном, реформированном директором, князем А. Е. Львовым, Училище Живописи проводился новый устав, повлекший за собой некоторые изменения и увеличение состава преподавателей. Между прочим, Львову удалось привлечь Ключевского к чтению лекций по русской истории, которое он очень полюбил и в атмосфере которого он очень хорошо себя чувствовал. Ключевский — сам большой художник и мастер слова — полюбил новых учеников своих, молодых художников. Он не очень, видимо, любил университет, судя по тому, что бросив читать там, продолжал, с большой охотой, почти до конца своей жизни, читать лекции у нас в училище и в Троице-Сергиевской Лавре.

Не только ученики всех мастерских и классов, и преподаватели и художники нашего училища, но даже и посторонняя

публика, — с разрешения и самого Ключевского и директора училища, — переполняли аудиторию, т. е. актовый зал, в котором читал Ключевский. Ходил он, бывало вокруг стола, несколько подаваясь вперед корпусом, подбоченясь левой рукой (возможно, страдал от болей в пояснице), останавливался, опираясь о стол правой рукой. И вдруг — вопрос-загадка, обращенная к слушателям, и также внезапно — неожиданный оборот: ответ. Такими оригинальными, несвойственными обыкновенным лекциям приемами, он разнообразил свое и без того уже захватывающее чтение, создавал живую связь между слушателями и собою, давал им возможность легко следовать за ним и переноситься в описываемое им время.

Этот чистейшего старо-русского стиля человек, как бы олицетворявший тип постепенно развивавшегося в семнадцатом веке русского образованного общества, с ясным, умнейшим и тонким выражением глаз, с этой чисто русской речью, был, как передавали мне самые близкие его родные, из инородцев (черемисов или чувашей, не помню). Отец Василия Осиповича мальчиком был крещен и впоследствии стал православным священником.

Я уже упомянул о том, что написал портрет Ключевского. Не помню, к сожалению, где находится письмо В. О. по поводу этого портрета. Скажу здесь несколько слов о наших беседах во время сеансов, да и во время других наших встреч в училище.

Между прочим, поскольку помнится, никто кроме меня, не писал его, и я счастлив, что удалось мне, запечатлев черты гениального русского историка, оставить эту художественную память нашему народу. Смею думать, что я исполнил свой долг перед родиной написанием этого портрета, также как и портрета Федорова, после смерти которого не осталось даже фотографий с него. И не напиши я Федорова при жизни, никто впоследствии не имел бы понятия о том «каков на вид» был этот оригинал, этот великий русский человек и философ.

Я уже говорил о том, каким непередаваемо своеобразным показался мне Ключевский с первого же разу, когда я студентом увидал его на кафедре, в аудитории юридического факультета. Впечатление это не изменилось и потом, когда мне часто приходилось видеть его.

Я изобразил Ключевского, читающим лекцию, в соответствии

с тем, как это бывало на самом деле, в обстановке нашего училища, на фоне актового зала, среди статуй и картин, украшавших этот высокий красивый круглый зал.

Рядом с этим помещением была канцелярия училища или учительская, где во время перерыва преподаватели покуривали. Странно было видеть этого «древне-русского» человека (особенно типичным казался он мне, когда зимой приходил в медвежьей шубе с меховым «боярским» воротником) с современной папироской, которую он по особому как-то держал в руке.

Однажды в перерыве, после лекции его о Петре I, я разговорился с Ключевским о Петре, которого я тогда намеревался изобразить в серии затяжных моих портретов великих русских людей. Имея в виду широкие массы народа, я хотел выпустить художественной литографией, в натуральную величину, портреты — каждого в отдельности — трех народных гениев: Петра I, Пушкина и Толстого.

Отлично помню, как Василий Осипович, с папиросой в руке, прищурив глаза, на минуту задумался. Со свойственной ему манерой (после некоторой паузы, как бы собрав мысли) поразить чем нибудь оригинальным или неожиданным, он вдруг, как всегда, несколько нараспив, медленно произнес: «И Ломоносова бы надо...»

Не знаю, существуют ли (надеюсь, что существуют!) граммофонные пластинки с его голосом? Я уже отметил особую, трудно передаваемую, его манеру говорить: певучесть голоса его с характерным каким-то гортанным предыханием, в особенности когда он читал старые тексты. Голос его звучал как-то скромно, застенчиво, и в то же время вкрадчиво. Ласковое выражение и едва заметная улыбка не покидали его лица. И в этот раз сказанное им было произнесено с обычной расстановкой и с особым ударением. Имя Ломоносова он произнес с просиявшим лицом и не без заслуженной гордости, — и замечание его сразу дало тон и окраску его отношению к Ломоносову и к крестьянскому народу, из которого оба вышли. Липкий раз оно подчеркнуло его горячую любовь к простому русскому народу.

Портретирование Ключевского было облегчено тем, что моя казенная квартира находилась в здании училища, и я мог свободно наблюдать его и в актовом зале, и у себя дома, где я его писал.

Во время сеансов В. О. много и интересно рассказывал, к сожалению, я не записал этого, откладывая со дня на день. Помню, как однажды с исторических фактов мы перешли на разговор о характерных чертах наших крестьян.

Говоря о том, какие бывали типы на царском престоле и рассказывая о Смутном времени и самозванцах, о Гришке Воре и т. д., В. О. заметил, что красной нитью в известном периоде нашей истории проходит воровство, «вороватость»: Гришка Вор, Шуйский Вор, Князь такой-то Вор и т. д. В народе, в крестьянстве, продолжал Ключевский, и теперь еще, повидимому, не заорно красть, и мужик не может, проходя мимо двора соседа, не вытащить из забора плохо сидящий гвоздь. Он, собственно, и не представляет себе воровство, как проступок, как нечто предосудительное, каким считается оно в других классах общества. Да он и у себя самого крадет (здесь я не хорошо понял, в чем дело, и не уяснил подробностей, так как слишком занят и увлечен был писанием портрета). Ключевский очень наглядно и с болью за мужика говорил об этом. И как всегда чувствовалась его неподдельная любовь к русскому народу. Сколько еще нового, интересного и поучительного рассказывал он мне! Как увлекательны были наши разговоры, но, увы, я не записывал тут же, после сеансов, между тем и рассказы и беседы постепенно забываются и остается лишь общее, смутное воспоминание о них. Это относится не только к В. О., но и к другим моим моделям, когда я так занят бывал работой, что не замечал и не запоминал их подчас чрезвычайно занимательных рассказов, и в памяти сохранился лишь общий смысл сказанного.

Заканчивая этот, посвященный памяти Ключевского, отрывок, думая о том времени в Москве, вижу перед собой *трёх гениальных*, оригинальнейших русских стариков: Толстого, Ключевского и Федорова. Как я счастлив, как благодарен судьбе, что мне привелось встретить их в жизни.

Л. Пастернак

ЧТО ПРИНЯТЬ, ЧТО ОТБРОСИТЬ . . .

Приближается знаменательная годовщина: пятидесятилетие Октября. С известными поправками и вкладывая иной смысл, можно даже согласиться со стереотипным советским утверждением об октябрьской революции: — «открывшей новую эру в истории человечества». Действительно, независимо от сущности этой эры, Октябрь и все, что от него прямо и косвенно исходило, был центральным явлением политической и социальной истории этого полстолетия. Ни к какому другому событию нельзя с большим основанием применить избитое определение «поворотный пункт истории».

Октябрь был и продолжает быть не только вехой, но и критерием. По Октябрю и по всему тому, что он породил, равнялись; к нему примыкали и от него отталкивались. Он редко вызывал безразличие у людей мыслящих и морально чутких. Октябрь по разному влиял на таких людей как Ромэн Роллан, Фейхтвангер, Сартр и супруги Вебб, с одной стороны, Андрэ Жид, Силоне, Мальро и Камю, с другой.

Будут еще долго спорить, что более определило ход истории и мысли людей последнего полувека: прямое действие коммунизма в странах, где он непосредственно «перекрывал» жизнь людей или то косвенное влияние, которое коммунизм оказал на страны, оставшиеся вне его действия. Что, в исторической перспективе, окажется более прочным и долговечным: радикальные изменения социально-политических и экономических структур и попытки создания «нового человека» в коммунистических странах или те глубокие изменения, которые произошли, под косвенным влиянием коммунизма, или в результате реакции на коммунизм в странах некоммунистических. Кто может, скажем, отрицать, что послевоенное эко-

номическое оздоровление (чудо) Запада, его эволюция в сторону социального прогресса, его военно-экономическое и политическое сближение, сравнительно безболезненная деколонизация мира (в прошлом события, казалось, немыслимые) не являются в подавляющей степени ответом на действия или угрозу коммунизма? Кто может отрицать или определить роль Октября в возникновении и усилении развития фашизма, нацизма и других «измов»? Другими словами, что окажется важнее: действие, «акция» коммунизма или реакция на коммунизм.

Акция Октября и реакция на Октябрь происходили не только в области материальной. Аналогичный процесс происходил и происходит и в области духовной. Не является ли лучшая современная литература и искусство или персоналистическая философия, в какой-то мере, ответом на механический рационализм диамата? Упоминая Силоне, но имея в виду всю талантливую плеяду писателей, порвавших с коммунизмом, Артур Кестлер в одном из своих «разговоров» писал: «наш крик был направлен против идеи по которой цель оправдывает средства... отбросив самоуверенный и упрощенный оптимизм и утилитарную этику XIX столетия... мы убедились в том, что механическая формула бессильна разрешить проблемы живых людей».

Подводить окончательные итоги историческому явлению, продолжающему оставаться, при всех его изменениях, динамическим и одним из решающих сил мира, разумеется, прежде временно. Но можно ли при приближении пятидесятилетия Октября применить к нему слова, сказанные в свое время мадам де Стель о французской революции: «Не все принять и не все отбросить»? Эти слова были сказаны во время реставрации, когда, спустя четверть века после ее начала, французская революция была уже закончена. Либералы того периода, Гизо, Тьер, Бенжамен Констан и сама мадам де Стель добивались завершения революции путем компромисса, который мог бы сохранить ее основные завоевания.

«Революция была закончена...» но этого нельзя сказать о революции октябрьской. Наоборот, в канун ее сорокасемилетней годовщины в России, на родине революции, революцию

фактически нельзя ни изучать, ни говорить о ней без ставших совершенно бессмысленными догматов и трафаретов. Только вне пределов коммунизма о революции много говорят и пишут, намечают возможные контуры ее развития. Это делается иностранцами и отчасти (все меньше) русской эмиграцией.

Французская революция оказывала большое влияние на русскую, особенно в первые годы и в двадцатых-тридцатых годах. Вожди русской революции, и Февраля и Октября, мыслили и говорили, обычно, в тех же исторических категориях. Многие из них, особенно из марксистского лагеря, полагали, что русской революции положено пройти те же этапы, что и французской. Они вообще полагали, что все крупные революции подвержены общим, «имманентным» законам. Такие исторические понятия как «термидор», « бонапартизм », «революция пожирает своих детей » — были ходячими в русской пореволюционной литературе. Ими особенно пользовались оппозиционные фракции и группы в борьбе со Сталиным. Последнего в разное (а иногда в то же самое) время называли «термидорианцем», « бонапартистом » и «пожирателем лучших сынов революции».

Пристрастие к образам и понятиям французской революции, наиболее изученной и наиболее близкой к революции русской, нетрудно понять. Чем больше русская революция «углублялась», тем больше выявлялось, что, несмотря на огромное различие стран, эпох и условий, в которых эти две революции происходили, у них действительно было много общего или «имманентного».

Поражало то, что и французская и русская революции, в основном, прошли через определенные сходные этапы. Взять, например, процесс революционной радикализации и руководства и следовавших за ним «авангарда» и «народных масс». Во Франции этот процесс радикализации выражался, при развитии и углублении революции, в смене менее революционных «ассамблей» более революционным Конвентом, в систематической смене менее революционных вождей (жирондистов, Дантона) более революционными, как Робеспьер и Сен Жюст, в уничтожении чрезмерно «леваких», анархических вождей и таких элементов, как «бешеные» или эбертисты.

В России тот же процесс радикализации выражался в изменении состава Советов, в замене меньшевистско-эсэровского «соглашательского» большинства, большинством «революционным», то есть большевистско-левоэсэровским. С развитием и углублением революции радикализировались, «левели» не только массовые организации (рабочие, крестьянские, солдатские, матросские советы, профсоюзы и пр.), но и сменявшиеся составы Временного правительства. Сначала «без Гучкова и Милюкова», потом без «министров капиталистов» вообще. В то время как во французской революции инициативным центром, очагом, откуда исходили все революционные начинания, был радикальный парижский муниципалитет и руководившая им группа революционных якобинцев и других клубов, в России аналогичную роль играло руководство Петроградского совета, за спиной которого в последние пред-октябрьские месяцы стояло руководство большевистской партии с присоединившимся к ним Троцким и его единомышленниками, левые эсэры и другие группы.

Как и во Франции, радикализация в России дошла до известного предела и потом приостановилась. Захватившие власть начали ликвидировать своих же «леваких» союзников и, разумеется, правых противников. В роли революционных якобинцев, уничтоживших лево-анархические элементы с одной стороны, и правых с другой, оказались большевики и их союзники. Их жертвами слева оказались анархисты, максималисты «всех мастей», за которыми пришла очередь левых эсэров, кронштадтцев, а потом «рабочих» оппозиционеров, «децистов», троцкистов и прочих «мелкобуржуазных» и «авантюрристических» элементов. Параллельно разгром шел и направо; помимо несоциалистов, его главными жертвами оказались меньшевики, эсэры, за ними — «буржуазные националисты», бухаринцы и др.

Статистических данных о жертвах террора Октября нет. Есть только отдельные данные о погибших известных большевиках, приблизительные данные о жертвах коллективизации или отдельные данные определенного города в определенный период, основанные, например, на случайно вывезенном на запад смоленском архиве НКВД.

Думается, однако, что если когда-нибудь объективное и

полное исследование о терроре появится (а оно может появиться только тогда, когда у исследователя будет возможность пользоваться архивами карательных учреждений), то его вывод о социальном положении жертв террора, будет соответствовать выводу, к которому пришли исследователи эпохи террора во Франции. Данные о жертвах террора во Франции, в основном, известны. Они интересны и показательны тем, что, в отличие от распространенного мнения, наиболее многочисленными жертвами террора оказались не аристократы, священнослужители или крупные буржуа, а, главным образом, крестьяне и рабочие.¹

Сходство обеих революций обнаруживается не только в их радикализации, в характере смены их руководства, в некоторых методах управления и в репрессивной политике. Заслуживает особого внимания и то, что революционная власть и во Франции и в России удержалась, главным образом, благодаря ее искусной политике в отношении крестьянства, то есть, подавляющей части населения и революционной Франции и революционной России.

Французское крестьянство поддерживало революцию, главным образом, из-за боязни реставрации и возвращения аристократов, которые могли бы потребовать назад купленные или захваченные крестьянами земли. Победа Ленина в гражданской войне объясняется, в основном, поддержкой, оказанной крестьянством большевикам, опять-таки из-за боязни реставрации. Правда, тут аналогия только временного порядка. В то время как французское крестьянство землю действительно получило в собственность, дары Ленина оказались призрачными. После гражданской войны российское крестьянство не только не удержало полученной земли, но впоследствии заплатило за свое временное пользование землей чудовищную цену.

¹ Американский историк Р. Р. Пальмер, исследовавший эпоху террора во Франции, приводит, например, такие цифры жертв террора за один год (конец лета 1793 — июнь 1794), год диктатуры Робеспьера и его «Комитета общественного спасения»: из 40 тысяч погибших только 8% были аристократы и 6% священнослужители; подавляющее большинство репрессированных — 70% — были крестьяне и рабочие.

III

Сходство русской и французской революций указанными примерами, разумеется, не исчерпывается. Для понимания сущности обеих революций важны не только их сходства, но и их различия. Последние даже важнее, ибо эти различия, повидимому, предопределили и их развитие. Действительно, если французская революция закончилась после двадцатипятилетнего бурного периода (включая пятнадцатилетний наполеоновский период), то по истечении сорока семи лет, конца русской революции еще не видно. Различий очень много, может быть больше чем сходных черт. Мы остановимся только на некоторых, самых очевидных и решающих.

Накануне революции Франция была в экономическом и интеллектуальном отношении самой богатой и передовой страной Европы. Цели, которые французская революция себе ставила — уничтожение последних остатков феодализма, ограничение власти церкви, политические и другие свободы, уравнение в правах третьего сословия — были сравнительно ограничены, «национальны» и осуществимы. Правда, в определенный период, когда Франция оказалась в войне с коалицией европейских стран, «национальная» французская революция пыталась «перерasti» (употребляя марксистско-ленинскую терминологию) в революцию «интернациональную». Опасаясь интервенции со стороны монархических держав, революционные вожди начали все чаще утверждать, что французская революция не будет в безопасности до тех пор, пока она не победит во всем мире. Призывая к «крестовому походу» за «всеобщую свободу», за «междunaродную революцию», к «уничтожению всех тиранов», они обещали военную и политическую помощь «всем народам, желающим обрести свободу». В оккупированных ими странах, французские революционные генералы 1792—1793 годов конфисковывали собственность у арестованных контр-революционеров и устраивали порядки, аналогичные тем, которые существовали во Франции.

Политика экспорта революции, как видим, была впервые применена не большевиками. Но в отличие от большевиков, «интернационалистский» уклон во Франции был кратковременным; наоборот, политика экспорта революции на родине Октября была и, в известной мере, продолжает быть одной из

ее основных целей и стимулов. Французская революция очень скоро «национализировалась». Революционные власти скоро убедились в том, что «народные массы» оккупированных стран относятся к пришлым революционным армиям как к оккупантам и мало склонны оказывать им добровольную поддержку. Нужно полагать, что некоторым советским маршалам и генералам тоже пришлось испытать эту «черную неблагодарность освобожденных ими народов...»

Во Франции интернационализм был только уклоном, в России он оказался одним из основных устоев победившей революции. «Авангард», «путеводная звезда», «искра», от которой должен загореться «мировой пожар», «крепость», «бастион» мировой революции, как бы страна Октября в разное время не называлась, и как бы она с годами не «национализировалась», она была и продолжает оставаться мечтой интернационалистским штампом.

В неменьшей, а может быть и в большей степени, чем интернационализм, ход русской революции был предопределен несовместимостью ее целей и возможностей. В то время как цели революционной Франции были ограниченные, отвечавшие нуждам страны, а потому и посильные, цели Октября были с самого начала непосильны, неосуществимы и утопичны. Как бы глубоки не были изменения, к которым стремилась революционная Франция, они все же не сломали основного. Французская революция (отдадим дань марксистско-ленинской интерпретации) была революцией «буржуазной» и политической. Октябрь, наоборот, будучи революцией «социалистической» и социальной, осуществил полное переустройство всего уклада жизни. Он стремился и, в известной степени, осуществил не только переустройство учреждений и социально-экономических отношений, но и самого человека. В этом смысле трудно не согласиться с историком, заявившим, что по сравнению с Октябрем французская революция представляется второстепенным провинциальным событием.

В русской революции было многое из того, что было и во французской революции. Но все это было не в тех дозах, а это, разумеется, меняло и качество. В России «закон», в разной мере свойственный и другим революциям, проявил себя иначе — тотальнее и абсолютнее.

Во французской революции многое шло самотеком. Революционная власть концентрировалась только на определенных важнейших участках. В России не должно было быть самотека, ибо власть осуществляла (независимо от возможностей) революционные цели систематически, totally, по плану, сверху. Руководители французской революции были, конечно, в разные периоды и в разной степени связаны общими интересами, идеями, взглядами на ход революции, дружбой и нередко ненавистью и страхом. Но они никогда в такой мере не были скованы ни ленинской целеустремленностью, ни большевистской дисциплиной, ни сталинской круговой порукой и террором.

IV

По сравнению с Октябрем, французская революция не была ни так продолжительна, ни так радикальна в своей целеустремленности и не так totalьна и абсолютна в осуществлении своих целей. Тем не менее, когда она закончилась, она стала, на протяжении целого века, главным источником споров, разногласий и борьбы. Революция не только господствовала над прошлым, но и в большой степени обуславливала настоящее и будущее. Отношение к революции, оценка ее главных этапов, мероприятий и идей, ее приятие или отталкивание от нее, стали критерием для политических и интеллектуальных кругов страны. Революция, по известному выражению, расколола страну на две Франции: одна — в разной степени и с разными оговорками — приняла революцию, чтила революционное прошлое, считая себя ее духовно-политической наследницей, другая — считала революцию «чужеродным телом» и страстно отталкивалась от нее.

Этот бесконечный спор (с большой буквы) был всеобъемлющим. Он уводил к самым корням не только социально-политического, но и морально-интеллектуального прошлого. Читатель, знакомый с различными интерпретациями русской революции, может убедиться в том, что не только сами революции и их отдельные фазы имели много общего, но и в том, что сходство это было и в восприятии, и в интерпретации современниками и историками этих двух революций.

Либеральные историки, как Тьер и Минье, пытавшиеся, как и мадам де Сталь, установить, что из революционного

наследства можно принять и что отбросить, проводили грань между первой, то есть умеренной и мирной фазой революции, и второй — экстремистской и террористической. С известными отклонениями эта грань была аналогична той, которую в русской революции проводили между Февралем и НЭПом с одной стороны, и Октябрем и сталинским периодом — с другой.

Признавая первую фазу, либеральные французские историки, однако, признавали и то, что террор был, ввиду внешней опасности, необходим, ибо в критический момент, когда существование Франции оказалось под угрозой, она была спасена энергией и террором якобинцев. Как тут не вспомнить знакомые нам теории по отношению к русской революции о «неизбежных» кровавых фазах, теории, пытающиеся доказать, что сталинская политика индустриализации, насилиственной коллективизации и чисток обеспечила победу России во второй мировой войне.

Показателен также параллелизм в интерпретации сложного вопроса о причинах возникновения двух революций. Либеральный аристократ Токвиль полагал, что в возникновении французской революции была, главным образом, виновата монархия, оказавшаяся неспособной ни к проведению нужных реформ, ни к приобщению выдающихся представителей третьего сословия к старому режиму. Революция, по его мнению, была не случайным событием, а как бы «закономерным» результатом ошибок прошлого. Токвиль также полагал (и эту мысль разделял и более подробно развил Ипполит Тэн в своем известном труде о «Происхождении современной Франции»), что помимо социально-экономических и политических причин, большую роль в возникновении революции сыграли идеи, схемы, системы Руссо, философов XVIII столетия и их «англомания», то есть пристрастие к английским конституционным и свободолюбивым идеям.

Действительно, страшная и такая современная мысль, по которой меньшинство «благонамеренных» (переводя на современный язык, идейных профессиональных революционеров) может и даже должно защищать интересы большинства, когда оно своих «истинных» интересов не понимает, другими словами, помимо воли большинства, — мысль, служившая оправданием диктатуры, принадлежала еще Руссо.

Историкам русской революции, находившим истоки большевизма и Октября не только в гегельянстве и марксизме, но и в народничестве, «ткачевщине», чернышевщине и в «особом состоянии умов» отчужденной и крамольной русской интеллигенции, аргументация Токвиля и Тэна не чужда. Они опять-таки, российскую монархию обвиняли в неспособности к реформам, и в неумении и нежелании приобщить «общественные круги» к режиму. Нельзя, однако, забывать (и тут сходство обрывается), что, в отличие от французской революции, непосредственной и главной причиной возникновения русской революции было не отсутствие реформ или неспособность правительства привлечь интеллигенцию и другие классы, а четырехлетняя изнурительная и неудачная война. Этот факт капитальный, отсутствовавший в революции французской.

У французских историков и идеологов порицание «философов» и «духа» уживалось с чувством взвинченной национальной гордости, с сознанием национального мессианства. «Когда идея должна воспламенить мир, она загорается в душе француза», — писал поэт и историк Ламартин. «Франция несет свет всему миру», — вторил ему историк Мишле. «Героизм французов изменил лик Европы, в то время как вы думали только о себе», — писал Тэн английскому историку Карлейлю. Как видим, мысль об «особой стати», об «особой исторической миссии», о «свете (на этот раз не с Востока) была известна давно.

V

Отмеченные выше сходства и различия во французской и русской революциях имеют, конечно, ограниченное значение. Пути обеих революций в некоторых отношениях сходились, в других — расходились. Недаром проведение аналогии между русской революцией и термидором или бонапартизмом в публицистике и в исторической литературе почти прекратилось во время и после войны. Западные историки и советоведы пришли к выводу, что, несмотря на все сходные черты с французской или другими революциями, после-октябрьская Россия в общем шла и продолжает идти собственным и необычным путем.

Каков же этот путь? Каким он был в прошлом, куда он ведет в будущем? Несчастье России в том, что она не может

эти вопросы обсуждать, подвергать критическому анализу, пытаться найти на них ответы. Сорок семь лет умственной скучости и муштры привели, повидимому, к тому, что в России почти исчез тип людей, ищущих и обладающих способностями к политическим и социологическим анализам без помощи диамата. В этом смысле показательно, что в то время как советское литературное «подполье» дало русской художественной литературе такие произведения, как «Доктор Живаго» и многое другое, политическое подполье (а оно, вероятно, тоже существует, хотя и в неорганизованном виде) не дало ни одного обобщающего анализа внутреннего положения в СССР, анализа, который хотя бы в отдаленной степени мог сравниться с «Новым классом» Джиласа.

Определение пути по-революционной России, задача, конечно, трудная; этот путь едва ли ведет неукоснительно в бесклассовое общество; он также не исчерпывается и теориями о победе и консолидации власти нового правящего класса. Путь этот гораздо более извилист, противоречив и трудно определим. Советским Союзом все еще правит группа людей, мыслящих схемой и идеологией. Как бы эта группа с годами не разлагалась, идеология и схема продолжают оставаться (разумеется, в рамках возможного) ее основной «рабочей гипотезой».

В Советском Союзе, без сомнения, создалась многочисленная материально-привилегированная бюрократия. Но Советская власть всё-же не является «исполнительным комитетом» этой бюрократии, чьи материальные привилегии, не надо забывать, остаются временными, дарованными, а потому шаткими и неустоявшимися. Все сравнения советской бюрократии с привилегированными классами традиционных буржуазных обществ, остаются искусственными и неверными, ибо в то время как аристократия или буржуазия располагала и располагает наряду с материальными привилегиями, личными, имущественными и политическими правами, советская бюрократия продолжает оставаться классом политически, лично и имущественно бесправным. Советская власть продолжает оставаться надклассовой, идеократической и целеустремленной властью. Не выражая интересов рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции, она также не является выразительницей чаяний

материально привилегированной бюрократии. В ее надклассности и идеократичности не только ее оригинальность, но и трудность ее социологической определимости.

VI

Социологическая сущность режима предопределяет, в большой степени, его политический выбор, «путь» или ориентацию. Это особенно верно по отношению к режиму коммунистическому, целеустремленному, который, по своей природе, будучи «двигателем истории», не может идти за ходом событий, а осужден на выбор и проявление политической и другой инициативы.

Действительно, сорок семь лет коммунистической диктатуры представляют собой беспрерывную цепь «выборов». Сам Октябрь был сознательным выбором Ленина и его соратников. Говорят, что Ленин любил повторять французское выражение: *On s'engage et puis on voit...* Октябрь — это был риск, желание попытать счастье, надежда, что он станет прологом европейской, а потом и мировой революции. Разочарованный в своих надеждах, объявив через несколько лет НЭП, Ленин опять сделал выбор, правда, на этот раз не добровольный, а вынужденный. НЭП был выбором временным, ибо, отвечая потребностям народа, он был бесперспективен для партии и для созданной новым режимом разнокалиберной бюрократии. Ведь продолжать и углублять НЭП значило примириться с постепенным отмиранием или окончанием диктатуры и революции. Для партии и бюрократии, чьи интересы уже переплетались, это значило пойти на самоустраниние.

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что в этих условиях руководство, то есть аппарат партии, сделало другой выбор, отвечающий одновременно заветам Октября и интересам правящих людей страны (так, по крайней мере, им казалось до ежовщины, жертвой которой они сами, в большой степени, стали). Россия была объявлена крепостью мирового пролетариата; она превратилась в лабораторию, где проводились опыты тоталитарного социализма. Нельзя, однако, упускать из виду (и это очень важно для дальнейшей аргументации), что выбор, связанный с именем Сталина — курс на индустриали-

зацию, коллективизацию, ежовщину, «культ личности» — был сделан в сравнительно благоприятной для этого выбора международной обстановке — в условиях экономического кризиса капитализма и нарастающего фашизма и нацизма. На этом фоне идея о построении социализма даже в одной стране казалась выходом и выбор этот вызвал немалый энтузиазм не только у советской молодежи, но и в международном коммунистическом движении.

Выбором была также и военная и послевоенная политика Сталина. Не желая быть втянутым в войну (во всяком случае не так рано), Stalin связывал с войной совсем другие планы, а именно, — остаться арбитром и потом ударить по истощенным войной двум империалистическим лагерям. Германо-советский пакт, развязавший войну и деморализовавший «антифашистский фронт», был поэтому выбором вовсе не «неизбежным».

Послевоенная обстановка, казалось, благоприятствовала тому, что впоследствии стали именовать мирным сосуществованием. Истошенная и разрушенная Россия нуждалась в мире и сотрудничестве с западными странами, а Америка и Великобритания такое сотрудничество предлагали. Но очень скоро выяснилось, что Stalin сделал другой выбор. Его целеустремленная диктатура начала осуществлять новый этап «перманентной» революции внутри и во вне. Напряженные отношения с Америкой, блокада Берлина, война в Корее, новый нажим на народ, который во время войны осмелел и воспрянул, погромная волна против «бездонных космополитов» и подготовление новой ежовщины.

Выбор был очень ограниченный в первые годы после смерти Сталина, во время «коллективного руководства». Некому было этот выбор сделать. Преобладающим фактором этих лет была борьба за власть между наследниками диктатора и авторитетная фигура, которая могла бы сделать этот выбор, отсутствовала. Для выбора нужно располагать большой властью, неоспоримым авторитетом, широкой возможностью маневрирования. При «коллективном руководстве», когда каждый хочет контролировать другого, когда одна группа ревностно следит за тем, чтобы власть другой группы не превысила бы их власти, — это, конечно, невозможно.

VII

Перспективы для большого, так сказать, исторического выбора явились с окончательной консолидацией власти Хрущева. По существу, характер выбора был, как это уже случалось и в прошлом, тот же: или курс на постепенное отмирание революции, на консолидацию того, что можно «принять», на синтез и компромисс, или курс на осуществление нового этапа перманентной революции сверху. Проще говоря, выбор был между спуском на тормозах к станции «конец революции» и продолжением пути к новой станции, конечная остановка которой называется «построение коммунизма».

О факторах, благоприятствующих курсу на отмирание революции, пишут за последнее время очень много. Эти факторы стали почти общим местом. При условии, если они не изменятся, таких динамических, «обновляющихся» факторов сейчас три. Первый вытекает из революционных изменений в военной технологии; второй и третий — результат непредвиденной эволюции и коммунистического и некоммунистического мира.

Революционные изменения в военной технологии, как известно, не только уменьшают вероятность возникновения большой атомной войны, но также преграждают распространение коммунизма военной силой, по крайней мере, в решающих промышленных странах Европы и Америки.² Не надо, однако, упускать из виду, что ослабление опасности большой войны благоприяствует не только Западу, но и Советскому Союзу. Атомное равновесие или равновесие страха, в большой степени, гарантирует существующее положение вещей и тем самым безопасность Советского Союза и его союзников в Европе.

Изменение в военной технологии, заставившее Хрущева объявить себя сторонником мирного сосуществования, дополняется непредвиденным послевоенным развитием решающих капиталистических стран. И этот фактор уже стал общим местом. В то время как в конце двадцатых и начале тридцатых годов, когда Сталин приступил к строительству социализма

² Для данной аргументации я оставляю в стороне вопрос об усилении коммунизма в отсталых странах юго-восточной Азии, усиление, инспирированное, главным образом, Китаем.

в одной стране, Европа и Америка тонули в глубочайшем экономическом кризисе, массовой безработице и нищете, — теперь, когда Хрущев приступил к полному построению коммунизма, Европа, США, Япония и многие другие страны находятся в стадии небывалого экономического расцвета и благосостояния. Если атомное равновесие препятствует распространение коммунизма военной силой, то послевоенное развитие Западной Европы и Америки не благоприятствует и распространению коммунизма мирным путем.

Надо полагать, что когда Хрущев говорит о мирном существовании, он учитывает и этот фактор. Правда, коммунистические экономисты и идеологи уверяют, что расцвет этот временный; однако им приходится привыкать к мысли, что Запад научился предупреждать экономические кризисы, что наряду с коммунистическим всеобъемлющим, и потому сугубо бюрократическим, планированием, существует целый ряд систем мало-заметного капиталистического планирования, роль которых оказывается чрезвычайно действенной. Экономический подъем, ослабление революционного пыла у пролетариата в странах с высоко-развитой промышленностью, постепенно превращают, благодаря передовой социальной политике и развитию технологии, самый пролетариат, и психологически и социологически, в «средний класс».

Третий фактор — эволюция во взаимных отношениях стран коммунистического мира — является фактором наиболее динамичным. Это изменения такого радикального порядка, что они, казалось, должны были содействовать изменению основных прогнозов и основного курса и внешней и внутренней политики советского руководства.

Тридцать лет тому назад, когда Россия была единственной страной строящегося социализма, и когда афро-азиатский мир еще «стонал под пятой империализма», коммунисты, повинуясь схеме и логике, смотрели на предстоящую деколонизацию и расширение коммунизма с большим упование. Ведь объявил же Ленин, что империализм — это «последняя стадия капитализма». Немного упрощая, это значило, что с уничтожением колониализма должен логически наступить конец или начало конца капитализма. Предполагалось также, что конфликты и «противоречия» являются уделом только ка-

питалистических стран, но что между социалистическими странами должна царствовать гармония.

В этой области Ленин оказался плохим пророком. Капитализм оказался живуч и без колониализма. Бывшая империалистическая Франция никогда не была так богата, как теперь, когда она освободилась от колоний. Далеки от банкротства также Англия, Бельгия и Голландия. Им вовсе не приходится завидовать последним «колониалистским мугиканам», Португалии и Испании. С другой стороны, сплошным вздором оказалась социалистическая гармония.

Угроза целостности СССР сейчас исходит не от Вашингтона или Бонна; она совершенно недвусмысленно исходит от Пекина, который поставив вопрос о «советском колониализме» в Азии и в Европе, предъявляет территориальные претензии Китая на Дальнем Востоке, в Приамурье и Туркестане. Но Пекин не довольствуется этими притязаниями; он поддерживает не только братскую Румынию в вопросе о возвращении ей Бессарабии, но даже и капиталистическую Японию в вопросе о Курильских островах. Может быть, недалек тот день, когда во имя принципа самоопределения народов Пекин будет поддерживать «реваншистов» из Бонна в их требовании объединения Германии и возвращении ей такого сомнительного русского града, как Кенигсберг, — Калининград.

Китайским «раскольникам» нельзя отказать в последовательности. Их ставка на некоторое расчленение (или уменьшение) Советского Союза и на раскол коммунистического движения, их успешная попытка не допустить Советский Союз к участию во второй Бандунгской конференции стран Азии и Африки, и тем самым представить СССР, как империалистическую державу, объясняется весьма вескими причинами. Согласно Пекину, Советский Союз скатывается к реставрации НЭПа и капитализма, к ревизионизму и к «организационному и моральному разложению пролетариата». Пекин уже считает себя, согласно «Известиям» от 4-го июля, страной «неприсоединившейся», то есть страной не принадлежащей к советскому блоку. Согласно той же авторитетной газете, министр иностранных дел КНР заявил, что «советские заявления о защите Китая в случае империалистической агрессии, не имеют цены», что, кстати, недавно в другой форме но в той же газете кос-

венно подтвердил и Зорин, заместитель советского министра иностранных дел.

При таком весьма невысоком мнении о Советском Союзе неудивительно, что правоверный Пекин призывает и население и коммунистов Советского Союза к свержению «хрущевской клики». Неудивительно также и то, что, согласно КНР, центр мирового коммунизма переместился из Москвы в Пекин. Отныне Китаю предопределено «играть ведущую роль в истории человечества» и задачей китайских коммунистов является обеспечение за Китаем положения «центра мирового развития» («Коммунист» № 7, 1964 год).

Все эти «благоприятные» факторы в своей совокупности бьют в одну и ту же цель. Невозможность атомной войны вынуждает и Запад и Советский Союз к мирному сосуществованию. Благосостояние Запада должно заставить коммунистов освободиться от беспомощной, а потому вредной иллюзии о распространении коммунизма мирным путем. Конфликт с Китаем должен заставить Москву заблаговременно принять меры против агрессивного и потенциально сильного врага. Ведь Россия, если хорошо вдуматься, уже окружена. Она не сможет успешно бороться на два фронта; поставленная, в недалеком будущем, перед выбором, она вынуждена будет в интересах страны и благоразумия избрать Запад. В отличие от Китая, США и Западная Европа не заинтересованы в расчленении России. Наоборот, Америка, и Европа заинтересованы в сохранении сильной России, ибо сильная а не расчлененная Россия может стать заслоном от общего врага — экспансионистского Китая.

Курс на запад означал бы, в большой степени, курс на отмирание революции. После почти полувековой политики несовместимости целей и возможностей, Россия, наконец, могла бы вести политику совместимости целей и возможностей. Выбор Запада означал бы, если не полное разоружение, как это демагогически предлагает Хрущев, то по крайней мере контроль и приостановку дальнейшей гонки вооружений. Россия могла бы сократить расходы не только на вооружение, но и многие миллиарды, затрачиваемые сейчас только по соображениям сохранения престижа и конкуренции с Америкой, как спутники и военная помощь афро-азиатским странам. Освободившись от

ненужного груза и несбыточных надежд, Россия, наконец, могла бы привести в порядок свой собственный дом, ибо курс на отмирание революции и на соглашение с Западом совместим с курсом доверия к собственному народу и его творческим силам.³

VIII

Благоприятные факторы для России, для страны могут оказаться неблагоприятными факторами для партийного руководства. Мы видели, что в прошлом, при выборе политического курса, интересы страны часто приносились в жертву схеме и идееологии. Каков же нынешний курс советского руководства? Направлен ли он на дальнейшее углубление или на постепенное отмирание революции? На этот вопрос трудно дать прямой ответ, ибо курс, связанный с именем Хрущева, противоречив, двойственен и трудно определим.

Вопреки уверениям Пекина, Хрущев не реставрирует капитализм и не вводит НЭП; с другой стороны, нельзя отрицать, что за последнее десятилетие в Советском Союзе были проведены некоторые — «нормализация», «рационализация», «либерализация». С одной стороны, Хрущев держит курс на переход к полному коммунизму, с другой — он ищет выхода в мирном сосуществовании с капиталистическим Западом. Правда, у Хрущева мирное сосуществование уживается с превращением Кубы в ракетную базу против Соединенных Штатов.

³ Выше, при изложении факторов, благоприятствующих курсу на отмирание революции, я сделал оговорку: «при условии, если они не изменятся». Политика наших дней весьма непостоянна. Трудность предвидения кроется в том, что многие причины этих изменений бывают часто характера психологического, интуитивного и иррационального, то есть слабо поддающиеся логическим объяснениям. В этом, кстати, секрет неудачи марксистских и прочих детерминистских прогнозов. Можно и должно поэтому допустить, что политическое положение может измениться и «благоприятные» факторы могут исчезнуть. Так, например, избрание на пост президента США Голдуотера может, по цепной реакции, привести к сплочению коммунизма, к усилению нейтраллистских настроений в Европе и Азии и поставить под угрозу экономические и другие достижения западного мира.

Курс Хрущева зигзагообразен и типичен для переходного периода. Он дает много обещаний, но, по существу, он не решил ни одной проблемы; ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве, ни во внешней политике. А ведь Россия, быстро меняющаяся, как и весь мир, нуждается в настоящих реформах, а не в полумерах, и, в первую очередь, в свободном обсуждении характера и направления этих перемен, в большом и откровенном разговоре на тему: «что принять и что отбросить?»

При отсутствии свободы в России может ли такой «большой разговор» вестись за ее пределами? Надо признать, что во многих, более точных областях, как экономика, материальные или человеческие ресурсы, география, определенные периоды истории и литературы, западные советоведы достигли больших результатов. Известно, что в некоторых случаях эти достижения даже удивили соответственных советских специалистов. Результаты, однако, оказываются более спорными, когда советоведы, даже очень компетентные, пытаются определить в этом быстро меняющемся мире эволюцию России и ее предполагаемое место в «концерте» мировых держав.

В этом смысле представляет интерес статья профессора Збигнева Бжезинского, появившаяся в апрельском выпуске авторитетного журнала «Форэн Афферс». Озаглавленная «Россия и Европа», эта статья подвергает обсуждению весь комплекс проблем, связанных с расколом в коммунизме, с одной стороны, и с возрождением Европы — с другой. В центре размышлений автора остается, однако, Россия.

Высказывая весьма правильную и бесспорную мысль, что в далеко-идущих интересах и Западной Европы и США — новое приобщение России к западной цивилизации и, подчеркивая, что такая интеграция сейчас облегчается советско-китайским конфликтом, автор, мне кажется, в дальнейшем ходе своих мыслей немного упрощает проблему, сводя ее к мало реальной перспективе интеграции Советского Союза в «Большую Европу», или «Европу до Урала».

«Сейчас, — пишет автор, — когда Россия, в результате индустриализации, преодолела свою отсталость и свой комплекс неполноценности, создаются предпосылки для Большой Европы... Если в конце сороковых годов, — подкрепляет свою мысль автор, — главной опасностью для Европы

представлялась советская агрессия, то преобладающим фактором начала шестидесятых годов является уверенность Европы в своих собственных силах...»

Острая и политически близкая к идеям генерала де Голля, эта концепция, мне кажется, по меньшей мере, двусмысленна. Почему «Россия и (только) Европа»; почему только «до Урала»? Россия не европейская, а евразийская страна и всякая попытка превратить ее только в придаток к «Большой Европе» (под водительством Франции или без оного), несерьезна. По военному и индустриальному могуществу (а это пока единственный критерий для определения силы страны) Советский Союз уступает только Соединенным Штатам. Европа, даже окрепшая и даже объединенная, совсем еще не «уверена в собственных силах». Ее безопасность пока поконится исключительно на американской атомной мощи, и нет никакого основания полагать, что это положение изменится в ближайшие годы.

Что значит «Европа до Урала»? Эта формула де Голля никогда не была уточнена. Указание ли это на то, что европейская цивилизация простирается только до Урала или это намек на то, что принадлежность «Зауралья» к России может, при некоторых условиях, быть поставлена под вопрос?.. Возможно, что де Голль в эту формулу вкладывает совсем другое содержание. Но несомненно одно, что употребление таких неясных формул, русский вопрос только усложняет.

Трудно не согласиться с тем, что в создавшейся миро-вой обстановке, когда Россия (в связи с ее конфликтом с Китаем, а также в связи с другими вышеупомянутыми фактами) находится на распутье, вопрос о ее эволюции и о ее международной роли становится кардинальным вопросом. Он важен не только для Запада, но и для России, где, возможно, ввиду создавшегося положения, эти большие, коренные вопросы ставят и обсуждают, если не публично, то в узком кругу. Россия должна знать на какое место, на какую роль она может рассчитывать в предполагаемой мировой перегруппировке. Но вопросы эти должны быть поставлены с учетом реального мирового соотношения сил. «Большая Европа», как держава, существует пока только в воображении генерала де Голля. Наборот, военная и промышленная мощь и Советского Союза

и США являются реальностями сегодняшнего дня. И путь нового приобщения России к западной цивилизации проходит поэтому, в первую очередь, через соглашение с Вашингтоном.

Д. Анин

ТРИ БИОГРАФИИ ЛЕНИНА

В Соединенных Штатах почти одновременно, летом этого года, вышли по-английски три большие биографии Ленина: проф. Стефана Поссони — «Ленин — революционер по принуждению»; Луи Фишера — «Жизнь Ленина» и Роберта Пейна — «Жизнь и смерть Ленина».*

У каждой из этих биографий есть свои достоинства, недостаток же у них — общий: много ошибок и неверных утверждений, говорящих о плохом знании авторами истории России и в особенности о чрезвычайно поверхностном знакомстве с историей русского революционного движения. В своих оценках Ленина как человека, политика и государственного деятеля авторы кое в чем расходятся, но отношение их к ленинскому «наследству» — к режиму, созданному Лениным, почти одинаково. Все трое в равной мере резко отрицательно относятся к ленинизму и к существующей в России диктатуре коммунистической партии. В каждой из этих биографий есть ценный материал о жизни и деятельности Ленина, которого нет в двух других. Поэтому надо говорить о каждой книге отдельно.

Начнем с книги Стефана Поссони. Поссони — бывший профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне; сейчас он директор политических исследований Хуверского института о войне, революции и мире, — в Станфорде, в Калифорнии. Профессор Поссони работал над своей биографией Ленина не один, а с целым штатом сотрудников. Поссони, австриец по происхождению. В России он никогда не был и рус-

*LENIN: THE COMPULSIVE REVOLUTIONARY, by Stefan Pussony, Henry Regnery Co. Chicago, THE LIFE OF LENIN, by Louis Fischer, Harper & Row, New York, THE LIFE AND DEATH OF LENIN, by Robert Payne, Simon and Schuster, New York.

ского языка не знает, но среди его ближайших сотрудников были люди, владевшие русским языком. Для своей книги он пользовался всеми материалами о Ленине, имеющимися на немецком языке; но многие документы и материалы были для него переведены с русских оригиналлов. Почему он назвал свою книгу «Ленин — революционер по принуждению» — мне не-понятно.

В предисловии Поссони указывает, что власть Ленина продолжалась с ноября 1917-го года до января 1924-го года. В течение этих 75-ти месяцев Ленин двадцать месяцев был частично парализован. Еще десять месяцев он тоже был не вполне работоспособен. Таким образом, абсолютная власть его продолжалась менее четырех лет. И вот за это очень короткое время Ленин успел повлиять на весь ход мировой истории гораздо глубже, чем кто-либо из глав государств двадца-

«Ленин, — пишет Поссони, — мечтал о новой жизни для всего человечества; так же, как Фридрих Ницше, он считал себя освободителем человечества. Ленин парил высоко, но, к несчастью в ложном направлении». Больше половины книги Поссони занимает описание жизни и деятельности Ленина до того, как он стал диктатором России. Поссони основательно изучил документы из тайного архива германского министерства иностранных дел об отношениях между кайзеровской Германией и большевистской партией в годы первой мировой войны. Этот германский архив, после крушения нацистского режима, попал в руки американского правительства и сейчас находится в Вашингтоне. Поссони также изучал тайные документы австро-венгерского министерства иностранных дел за тот же период. Последние несколько лет Поссони был занят изучением архива парижского отдела бывшей царской Охраны, переданного бывшим послом Временного правительства во Франции В. А. Маклаковым на хранение Хуверскому институту в Калифорнии. В этом архиве — масса документов о Ленине, о его интимной жизни и о его деятельности, а также о деятельности всех его соратников за годы до революции 1917-го года. Документы эти — по большей части донесения разных агентов-провокаторов, работавших в большевистской партии и в течение многих лет близко стоявших к Ленину.

Поссони, или его сотрудники, читали всё, что писали о

Ленине большевики и анти-большевики, все биографии Ленина на русском, немецком, английском и французском языках. Поссони везде указывает источник, из которого он взял тот или иной факт. Но, к сожалению, не все источники, из которых Поссони черпал свои сведения о России, о русском революционном и социалистическом движении и о Ленине — вполне надежны. Поэтому в его книге много грубых ошибок и неверных утверждений. Всё что Поссони рассказывает о детских годах Ленина, о его родителях, о его братьях и сестрах, а также о его юности и позднейшей связи его с революционным движением — верно. Поссони подробно описывает революционную деятельность Ленина в Петербурге, его арест, годы проведенные им в петербургской тюрьме, а потом в Сибири, его жизнь с Надеждой Крупской, их возвращение из Сибири и встречу и беседы его с Плехановым и Аксельродом; он описывает также основание Лениным вместе с Мартовым и Потресовым газеты «Искра», одним из главных редакторов которой с самого начала был Ленин. Хоть и очень кратко, но Поссони рассказывает о втором съезде РСДРП, состоявшемся в 1903-ем году в Брюсселе, а потом в Лондоне, где произошел раскол партии на большевиков и меньшевиков. Поссони говорит и о дальнейшей деятельности Ленина в качестве вождя с начала большевистской фракции РСДРП, а потом отдельной большевистской партии. Но тут кончается объективная история и дальше начинается путаница и неразбериха.

В книге Поссони нет ничего о либерально-демократическом движении в России в 1904-1905 гг., ни слова о Союзе Освобождения, к которому примыкали все либеральные деятели земств и городских самоуправлений и виднейшие умеренные социалисты, как и многие другие представители радикальной и либеральной интеллигенции. Эта организация со своим нелегальным журналом «Освобождение» и целым рядом легальных радикальных еженедельных газет сыграли гораздо большую роль в подготовке почвы для революции 1905-го года, чем большевики вместе с меньшевиками. В книге Поссони также нет ничего о деятельности партии социалистов-революционеров, которая в те годы тоже играла большую роль в революционном движении. Нет ничего в его книге и о Первой Государственной Думе, которая по своему составу была самым демократическим парламентом в мире. Нет ни слова о борьбе

между Плехановым и Лениным по вопросу о том, следует ли рабочим и социалистам активно поддержать требования Государственной Думы об ответственном министерстве (как это рекомендовал Плеханов), или же бороться против «конституционных иллюзий» и разоблачать «контр-революционность» либерального большинства Думы (как это делал Ленин). Из тех нескольких строк, которые Поссони посвятил Второй Государственной Думе читатель не может получить ни малейшего представления о том, что собой представляла Вторая Государственная Дума, где было более ста депутатов-социалистов. В книге Поссони также нет ничего о восстаниях в армии и во флоте в 1906-1907 гг. Единственное о чем Поссони рассказывает более или менее подробно — это о деятельности шпионов и агентов-provокаторов в большевистских организациях, о связи Ленина в 1904-1905 гг. с японскими агентами, о финансовой помощи и о помощи оружием, которые большевики якобы получали от японцев. Факт получения Лениным в 1904-1905 гг. финансовой поддержки от Японии в действительности никогда не был установлен. На странице 79 Поссони рассказывает, что с агентом Японии свела Ленина якобы Вера Засулич. Это, конечно, явная выдумка. В. И. Засулич, во-первых, никогда не имела никаких сношений с агентами иностранных держав, а во-вторых, Засулич со дня раскола в РСДРП в 1903 году навсегда порвала всякие личные отношения с Лениным и никогда больше с ним не встречалась. И, конечно, в 1905-ом году никак не могла посыпать к Ленину японского агента. Поссони везде видит только провокацию. Известное шествие петербургских рабочих к Зимнему Дворцу в январе 1905-го года с священником Гапоном во главе, закончившееся расстрелом рабочих, по Поссони, было тоже инспирировано и организовано Охранным отделением. Никому из русских историков, тщательно изучавших все документы о событиях 9-го (22-го) января и в голову не приходило утверждать нечто подобное. Читая Поссони, создается впечатление, что и московское восстание в декабре 1905-го года тоже было сознательно спровоцировано царской Охранкой, что, конечно, тоже явная нелепость. В русских революционных партиях, особенно в партии социалистов-революционеров и в большевистской партии действительно было много провокаторов, платных агентов Охранного отделения, но массовые забастовки,

происходившие тогда в крупных городах России, Польши и Литвы, как и массовые демонстрации и бунты в армии и во флоте в 1905-1907 гг. не были, конечно, организованы Охранкой.

В своей книге Поссони уделяет много места связям большевиков с правительством Вильгельма II-го во время первой мировой войны. Что Ленин в годы войны, еще до революции 17-го года, получал финансовую поддержку сначала от австро-венгерского правительства, а потом от германского правительства для ведения и распространения своей пораженческой пропаганды — несомненный факт, как несомненный факт и то, что большевистская партия после революции получила от Германии через разные каналы десятки миллионов марок для разложения русской армии, свержения Временного правительства и заключения сепаратного мира между Россией и Германией. Германия имела в России много и других тайных агентов, помимо большевиков. Но утверждение Поссони, что февральская революция была результатом провокации Охранного отделения и что «немецкие деньги» при этом играли большую роль — явная чепуха. Февральская революция 17-го года была всенародной революцией в полном смысле этого слова. В ней приняли участие все слои русского народа. Даже некоторые члены династии Романовых приветствовали февральский переворот.

В книге Поссони много интересных подробностей о большевистском октябрьском перевороте, и о жизни Ленина и его политике в те годы, когда он был фактическим диктатором России. Интересна также глава о романе Ленина с Инессой Арманд. Не менее интересно подробное описание болезни и смерти Ленина. Но в этой книге, как я уже сказал, много грубых ошибок и ложных истолкований. Хуже всего, что автор сплошь и рядом говорит о людях и событиях русского революционного движения тоном супер-эксперта по истории русского революционного движения, но из книги его ясно видно, что знакомство его с историей российского освободительного движения, мягко выражаясь, довольно поверхностное.

Вот несколько примеров: на стр. 53 Поссони пишет, что название «Искра» для революционной газеты, которую Ленин, Потресов и Мартов в 1899-ом году решили издавать заграницей, предложил Потресов. «Я же, — пишет Поссони, — скло-

нен думать, что это было предложено Лениным. Он перенял это название от старой газеты Чернышевского». Но Чернышевский никогда не издавал такой газеты. Издателями и редакторами знаменитой сатирической «Искры» 60-х годов были братья Курочкины. На стр. 143 Поссони пишет, что в 1879-ом году революционная организация «Земля и Воля» устроила члена своего Соломона Рысса (Медведя) в качестве служащего в Третьем отделении и он потом своевременно сообщал о готовящихся арестах террористов «Народной Воли», подготавливших убийство Александра II. Но имя того революционера было не Рысс, а Клеточников. Соломон Рысс — это бывший эсер-максималист, связанный с Охранкой в 1906-ом году. На стр. 181 Поссони пишет, что одним из сотрудников Парвуса в Институте в Копенгагене в годы мировой войны, существовавшего на деньги германского правительства, был известный марксистский экономист и статистик В. Г. Громуан. Это — не правда. Громуан в годы войны жил в России и был **оборонцем**. В институте Парвуса работала одно время бывшая жена Громуана — Екатерина, с которой Громуан развелся задолго до войны. На стр. 189 Поссони пишет, что писатель Николай Рубакин был братом швейцарского профессора Юлиана Рейхесберга. В действительности же Рубакин был — великоросс, а Рейхесберг — еврей. На стр. 211 автор пишет, что большевик Георгий Сафаров был братом Зиновьева. Тут та же путаница. На стр. 235 Поссони пишет, что после июльского восстания большевиков, Керенский сместил с поста министра юстиции Переверзева за то, что он преждевременно опубликовал документы, изобличавшие Ленина и некоторых других видных большевиков в получении немецких денег. Назначил же Керенский министром юстиции адвоката Зарудного, который в 1906-ом году был защитником Троцкого на процессе по делу Петербургского Совета Рабочих Депутатов. На самом деле защитником Троцкого в 1906-ом году был не Зарудный, а Груzenберг. На стр. 254 автор пишет, что Ленин после большевистского переворота «украл» аграрную программу у левых эсеров. На самом же деле Ленин украл аграрную программу у партии социалистов-революционеров. Это признал позже и сам Ленин. В другом месте Поссони пишет, что идею об организации в Петрограде Совета Рабочих Депутатов в первые дни февральской революции подал Череванин-Липкин — «ставлен-

ник Парвуса». Это явный намек на то, что образование Совета Рабочих и Солдатских Депутатов было, якобы, делом рук германских агентов. Что Череванин первый заговорил о необходимости организации Совета Рабочих Депутатов вполне возможно, но ставленником Парвуса он никогда не был. Череванин был сотрудником легальных толстых русских марксистских журналов (он писал там под псевдонимом П. Нежданов) еще тогда, когда в России о самом существовании Парвуса мало кто знал. Кроме того Череванин во время войны был оборонцем. Таких голословных обвинений разных лиц в сотрудничестве их с Германией в книге Поссони много. Когда у автора нет возможности подкрепить какое-нибудь свое утверждение каким-либо документом, он обычно употребляет слова «по всей вероятности» или «весельма возможно», что упоминаемое лицо — был агентом Германии или Австро-Венгрии. Эта крайняя неразборчивость и безответственность подрывает доверие осведомленного читателя и ко многим важным и вполне достоверным сведениям, сообщаемым автором о жизни и деятельности Ленина. Об этом приходится только пожалеть.

Биограф Ленина не должен, конечно, обязательно быть и знатоком русской литературы, но всё же писать в книге о Ленине, что «Дым» Тургенева — это драма — непростительно.

В книге Поссони много интересных фактов о деятельности Ленина, но это ни в коем случае не история русской революции и не объективная биография Ленина.

2

Луи Фишер — автор книги «Жизнь Ленина» провел целых десять лет в России. Он приехал в Москву еще в 1922-ом году. Однажды он даже видел и слышал Ленина, но по его собственному признанию, ни одного слова из его речи не понял. Потом Фишер научился русскому языку, был московским корреспондентом американских газет и еженедельного нью-йоркского журнала «Нэйшон». В течение всех десяти лет, проведенных им в СССР, Фишер был ярым большевизаном. Он знал всех тогдашних лидеров Советской России и с некоторыми из них был в тесной дружбе. В 1930 году Фишер опубликовал в Соединенных Штатах двухтомную историю внешней политики СССР за двенадцать лет — с 1917-го и до 1929-го года. В предисловии к ней он писал, что в составлении этой истории ему много помогли большевистские комиссары Чичерин, Лит-

винов, Каракан и Раковский, и что комиссар иностранных дел Чicherин фактически редактировал его книгу. Через два-три года после выхода книги Фишер уехал из России и его пребольшевистские иллюзии постепенно рассеялись.

После своего возвращения в Соединенные Штаты Фишер имел возможность ознакомиться более основательно с теорией и тактикой большевизма. В последние три года своего пребывания в Принстонском университете он прочитал всё, что Ленин говорил и писал в годы революции (1917-1923). Он также прочел и «Воспоминания о Ленине», опубликованные в России в сталинскую эпоху и после смерти Сталина, а также все номера «Ленинских сборников», которые содержат много писем, телеграмм и записок Ленина к разным лицам. Фишер читал и воспоминания Троцкого и Крупской о Ленине и некоторые произведения антибольшевистских авторов, которые были опубликованы в Соединенных Штатах. Без преувеличения можно сказать, что ни одна книга о Ленине не содержит такой обильный материал о жизни и деятельности Ленина в те годы, когда он был диктатором России, как книга Фишера. Но весь этот материал им плохо организован и распределен. Есть много повторений и не ясно для кого собственно автор предназначал свою книгу: для среднего более или менее интеллигентного читателя или же только для профессоров политических наук.

Фишер посвятил не больше одной четверти своей книги описанию жизни и деятельности Ленина до того, как он стал диктатором России. Конечно, если бы Ленин в 17-ом году не захватил власть в России, внешний мир о нем ничего бы и не знал. Но большевизм был создан Лениным задолго до революции и всё что Ленин позже, во время революции, делал, будучи диктатором, он проповедовал еще за десять-пятнадцать лет до нее. Поэтому нельзя по-настоящему понять ленинскую политику и тактику в годы 1917-1923, не зная всей истории большевизма и не только большевизма, но и истории России и всего революционного, социалистического и либерального движений в России.

В своей книге Фишер рассказывает о бунтах Стеньки Разина и Пугачева, что, конечно, к Ленину вряд ли имеет какое-нибудь отношение. Но ни единственным словом Фишер не упоминает о декабристах, о восстании 1825-го года, что всеми исто-

риками рассматривается как начало революционного движения в России. В книге Фишера нет также ничего о «Колоколе» Герцена и Огарева, о «Современнике» Чернышевского, которые имели огромное влияние на русскую интеллигенцию. Нет в его книге ни слова о знаменитом «хождении в народ» в 70-х годах, о деятельности партий «Земля и Воля» и «Народная Воля». Даже о социал-демократическом движении, в котором Ленин принял деятельное участие, Фишер рассказывает очень мало. Второй съезд РСДРП 1903-го года, где произошел раскол партии на большевиков и меньшевиков, занимает в книге Фишера всего две страницы, а третий съезд 1905-го года, на котором фактически была создана большевистская партия и впервые формулированы политика и тактика партии, занимает в книге Фишера тоже не более двух страниц. Всеобщей Всероссийской забастовке в октябре 1905-го года, принудившей царя дать конституцию, Фишер посвящает равно пять строк! Стокгольмского Объединительного Съезда РСДРП 1906-го года, на котором Ленин играл большую роль, Фишер вовсе не упоминает, как не упоминает и о Первой Государственной Думе и о той роли, какую Ленин тогда играл. О Лондонском съезде РСДРП 1907-го года, на котором были представлены все социал-демократические партии и фракции и где Ленин играл еще большую роль, Фишер говорит только то, что писал Горький об этом съезде через двадцать пять лет, при Сталине. И в этой части книги есть много грубых ошибок и голословных утверждений, являющихся большей частью результатом того, что Фишер слишком полагается на советских «историков» и мемуаристов сталинской и послесталинской эпохи.

На стр. 11, например, он пишет, что старший брат Ленина Александр был казнен 8-го мая 1887-го года, и что «мать провожала его на виселицу и говорила: 'Мужайся, мужайся!'. Это — явная небылица. Старшая сестра Ленина Анна Елизарова-Ульянова в статье в сборнике «Александр Ильич Ульянов», вышедшем в Москве в 1927-ом году писала: — «После суда, убитая горем мать долго убеждала и просила Александра попросить прошение (царю) о помиловании...» (стр. 123) и далее: «Она (мать) была окрылена надеждой, что его помилуют. Распространились слухи, что казни не будет и материнское сердце, конечно, легко поверило им. Передать ему об этом при суровых условиях свидания (в Петропавловской крепости) она не

могла, но желая перелить в брата часть своей надежды и бодрости, она раза два повторила ему на прощанье: «Мужайся» (стр. 125). Вот что было в действительности.

Если бы Фишер потрудился прочесть хотя бы одну историю русского революционного и социалистического движения, изданную до большевистского переворота, он, конечно, не писал бы таким уверенным тоном (на стр. 45), что Нечаев и Ткачев не имели никакого влияния на Ленина. Ведь не только такие авторитетные анти-большевики, как Плеханов, Лев Дейч, Николай Жордания, Николай Бердяев и проф. М. Карпович, но и авторитетные историки-большевики — М. Покровский, Вл. Бонч-Бруевич, С. Мицкевич, Юрий Гамбаров и др. утверждают, что Ленин в своей тактике был под большим влиянием Ткачева и Нечаева. Фишер также не писал бы, что Плеханов «начал свою революционную карьеру как народник, а потом вступил в марксистскую социал-демократическую рабочую партию, чтобы стать ее учителем». Плеханов действительно начал с народничества, но между его народничеством и основанием РСДРП прошло много лет. Как известно, он был главным теоретиком марксизма еще в 1883-1884 гг. после опубликования им своих книг «Социализм и Политическая борьба» и «Наши разногласия», а РСДРП была основана лишь в 1898-ом году. Если бы Фишер прочитал хотя бы одну серьезную историю русского социализма, он, конечно, не мог бы писать, что наиболее выдающимися представителями русского народничества были Лев Толстой, Бакунин и Кропоткин, в то время, как духовными отцами народничества были Герцен, Чернышевский, Лавров и Михайловский. Последних двух Фишер даже и не упоминает, а о Герцене и Чернышевском он на двух страницах приводит только то, что Ленин о них говорил, но о том, что они действительно проповедовали — ни слова.

Герцен на старости лет не стал сторонником учения Бакунина, как пишет Фишер, а наоборот, именно на старости-то лет — за год до своей смерти — он написал свои знаменитые «Письма к старому товарищу», в которых самым резким образом отмежевался от бакунизма.

О партии социал-революционеров Фишер пишет, что «социалисты-революционеры считали себя социалистами, утопическими социалистами, которые надеялись, что Россия может сразу перескочить из неразвитого капитализма прямо в рай

деревенских коммун». Такие социалисты были в России, но только за 30-40 лет до образования партии социалистов-революционеров.

Я мог бы указать и на другие грубые ошибки в первой части книги Фишера, но перейду ко второй части, их там тоже немало. Как велико у Фишера незнание истории добольшевистской России можно судить хотя бы по тому, что он бывшего главнокомандующего русскими армиями в первые годы первой мировой войны великого князя Николая Николаевича называет «братьем царя». Очень плохо, что эта часть книги чрезвычайно растянута, в ней слишком много деревьев, из-за которых часто не видно леса. Фишер посвятил целых 60-70 страниц описанию мирной конференции, состоявшейся в первые месяцы после большевистского переворота в Брест-Литовске, в то время как Ленин на этой конференции ни разу не присутствовал, а о деятельности Коммунистического Интернационала, основанного Лениным, во главе которого он до своей смерти стоял и руководил им, Фишер пишет очень мало. Он уделил много места переговорам американского представителя Красного Креста в Москве Реймонда Робинса и некоторых неофициальных и полуофициальных представителей Англии и Франции с Лениным и Троцким до подписания большевиками Брест-Литовского мирного договора, хотя эти переговоры фактически не имели никакого влияния на Ленина и на его внутреннюю и внешнюю политику (об этом как и о Брест-Литовской конференции Фишер уже подробно писал в своей вышеупомянутой истории внешней политики советского правительства). Но о большевистском массовом терроре и роли Ленина в нем, Фишер пишет очень мало. Если в книге Поссони описание связей Ленина с Германией Вильгельма 2-го в 1914-1918 гг. занимает слишком много места, то в книге Фишера, наоборот, нет даже и намека на то, что без огромной финансовой поддержки и всякой другой помощи, которую Ленин и его партия получили в 1917-ом году от германского правительства, большевики не могли бы захватить власть. А без десятков миллионов марок, которые советское правительство получило от германского правительства в первые восемь месяцев 1918-го года, большевики не были бы в состоянии власть удержать. (Официальные документы об этом были опубликованы в Соединенных Штатах, в Англии и в Западной Германии еще три года тому назад).

Фишер все еще отчасти идеализирует Ленина. Он прочитал книгу Троцкого о Ленине, воспоминания Крупской и сборники «Воспоминания о Ленине», вышедшие после смерти Сталина. Но туда не вошли воспоминания старых ближайших соратников Ленина, расстрелянных Сталиным и до сих пор не реабилитированных. Большинство авторов недавно вышедших воспоминаний никогда не были близки с Лениным, и рассказы их сильно ретушированы и мало интересны. Воспоминаний же людей, близко знавших Ленина в разное время и друживших с ним в течение многих лет, таких, как, например, В. Водовозов, К. Тахтарев, А. Потресов, Ю. Мартов, П. Струве, М. Туган-Барановский, В. Войтинский, Г. Соломон, — их воспоминаний Фишер, повидимому, не читал, ибо на них нет никаких ссылок. Чрезвычайно странно, что в одном месте Фишер пишет, что «величайшими сынами России 19-го века были Толстой и Ленин».

Всё же, несмотря на ошибки и все указанные недостатки, книга Фишера наиболее подробная биография Ленина. Оценка Фишером Ленина как теоретика и политического вождя убедительна. Его критический анализ последних двух теоретических книг Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» и «Государство и революция» — интересен и его окончательный приговор ленинизму и коммунистическому режиму тоже правильный и вполне справедливый. Фишер показывает, как Ленин в последние годы своей жизни часто себе противоречил и менял свои мнения. То он был весьма оптимистичен, то чрезвычайно пессимистичен.

«Ленин, — говорит Фишер, — видел мир через искривленные русские очки. Его желание было отцом его ошибок. Русский опыт породил его ошибочные пророчества. До 1917-го года Ленин рассматривал большевистскую партию как организацию профессиональных революционеров. Большевистская революция превратила большевистскую партию в орден воинствующих монахов».

«Ленина, — говорит Фишер, — многие любили, но сам он никого, кроме членов своей семьи и молодой Инессы Арманд, никогда не любил. Его единственным настоящим другом, вероятно, был меньшевик Мартов, до того, как они разошлись. Только с Мартовым и Инесской Арманд он в течение всей своей жизни был на ‘ты’. Ленин был диктатором, хоть и не таким дикта-

тором, каким стал впоследствии Сталин. Ленин тоже применял максимум насилия и проявлял минимум жалости к своим политическим врагам, к тем, кто критиковал монополию коммунистической партии и ее декреты».

«Сама биография Ленина, — пишет Фишер, — свидетельствует о том, что царизм обращался с своими врагами гораздо гуманнее, чем большевизм. Что в России была свобода и не было культуры показали восемь месяцев существования Временного Правительства, когда сам Ленин писал, что ‘Россия теперь самая свободная страна в мире’. Аргумент Ленина, что география России определила ее историю отчасти верен и отчасти неверен. География не имеет решающего значения, без помощи людей. Люди обладают некоторой свободой воли. Какой-нибудь Рыков или Каменев вместо Ленина, могли бы образовать работоспособную коалицию с меньшевиками и социалистами-революционерами в 1917-ом году и этим ограничили бы размах гражданской войны и террора».

3

Из трех биографий Ленина книга Роберта Пейна «Жизнь и смерть Ленина» написана лучше всего. Пейн довольно известный писатель. Он автор многих книг. Рецензент одной его книги писал, что он чуть ли не каждые полгода выпускает новую книгу и сам не помнит сколько книг он уже написал. Большинство книг Пейна не на русские темы. Особого интереса к Ленину у Пейна видимо, нет. Он может так же писать о Марлен Дитрих, об Альберте Швейцере, как и о Ленине. За последние несколько лет Пейн написал биографию Достоевского и книгу под названием «Террористы», в которой главное место занимает Сергей Нечаев. Стефан Поссони и Луи Фишер несколько лет работали над своими биографиями Ленина, и это оказалось недостаточно. Роберт Пейн вряд ли даже потрудился прочитать сочинения Ленина. Его знакомство с историей России и русского революционного движения тоже довольно поверхностное; он, конечно, прочитал все имеющиеся биографии Ленина на русском и английском языках, а также значительную часть воспоминаний о Ленине.

Но Пейн талантливый писатель и прекрасный рассказчик. И если бы он подольше поработал над своей книгой, тщательно изучил бы все материалы о Ленине, он действительно мог бы написать классическую биографию Ленина. К сожалению он

этого не сделал. И поэтому некоторые главы его книги хорошо документированы и блестяще написаны; а другие гораздо слабее и не убедительны. Но со страниц книги Пейна Ленин чаще видится живым, чем у Поссони и даже Фишера. Это объясняется только тем, что Пейн лучше понимает людей. Его оценка Ленина как человека, как политического вождя и диктатора более реалистическая, хотя он не во всем прав. Пейн, например, приписывает многие черты ленинской политической философии тому, что Ленин был «немецкого и чувашского» происхождения. «Ленин, — пишет Пейн, — не имел в себе ни одной капли русской крови. Его мать была немка, а отец происходил из чувашского племени». Это неверно. Дед Ленина по матери Александр Бланк не был «немец или швед», как утверждает Пейн. Он был одесский крещеный еврей, фельдшер, после крещения поступивший в университет и окончивший медицинский факультет. Потом в течение ряда лет был полицейским врачом в Петербурге и дослужился до чина статского советника. У отца Ленина, Ильи Ульянова, по всей вероятности, могла быть и чувашская кровь, но он родился в русской семье и был воспитан как русский.

Пейн пытается объяснить политическую философию Ленина тем, что он был учеником Нечаева. Поэтому первые страницы грядущий своей книги Пейн посвящает биографии Нечаева, при чем, кстати сказать, всё берет из своей же собственной книги «Террористы». Ленин несомненно был большим почитателем Нечаева и в борьбе с своими противниками, как и в борьбе за власть действительно пользовался нечаевскими методами. Но Ленин не был учеником Нечаева, а был **вторым Нечаевым**. Отцами ленинского большевизма были Петр Зайчневский, Петр Ткачев, Михаил Бакунин, Огюст Бланки и молодой Карл Маркс. На это — уже лет пятьдесят тому назад указывал Плеханов и некоторые другие русские социалисты.

Пейн подробно описывает всю жизнь Ленина, начиная с детства и до смерти, но он почти ничего не рассказывает о той социально-политической действительности, в которой Ленин играл такую большую роль. Только о Всероссийском Учредительном Собрании Пейн пишет более подробно, чем Поссони и Фишер, но тут, к сожалению, он смешал партию социалистов-революционеров с партией левых «эс-эров», которая накануне октябряского переворота откололась от большой ПСР и до лета 1918-го года тесно сотрудничала с большевиками. Пейн пишет,

что «левые социалисты-революционеры» имели большинство в Учредительном Собрании, тогда как большинство в Учредительном Собрании было у ПСР, лидерами которой были Виктор Чернов, Николай Авксентьев, Абрам Гоц и др. «Левые эс-эры», как известно, в Учредительном Собрании имели всего несколько десятков депутатов. Пейн, между прочим, утверждает, что германского посла в Москве Мирбаха в июле 1918-го года убили не «левые-эс-эры», а агенты большевистской Чека и сделали они это по распоряжению самого Ленина, ибо к тому времени Мирбах, живя в Москве, близко увидел большевизм и в своих донесениях в Берлин рекомендовал правительству прекратить поддержку большевиков и помочь русским анти-большевикам свергнуть большевистское правительство. Большевики об этом узнали. И Ленин решил устранить Мирбаха, взвалив вину за его убийство на «левых эс-эров». Это давало ему предлог и для расстрела некоторых видных «левых эс-эров», что окончательно ликвидировало их партию.

«У Ленина, — пишет Пейн, — было много грехов, но самым большим грехом его было презрение к людям. Маркс относился с презрением только к крестьянству. Он писал об ‘идиотизме деревенской жизни’. Ленин же пошел дальше Маркса: он презирал все классы общества, за исключением пролетариата, которого он в сущности не знал. Он окружил себя интеллигентами, которых он так же презирал, как и крестьянство, потому что среди них не было ни одного, интеллектуально ему равного. Зиновьев, Каменев, Радек, Бухарин и другие были только его тенями... И коммунизм Ленина стал таким деспотизмом, который превзошел все деспотизмы, существовавшие до него».

Пейн приводит цитату из знаменитой брошюры Карла Маркса «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта»!

«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не произвольно, не при обстоятельствах, выбранных ими, а при обстоятельствах, непосредственно данных и унаследованных. Традиции мертвых поколений тяготеют как кошмар над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, чтобы переделывать себя и окружающее и создавать нечто небывалое, — как раз в такие эпохи революционных кризисов они трусливо вызывают себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в освященном древностью наряде на заимствованном языке разыгрывать новый акт на всемирно-исторической сцене».

И к этому Пейн прибавляет: — «Так именно, и случилось с Лениным, который не понимал, что он вызывает себе на помощь духов прошлого, когда проводил свои широкие планы о реорганизации всех сторон жизни в России».

Ленин мог писать: «Поджигайте Европу» и не думайте об этом. Он мог приказывать расстреливать тысячи и тысячи людей и смерть их ничуть его не трогала, ибо для него это была только статистика, люди, которые мешают воплощению его теорий. Массовые убийства в подвалах Чека его не интересовали. Он захватил русскую революцию, потом ее предал и в тот момент сделал неминуемым приход Сталина. Беззаконие коммунистического режима создал сам Ленин. Обыкновенная человеческая мораль для Ленина никогда не существовала. Он с самого начала постоянно пользовался словами «искоренить», «безжалостным образом», как будто это были слова в какой-то игре. Каждый приказ его становился законом и всякий, кто был против его приказа, тем самым ставил себя «вне закона» и лишался всех прав, даже права свободно дышать. Государство, созданное Лениным, оказалось гораздо более несправедливым и несравненно более деспотичным, чем то государство, которое он разрушил».

«Мы всё разрушим и на развалинах построим наш новый храм» — говорил Ленин. Он действительно разрушил всё, что он только мог разрушить и построил новый храм, который был старым — только с новым фасадом. В нашу эпоху такие храмы являются анахронизмом. Диктатура, какая бы она ни была, всегда — оскорбление человеческого достоинства. Коммунистическая деспотия будет иметь тот же конец, какой имели все прежние деспотии.

В книге Пейна, к сожалению, есть не меньше грубых ошибок, чем в книге Фишера. На некоторые из них я уже указал. Укажу на некоторые другие и на ложные толкования автора. Об известном лидере меньшевиков Ю. Мартове он пишет, что он до своего ареста был одним из выдающихся членов «Бунда». На самом деле Мартов членом «Бунда» не был, он уехал из Вильно за несколько лет до основания «Бунда». В числе делегатов первого учредительного съезда РСДРП, состоявшегося в 1898-ом году в Минске, Пейн называет Петра Струве. Хотя Струве тогда еще и был социал-демократом, но на съезде не был. Только после съезда, по просьбе избранного на съезде

Ц.К., Струве написал в Петербурге первый «Манифест» партии. На стр. 130 Пейн пишет, что один из делегатов первого съезда партии Эйдельман позже, в годы 1919-1920 был главой Чека в Киеве. Это ошибка. Борис Эйдельман, хотя в годы 1919-1920 и вступил в коммунистическую партию, но к Чека не имел никакого отношения. На стр. 147 Пейн пишет, что жена Ленина Надежда Крупская, по приезде из России в Мюнхен, где тогда находилась редакция «Искры» и «Зари», была назначена Лениным «председателем редакционной коллегии «Искры». Это, конечно, неверно. Крупская была назначена секретарем редакции «Искры».

Пейн пишет, что после второго съезда РСДРП, на котором произошел раскол партии на меньшевиков и большевиков, Ленин решил устраниТЬ из редакции «Искры» Мартова, Веру Засулич и Потресова и в дальнейшем редактором «Искры» должны были быть Плеханов, Аксельрод и Ленин. На самом деле Ленин устраниЛ из редакции «Искры» Аксельрода, Засулич и Потресова и редакторами должны были быть: Плеханов, Мартов и Ленин. Но Мартов отказался войти в такую редакцию и кончилось это тем, что Ленин вынужден был выйти из редакции и Плеханов призвал в редакцию всех прежних редакторов, кроме Ленина.

На стр. 217 Пейн пишет, что Горький впервые познакомилсЯ с Лениным на Лондонском съезде РСДРП в 1907-ом году. В действительности Горький познакомился с Лениным еще в ноябре 1905-го года, когда оба работали в первой легальной большевистской газете «Новая жизнь», основанной в Петербурге второй женой Горького М. Ф. Андреевой. На стр. 220 Пейн пишет, что «Владимир Бонч-Бруевич в 1906 году получил в Америке большую сумму денег для большевистской партии». Бонч-Бруевич в Америке никогда не был. Значительную сумму денег для большевистской партии собрал в Америке в 1906-ом году Максим Горький. На стр. 244 Пейн пишет, что в 1913-ом году Ленин познакомился с «элегантным» Яковом Фюрстенбергом, чья партийная кличка была «Ганецкий». А на стр. 301 Пейн пишет, что Ганецкий был делегатом Социал-демократии Польши и Литвы еще на Стокгольмском и Лондонском съездах РСДРП и что Ленин познакомился с ним еще в 1903-ем году в Кракове. Ганецкий, кстати, был родом из русской Польши, а не из Галиции, как пишет Пейн, и неверно, что в июле 17-го года он был

арестован при попытке перейти русскую границу. Неверно и то, будто тайная русская полиция, получила от него сведения о деньгах, которые он передавал Ленину, как пишет Пейн.

В другом месте Пейн пишет, что в 1919-ом году рабочие Путиловского завода в Петербурге демонстрировали со знаменами, на которых было написано: «Долой Ленина с кониной, дайте нам царя со свининой!» Пейн не указывает источника, из которого он взял это. Но это, конечно, анекдот.

На стр. 548 Пейн пишет, что в 1923-ем году большинство членов Ц.К. большевистской партии были евреи. Это — неправда. В 1923-ем году членами Ц.К. Российской Коммунистической партии были избранные на одиннадцатом съезде партии в марте-апреле 1922-го года: Андреев, Бухарин, Ворошилов, Дзержинский, Земский, Зиновьев, Каменев, Калинин, Коротков, Куйбышев, Ленин, Молотов, Орджоникидзе, Петровский, Радек, Раковский, Рудзутак, Рыков, Сапронов, Смирнов, Сокольников, Сталин, Томский, Троцкий, Фрунзе, Чубарь, Ярославский. Из этих двадцати семи членов Ц.К. только шесть были — евреи (Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сокольников, Радек и Ярославский). Остальные двадцать один — не евреи. А среди девятнадцати кандидатов в члены Ц.К. не было ни одного еврея. См. «Одиннадцатый съезд РКП (большевиков)», стенограф. отчет, Москва, 1961, стр. 520-521).

Я мог бы указать и на другие ошибки в книге Пейна, но считаю указанного мной достаточным. Хочу лишь сказать, что из всех трех биографий Ленина, книга Пейна, несмотря на все ее ошибки, легче всего читается и оценка Ленина Пейном в общем — правильная. Но действительно ли Сталин отравил Ленина, как утверждает Пейн, — это не установлено.

Д. Шуб

П. Н. МИЛЮКОВ И МЕСТОРАЗВИТИЕ РУССКОГО НАРОДА

Посмертно изданный последний научный труд Павла Николаевича Милюкова — выдающееся проявление русской исторической мысли.¹

Тема этого труда, как автор определяет ее в своих «вступительных замечаниях», — «колонизация России и примыкающей к ней части Сибири, как основа для развития русской государственности». Развита эта тема в рамках «Очерков по истории русской культуры», являясь второй частью первого тома этих «Очерков». Первая часть тома появилась в составе так называемого «юбилейного» издания «Очерков» (Париж, 1937). Эта первая часть посвящена проблемам предыстории («преистории», как пишет Милюков) России — проблемам первоначального заселения, происхождения национальностей, происхождения славянства, степной культуры.

В первой части первого тома (издания 1937 года) 332 страницы. Во второй — 223 страницы.

В прежних изданиях I тома «Очерков» (у меня — седьмое издание 1918 года) вопросам предыстории и колонизации России уделено было всего около 30 страниц.

Дело, конечно, не только в объеме. Новый I том написан в ином плане с несколько иной точки зрения чем был старый. В предисловии к «юбилейному» изданию «Очерков» (помещенном в первой части нового I тома) Милюков пишет:

«Должен признаться, что... я далеко отошел от первоначального назначения «Очерков», как научной популяризации, предназначеннной для самого широкого круга читателей». Методологически очень важно что Милюков построил теперь свое

изложение на новом понятии «месторазвитие», которое он заимствовал у П. Н. Савицкого.

Нельзя не согласиться с редактором посмертно изданной второй части нового первого тома Н. Е. Андреевым, что «наблюдения и выводы (Милюкова) в этой книге представляют значительный и интересный вклад в научную литературу». К этому можно добавить, что книга эта может послужить (и я уверен, что послужит) толчком к дальнейшему обсуждению затронутых в ней исторических вопросов.

Милюков окончил книгу (поскольку она была им закончена) около 1940 года, т. е. в возрасте около 80 лет. Но вопрос об истории русской колонизации привлекал его с самого начала его ученой деятельности. Курс на эту тему был одним из первых двух курсов, которыми он начал свою преподавательскую деятельность в качестве приват-доцента Московского Университета в 1886 году.²

Милюков заинтересовался историей раньше чем политикой. Но начиная с его ссылки в Рязань (в 1895 году) политика — отчасти поневоле — начинает играть всё большую роль в его деятельности. В думский период и во время эмиграции политика почти всецело его захватила. От исторических интересов он никогда полностью не отходил.

В 1930-х годах — когда он заново писал I том «Очерков» — он видимо вернулся к науке всей душой, хотя из-за своей газетной и политической деятельности мог посвятить научной работе только часть своего времени и сил. Так или иначе на закате своей жизни Павел Николаевич пережил как бы вторую молодость своего научного творчества.

Милюков окончил Московский Университет в 1882 году. Он был в числе первых слушателей и учеников Ключевского когда тот начал преподавать в университете. Но главным учителем его был П. Г. Виноградов. Работа в семинаре Виноградова послужила основой для роста Милюкова как историка.

Последовавшие тринадцать лет — от окончания университета до ссылки в Рязань — подготовка к магистерскому экзамену, приват-доцентура в Московском университете, писание диссертации и защита ее — были временем быстрого

подъема Милюкова как ученого и бурного расцвета его научного творчества. Диссертация Милюкова — «Государственное хозяйство в России в первой четверти XVIII века и реформа Петра Великого» — его главный исторический труд, основанный на обширном архивном материале, до тех пор никем не тронутом.

В своих «Воспоминаниях» (том I, стр. 138) Милюков говорит, что тема диссертации «подсказывалась новыми взглядами на задачи исторической науки, усвоенными нами под влиянием П. Г. Виноградова». «Моя задача была — объяснить значение Петровской реформы. Но я отвергал старую постановку спора, как он велся в поколениях 40-х—70-х годов. Славянофилы стояли на принципе русской самобытности, западники — на принципе заимствования западной культуры. Мой тезис был, что европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой, но лишь задержанный условиями среды».

Диссертация Милюкова обострила его отношения с Ключевским, которые уже раньше начали портиться (отношения эти восстановились только в 1905 году по инициативе Ключевского).³ Ключевский не сочувствовал теме, выбранной Милюковым и посоветовал ему вместо того разработать грамоты какого-нибудь из северных монастырей. Милюков совета не принял.

Большую поддержку ему оказал в Петербурге С. Ф. Платонов, устроив печатание его диссертации в «Журнале Министерства Народного Просвещения» (1890-1892).⁴ Милюков представил диссертацию к защите в историко-филологический факультет Московского университета в 1892 году. При предварительном рассмотрении диссертации Виноградов предложил дать Милюкову сразу докторскую степень (минуя степень магистра). В. И. Герье и некоторые другие члены факультета поддержали предложение Виноградова, но Ключевский не согласился несмотря на уговоры коллег.

Во время диспута, при защите Милюковым диссертации, Ключевский, по словам Милюкова в его «Воспоминаниях», «выбрал систему высмеивания». Степень Милюков конечно получил, — но магистра, а не доктора. «Я тут же дал себе слово,

которое сдержал: никогда не писать и не защищать диссертации на доктора».

К диссертации Милюкова примыкает другой значительный его труд этого времени. По совету Платонова Академия Наук поручила Милюкову рецензировать книгу А. С. Лаппо-Данилевского «Организация прямого обложения в Московском государстве» (1890) представленную на соискание премии имени графа Уварова. Рецензия разрослась в целое исследование «Спорные вопросы финансовой истории Московского государства» (1892). Узнав об исходе московского диспута Милюкова Платонов предложил ему представить его новый труд в историко-филологический факультет петербургского университета в качестве докторской диссертации. Согласно своему прежнему решению Милюков отказался.

В августе 1916 года Милюков, вместе с П. Б. Струве, был приглашен в Англию, как лектор, для участия в очередном летнем съезде University Extension в Кембридже, который в этом году (в разгаре первой мировой войны) был посвящен славянам и их культуре. Сенат Кембриджского университета возвел и Милюкова и Струве в звание почетных докторов. В своих «Воспоминаниях» (Том II, стр. 269) Милюков пишет по этому поводу: «Я таким образом, получил право ставить при своей фамилии буквы LLD (Legum Doctor) и, если бы я дорожил титулами, я мог бы с удовлетворением сопоставить это позднее признание с своим московским обетом — оставаться на всю жизнь русским «магистром» и не искать звания доктора».

III

Расцвет научного творчества Милюкова происходил во время царствования Александра III — в эпоху, которая обычно характеризуется — и сам Милюков ее так характеризует — как годы реакции и застоя. Но он сам же признает, что для научной деятельности, и в частности для его научной деятельности «это затишье оказалось чрезвычайно полезным».⁵

В последние годы этого «затишья» Милюков принял участие в деятельности по распространению народного образования и самообразования и в частности в устройстве публичных лекций по образцу английской системы University Extension. Первый опыт таких лекций в провинции был устроен в

Нижнем Новгороде осенью 1894. И. И. Иванов прочел серию лекций по современной русской литературе, а Милюков — шесть лекций по истории общественных движений в России, начиная с времени Екатерины II. Для лекций была отведена огромная зала Дворянского собрания. В публике присутствовали вице-губернатор Чайковский (братья композитора) и местный архиерей. Милюков построил свой курс на идее неуклонного роста противоправительственного общественного движения. «Вывод логически вытекал сам собой, без того, чтобы я форсировал тон или сходил с почвы фактического рассказа. Конечно, последняя лекция содержала в себе прозрачные намеки на общие чаяния, и это было подчеркнуто прощальной овацией присутствующих» («Воспоминания», I, 159).

Тема лекций оказалась злободневной. 20 октября умер Александр III и русская интеллигенция была в возбуждении, ожидая «новых веяний».

Как известно, на приеме делегатов от земских собраний и городских дум 17 января 1895 г. новый государь — Николай II — положил предел надеждам на политические перемены, объявив их «бессмысленными мечтаниями». Вслед за тем правительство задним числом обратило внимание и на нижегородские лекции Милюкова. Министр народного просвещения Делянов уволил его из университета с запрещением дальнейшего преподавания в каком-бы то ни было русском университете. Министерство внутренних дел начало расследование о нижегородских лекциях Милюкова, а до расследования распорядилось выслать его административным порядком из Москвы, предоставив ему выбор места ссылки. Милюков выбрал Рязань, как самый близкий к Москве губернский город. Расследование тянулось почти два года. В 1897 году Милюкову предложен был выбор: год тюрьмы в Уфе или высылка заграницу на два года. К этому времени Милюков получил из Болгарии предложение занять кафедру всеобщей истории в Софийском университете, освободившуюся после смерти М. П. Драгоманова. Понятно, что он выбрал высылку.

Как было уже упомянуто, рязанская ссылка оказалась переломным моментом в жизни Милюкова. И не только внешне, но и внутренно. В своих «Воспоминаниях» (том I, стр. 166) Милюков пишет, что он уезжал в Рязань «с чувством какого-то

освобождения». «И даже не в том только было дело, что главный представитель кафедры (Ключевский), от которого зависело мое дальнейшее продвижение как преподавателя, от меня отвернулся, и эта дорога была для меня закрыта — раньше чем закрыло её правительство... Невыносимо было другое: после диспута я тяжело переживал чувство нанесенной мне моральной обиды; с моим уходом из Москвы отходило в прошлое и это несносное чувство».

В более общем смысле, Милюков уже до рязанской ссылки, почувствовал, что «перешагнул рамки университета ибо они стали для меня тесны. Всё, что я приобретал в смысле связей вне университета, вся моя литературно-критическая, просветительная, публицистическая деятельность, мои новые взгляды на науку — всё это не могло не привести к тому, что связи с университетом стали менее тесны. Иное в моей расширенной деятельности было с ним даже трудно совместимо... Во всяком случае чувство освобождения было налицо, и оно несло меня в неизвестную даль».

IV

В той литературно-просветительной деятельности Милюкова в связи с его «новыми взглядами на науку истории», о которых он говорит по поводу «чувства освобождения» при отъезде его из Москвы в рязанскую ссылку, видное место занимают его «Очерки по истории русской культуры» — произведение, доставившее ему, как историку, наибольшую известность среди широких кругов читателей.

В 1892 году устроители Педагогических курсов в Москве обратились к Милюкову с предложением прочесть курс лекций по истории русской культуры. Из этого курса и выросли «Очерки». По мере написания «Очерков» они печатались по частям в петербургском журнале «Мир Божий» (позже переименованном в «Современный Мир»), издательницей которого была Александра Аркадьевна Давыдова, вдова известного виолончелиста, дружившая с Н. К. Михайловским, но покровительствовавшая «легальным марксистам». Ее старшая дочь вышла замуж за М. И. Туган-Барановского. По мере напечатания их в журнале, тома «Очерков» затем выходили отдельным изданием.

Рязанская ссылка дала Милюкову два года для подготовки «Очерков» к печати. Третий том однако не был тогда закончен.

Неожиданный досуг для писания очередной части его Милюков получил в 1900 году в Петербурге в «Доме предварительного заключения» на Шпалерной, куда он был посажен после его участия в тайном собрании в Горном Институте, посвященном памяти П. Л. Лаврова (скончавшегося в феврале 1900 года). Милюков сказал там поминальное слово о Лаврове, которого он знал лично. Нужные Милюкову для писания третьего тома «Очерков» книги жена и друзья доставляли ему и из его личной библиотеки и из Публичной библиотеки. Постепенно книги заполнили целый угол его камеры («Воспоминания», том I, стр 195). Милюков просидел в Доме предварительного заключения около шести месяцев и был выпущен среди лета 1900 года. Ему было объявлено, что он свободен впредь до объявления приговора, но что жить в Петербурге ему воспрещено. Он поселился у станции Удельная Финляндской железной дороги и фактически ездил «инкогнито» в Петербург когда хотел.

Весной 1901 г. Милюкову объявлен был приговор: полгода тюрьмы. Милюков собирался провести лето в Англии для усовершенствования в английском языке. Дело было в том, что во время житья Милюкова в Удельной американский миллионер Чарльз Крэйн, живо интересовавшийся Россией и русской культурой, пригласил Милюкова прочесть курс лекций о России летом 1903 года на съезде американских учителей в Чикаго. Благодаря хлопотам друзей Милюкова министерство внутренних дел согласилось отложить тюремное заключение на осень, и Милюков провел лето в Англии, вернувшись в Петербург к назначенному сроку.

Милюков нашел, что «Кресты», куда он был теперь помещен, менее комфортабельная тюрьма чем Дом предварительного заключения, но зато спокойнее: «оставалось отсидеть определенный срок — и мое дело было кончено». В «Крестах» Милюков продолжал обрабатывать третий том «Очерков». По-прежнему ему доставлялись нужные для работы книги. «Словом это была своего рода времененная перемена квартиры» («Воспоминания», том I, стр. 201).

Чтобы закончить рассказ об этом эпизоде из жизни Милюкова, добавлю, что ему пришлось отсидеть только половину срока. Неожиданно для него, министр внутренних дел В. К. Плеве вызвал его к себе для беседы. Плеве начал разговор с ком-

плиментов Милюкову по поводу «Очерков по истории русской культуры» (очевидно, Плеве был осведомлен о том, что Милюков продолжал писать «Очерки» в тюрьме). Затем Плеве перешел к похвалам Ключевскому. По словам Плеве, Ключевский сказал государю, что Милюков нужен для науки и что его не следует держать взаперти.

В заключение беседы (пишет Милюков в своих «Воспоминаниях», I, 203) Плеве «спросил меня в упор: что я сказал бы, если бы он предложил мне занять пост министра народного просвещения!.. Я ответил, что поблагодарил бы министра за лестное для меня предложение, но, по всей вероятности, от него бы отказался. Плеве сделал удивленный вид и спросил: почему же? Я почувствовал, что лукавить здесь нельзя и ответил серьезно и откровенно: «Потому что на этом месте ничего нельзя сделать. Вот если бы ваше превосходительство предложили мне занять ваше место, тогда бы я еще подумал». Этот свой ответ я помню буквально».

«Плеве кончил свидание словами, что обо всем доложит государю и на днях снова меня вызовет».

Через неделю Плеве действительно вызвал Милюкова и сказал ему: «Я сделал вывод из нашей беседы. Вы с нами не примиритесь. По крайней мере не вступайте с нами в открытую борьбу. Иначе — мы вас сметем».

Милюков был освобожден и смог поехать в Америку в 1903 году. В следующем году Плеве был убит социалистами-революционерами при участии Азефа. Через тринадцать лет после того Милюков, возглавлявший конституционно-демократическую (кадетскую) партию в Государственной Думе, сделался министром иностранных дел в первом составе Временного Правительства. А вслед за тем и он, и кадеты и, немного позже, социалисты-революционеры были большевиками сметены с русской политической сцены.

V

Как было уже сказано, «Очерки по истории русской культуры» Милюкова выросли из курса на эту тему, который ему в 1892 году предложили прочесть устроители Педагогических курсов в Москве.

«Это было как раз то, о чем я мечтал с некоторого времени: прочесть общий — т. е. общеобразовательный курс по исто-

рии России, но прочесть его не так, как требовалось по университетской программе. Я не был принципиальным противником так называемой «повествовательной» истории, но мне давно уже начало казаться, что для истинного понимания истории России нужно нечто совсем другое». («Воспоминания», I, 159-160).

На то, чем должна быть история, объясняющая жизнь народов, наводило Милюкова направление мысли Виноградова. По отношению к России, как сам Милюков признает в своих «Воспоминаниях» (I, 160), сильнейшее впечатление на него произвели два иностранные произведения — «Russia» Мэ肯зи Уоллеса и особенно «L'Empire des Tsars» Анатоля Леруа-Больё. «Они ставили вопрос: что нужно знать иностранцам наиболее важного о России, чтобы понять её, ничего предварительно не зная. Ту же педагогическую, так сказать, практическую задачу (по отношению к русским слушателям, а потом читателям «Очерков»)ставил себе и я, приступая к составлению курса по истории русской культуры для педагогических курсов. Что касается выбора и распределения задачи истории, я думаю наиболее сильное влияние на построение моих лекций оказали четыре тома «Histoire de la civilisation en France» Гизо — его лекции 1812-22 и 1828-30 годов».

В другой связи Милюков упоминает более раннее сильное впечатление, произведенное на него «Курсом позитивной философии» Огюста Канта, третий том которого, ему дал прочесть М. М. Ковалевский в 1878 году. В этом томе Кант переходит от математической части к исторической и развивает свое учение о трех стадиях всемирной истории — теологической, метафизической и позитивной («Воспоминания», I, 86).

Милюков принял прохождение истории через три стадии за доказанное, но не для истории всего человечества, а для истории каждого национального «организма». По этому поводу следует заметить, что Милюков здесь идет по стопам Н. Я. Данилевского, автора вышедшей в 1871 году книги «Россия и Европа». Данилевский обосновал идею о значении культурно-национальных типов в истории человечества, каждый из которых проходит определенные стадии развития. В частности, Данилевский противопоставил романо-германский и славянский национальные типы.

В зрелом возрасте Милюков, как и подобает «западнику», отрицательно относился к «славянофильству», одним из «эпигонов» которого он считал Данилевского. Но гимназистом старших классов в Москве Милюков принадлежал к товарищескому «кружку» славянофильской (или панславистской) складки. Влиятельным членом этого кружка был князь Николай Дмитриевич Долгоруков, старший брат князей Павла и Петра Долгоруковых. Интерес и симпатия кружка к славянам усилились под влиянием событий на Балканах, приведших к русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Оракулом кружка сделался Достоевский с его «Дневником писателя».

«Мы, гимназисты последнего курса, конечно, не могли следить за всеми этими подробностями (дипломатии европейских держав), сделавшими русское выступление моральной необходимостью. Но мы все следили за русскими добровольцами в Сербии и сокрушались их неудачами, негодовали на медлительность держав, с возроставшим нетерпением ждали русского выступления» («Воспоминания», I, стр. 58-63 и 67-68).

Члены кружка кончили гимназию вскоре после объявления войны. Долгоруков предложил Милюкову принять вместе с ним участие летом 1877 года в работе санитарного отряда, который организовало московское дворянство. Милюков с радостью согласился, хотя и был огорчен, что отряд был направлен не в Болгарию, а в Закавказье и притом расположен был вдали от фронта. Одним из главноуполномоченных отряда был Н. А. Хомяков, сын одного из столпов славянофильства А. С. Хомякова, будущий председатель Третьей Государственной Думы («Воспоминания», т. I, 68-71).

Во время службы Милюкова в отряде он и ознакомился в первый раз с «Россией и Европой» Данилевского. Книгу эту посоветовал Милюкову прочесть его ближайший начальник по отряду, Драшусов.

«Книга оказалась для меня довольно трудной — пишет Милюков в «Воспоминаниях» (I, 71) (ему было тогда 18 лет), и первое знакомство с ней вышло довольно приблизительным... Я заинтересовался теорией культурных типов и ее естественно-историческим обоснованием. Но никак не мог примирить этого подхода с всемирно-исторической миссией славянофильства».

Более шестидесяти лет спустя, Милюков в «Воспомина-

ниях» (I, 86) написал: «Едва ли я усвоил себе на Кавказе книгу Данилевского, чтобы опираться на нее, но при всем моем преклонении перед Контом, мое основное возражение против него совпало с позицией Данилевского». Можно думать, что уже на Кавказе идеи Данилевского запали Милюкову в голову достаточно глубоко, чтобы дать толчок подсознательному развитию его мысли в этом направлении.

Милюков перечитал Данилевского значительно позже, когда он стал отрицательно относиться к славянофильству и панславизму. В 1893 году Милюков прочел в Москве публичную лекцию о «разложении славянофильства», напечатанную в журнале «Вопросы философии и психологии». В этой лекции Милюков высказал мнение, что «национальная идея привела у Данилевского и Константина Леонтьева к неподвижности и изуверству» («Воспоминания», I, 153). Как бы ни относился Милюков к национальной идеи Данилевского, но он должен был тогда же почувствовать, что его собственное понимание исторического процесса отчасти «совпало» (как он говорит в своих «Воспоминаниях») с учением Данилевского. Однако в течение нескольких десятилетий Милюков этого не высказывал публично. Психологически это может быть объяснено нежеланием Милюкова связывать свои «Очерки», хотя бы отдаленно, с именем автора «России и Европы».

Только в предисловии к заново им написанному первому тому «Очерков» (1937), в своих социологических тезисах Милюков отдал должное Данилевскому.

Третий свой тезис Милюков формулирует так: «Научная социология отодвигает на второй план точку зрения всемирной истории. Она признает естественной единицей научного наблюдения отдельный социальный (-национальный) организм». Милюков тут и говорит, что при формулировке этого тезиса он явился «попутчиком эпигона славянофилов, натуралиста и автора славянофильского «евангелия» («Россия и Европа») Н. Я. Данилевского» («Очерки», т. I, ч. I, издание 1937 года, стр. 8).

Отказываясь принять идею всемирной истории, как она была выражена в концепциях европейских мыслителей XVIII-го и XIX-го веков, Милюков считает, что в них выделена была только определенная группа народов, «призванных составить

цепь прогресса» и устранило из схемы всё остальное человечество «за исключением Европы и передней Азии». («Очерки», т. I, стр. 10).

Другими словами, всемирная история подменялась историей Европы и периодизация всемирного исторического развития (деление на древнюю, среднюю и новую историю) устанавливалась с европейской точки зрения. «Тут совершенно прав Н. Я. Данилевский, когда находит популярное деление на древнюю, среднюю и новую историю ненаучным и устанавливает следующее положение:... Собственно говоря и Рим, и Греция, и Индия, и Египет и все исторические племена имели свою древнюю, свою среднюю и свою новую историю, т. е. как все органическое, имели свои фазы развития». («Очерки», I, 1, стр. 13).

В применении к истории и русской культуры этот ход мыслей привел Данилевского к резкому противопоставлению России и Европы. В плане своих «Очерков» Милюков с самого начала отрицал полное тождество русского исторического процесса с европейским, а черты своеобразия объяснял главным образом «запозданием» развития русского народа. В этом запоздании Милюков придавал значение и географическому фактору.

В новом издании I тома «Очерков» Милюков, считаясь с «евразийским» течением русской мысли, проявившемся в 1920-х годах, выдвинул географический фактор, как один из важнейших элементов исторического процесса.

VI

Введением в «евразийство» послужила книга филолога кн. Николая Сергеевича Трубецкого «Европа и человечество», изданная в Софии в 1920 году. Термин «евразийство» там впрочем еще не упоминается. Основная идея книги — равнотоценность культур различных народов. «Европейская культура не есть культура человечества. Это есть продукт истории определенной этнической группы» — группы романо-германских народов. «Европейский космополитизм... есть не что иное, как общероманогерманский шовинизм».

Вместе с тем Трубецкой говорит, что хотя «романогерманская культура ничем не лучше всякой другой, но в сущности

она и ничем не хуже других». Ни один народ не может представлять собою всё человечество. «Если среди не-романогерманского народа имеются шовинисты, проповедующие, что их народ — народ избранный, что его культуре все прочие народы должны подчиниться — то с такими шовинистами следует бороться всем их единомышленникам» (стр. 10). На этом основании Трубецкой отвергает панславизм и всякие другие «пан-

Из этих основных положений Трубецкой сделал в своих позднейших статьях соответственные выводы относительно русской истории и русской культуры. Статьи эти собраны им в его книге «К проблеме русского самопознания» (1927).

Как уже сказано, Трубецкой отрицательно относится ко всякому проявлению русского шовинизма («ложного национализма») и панславизма. Основным элементом, образовавшим русскую национальность, он считает славянский, но отмечает, что западные славяне рано примкнули к романо-германскому миру, а южные славяне вошли в сферу влияния Византии. Выбор в пользу Византии был сделан и восточными славянами и «дал первоначально очень хорошие результаты» ((стр. 26).

В этнографическом отношении русский народ не является исключительно представителем славянства. Русские вместе с угро-финнами и с волжскими тюрками составляют особую культурную зону, имеющую связи и с славянством и с «туранским» востоком (стр. 31). В скользь Трубецкой отмечает и влияние иранского элемента. Роль иранства в процессе создания русской культуры подчеркнута была В. П. Никитиным в его статье «Иран, Туран и Россия» (Евразийский Временник, книга V, 1927).

В сборнике своих статей Трубецкой употребляет термин «Евразия» для обозначения России как особого культурного мира. Термин этот, так же как и понятие «месторазвития» — географической основы истории и культуры человеческого общества — был предложен и обоснован географом и экономистом Петром Николаевичем Савицким.⁸

В ходе исторического процесса создания больших народов и государств рамки первоначальных областных месторазвитий постепенно раздвигаются. Народ или симбиоз племен и народов при благоприятных обстоятельствах может дойти до

естественных географических границ и освоить все пространство в их пределах как единое целое.

В применении к истории русского народа его заключительное месторазвитие Савицкий и называет «Евразией». Географические рамки Евразии (в этом значении термина) приблизительно соответствуют территории Российской империи (без Польши и Финляндии) и Советского Союза. То, что лежит к западу от границ «Евразии» — Европа; что к югу и юго-востоку — Азия.

Географические особенности России-Евразии подробно рассмотрены в трудах Савицкого. Коротко говоря, в понимании Савицкого, ядро Евразии — совокупность «беломорско-кавказской», западно-сибирской и туркестанской равнин. Характерны для географического строения Евразии, как целого, широтные почвенно-ботанические ландшафтные зоны (смотря с севера на юг: тундра, лес, лесостепь, степь, пустыня).⁷

Степной зоне (месторазвитию кочевых народов) и ее роли в истории России Савицкий посвятил особые труды — «О задачах кочевниковедения» (Прага, 1927) и «Геополитические заметки по русской истории».⁸

VII

Когда Милюков приступал к писанию «Очерков», ему казалось, что спор западников со славянофилами уже потерял всякое значение. Однако спор этот тогда же был возобновлен марксистами, выдвигавшими против учения народников о русском своеобразии учение о сходстве с европейским экономическим процессом. («Очерки» I, 1, стр. 29).

Для следующей стадии спора Милюков противопоставляет Н. П. Павлова-Сильванского с его учением о тождестве русского общественного строя XIII-XV веков с западно-европейским феодализмом и концепцию «евразийцев» об особенностях русского «месторазвития».

Милюков считает, что перед ним стояла двойная задача. «С одной стороны, я должен был воспользоваться тем, что было положительного в работах того и другого направления. С другой стороны, приходилось снять то искусственное, что было в их противоположении, и ввести остаток, соответствующий истине, в рамки синтеза, на котором построены «Очерки». В особенности предуказывалась необходимость восстановить на-

учное употребление понятия географической среды, удержав удачный термин «месторазвитие». При объективно-научном анализе условий месторазвития сами собой обнаружились в нем не только элементы азиатского своеобразия, но и еще более несомненные элементы сходства с европейской средой. Под предполагаемым единством «Евразии» нашлось при этом место для нескольких «месторазвитий», далеко не сходных друг с другом» («Очерки» I, 1, 30-31).

По этому поводу можно заметить, что как уже сказано было, Савицкий и сам говорит в историческом плане о ряде первичных и областных «месторазвитий», постепенно становящихся отделами месторазвития более широкого масштаба.⁹ Отрицая единство «Евразии» как цельного месторазвития, Милюков со своей стороны говорит о «европейском месторазвитии», хотя совершенно ясно, что и оно состоит из ряда под-отделов.

Милюков признает, что «в области влияния географической сферы на направление русской истории» представителями «евразийского» течения мысли «была произведена некоторая научная работа». Но их понимание самобытной основы русского исторического развития Милюков сводит только к «азиатскому своеобразию». В другой связи Милюков утверждает, что «Евразия не есть Азия, а есть Европа, осложненная Азией» («Очерки», т. III, издание 1930, стр. 6). Как было уже упомянуто, Савицкий как раз и говорит, что Евразия не есть Азия (но и не Европа с его точки зрения).

Участие восточных («азиатских») народов в историческом процессе создания русского государства и русской культуры — не выдумка «евразийцев», а исторический факт, на который до недавнего времени обращалось недостаточно внимания. Но это не единственный элемент своеобразия истории русской культуры как целого. Представителями «евразийского» течения мысли признается и славянская основа русского народа и византийское наследство в развитии русской духовной культуры.

Сочетание различных элементов само по себе уже по разному окрашивает историческую культуру народа. По существу, степень самобытности (или своеобразия) каждого народа определяется его жизненной силой, его творческими способностями — и условиями его месторазвития.

VIII

Обращаемся теперь к основным чертам истории русской колонизации, как она излагается в посмертной книге Милюкова («Очерки», I, 2). Редактор, Н. Е. Андреев, отнесся к своей задаче с большим вниманием. Текст книги напечатан без изменений и с сохранением стиля Милюкова. Редактором только вставлены в текст недоставшие в рукописи слова, а также дополнена новейшими данными библиография. В оставшихся неисправленными опечатках редактор не повинен.

В книге три библиографических списка — к отделам I-му, II-му и (совместно) к отделам III-му и IV-му (колонизация Приуралья и Сибири). К библиографии о Сибири желательно было бы добавить указания на книги Г. В. Ланцева (*Siberia in the Seventeenth Century* [1943]), Реймонда Фишера (*The Russian Fur Trade, 1550-1700* [1943] и В. И. Шункова, Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII веков (1946). Книга В. А. Александрова, Русское население Сибири XVII — начала XVIII в. (Енисейский край) вышла уже позже посмертного издания книги Милюкова (1964). Работы С. В. Бахрушина по истории Сибири собраны в его «Научных трудах» (издательство Академии Наук), тома III (в двух частях) и IV (1955-1959).

Книга Милюкова состоит из четырех отделов: I. Южная Россия и кочевники степи; II. Лесная полоса и расселение восточных славян; III. Первая зона русской экспансии (Приволжье и Приуралье); и IV. Завоевание Сибири.

Милюковская концепция колонизации России восточнославянскими племенами всецело опирается (как Милюков сам говорит во «Вступительных замечаниях») на принятие им гипотезы о том, что прародина индоевропейцев была в Европе (см. «Очерки», т. I, ч. 1, изд. 1937 года, стр. 192-196; в теперешней книге, стр. 67-68). В соответствии с этим, прародину славян (по «выделении» их из круга индоевропейских народов) Милюков ищет на так называемой Унетицко-Лужицкой территории (в Силезии и области Лужичан) (стр. 68 настоящей книги; см. т. I, стр. 1, стр. 209-211, 217-219, 246).

Одним из древнейших названий славян Милюков считает имена «сербы» и «хорваты» (стр. 101 и 104). По Милюкову, славянское расселение началось позже расселения других ин-

доевропейских народов. Восточные славяне пошли в невыгодном для них направлении. «Запоздание» процесса русской колонизации «прежде всего объясняется особенностями русского месторазвития — точнее, русских месторазвитий, на которые делится огромная территория восточно-европейской равнины». Главными тремя из этих месторазвитий Милюков считает степи, леса и великие реки северной тайги (стр. 11).

Процесс передвижений населения «и окончательного оседания в различных месторазвитиях составляет ближайшую задачу нашего изучения... Надежной проверкой послужит при этом тесная связь того или другого процесса с тем или другим определенным месторазвитием» (стр. 15).

«Борьбу леса со степью» Милюков считает главным содержанием русской истории. Степным культурам юго-востока России до скифов включительно и развитию «звериного стиля» в искусстве кочевников уделено было много внимания уже в первой части первого тома «Очерков». Там же Милюков изложил и свою общую характеристику основных черт кочевнического быта (I, 1, 289-291).

Обзором истории народов степного месторазвития, начиная с сарматов, открывается его новая книга. Славяне в сарматскую и после-сарматскую эпоху упоминаются только мимоходом — в связи с готами (стр. 32) и гунно-болгарами (стр. 38).

Как сказано было Милюков исходит из гипотезы, что прародина индоевропейцев была в Европе и там же он помещает и славянскую прародину. Между тем и скифы и сарматы шли с востока на запад. Язык тех и других — иранский. Большинство ученых признает основную массу и скифов и сарматов иранцами. Получается видимое противоречие со стройной теорией Милюкова. Разрешить это противоречие можно (с точки зрения Милюкова) или признав в западном направлении движение скифов и сарматов обратную волну иранцев, или отвергнув их иранство. Милюков выбирает второе решение. «Те и другие — пишет он — представляются нам смесью тюрков с «европидами» Азии (стр. 19).

Где бы ни помещать славянскую прародину, несомненна издавна связь древнеславянской культуры с древнеиранской. Связь эта ярко проявляется в мифологии, религии (славянское

слово «Бог» соответствует древне персидскому «Бага»), фольклоре и народном искусстве.¹⁰

Черты сходства этих культур заставляют предполагать длительное сожительство части славян с иранцами в Южной России в скифскую и сарматскую эпоху. По всей вероятности некоторые славянские племена находились тогда в политической зависимости от скифов и сарматов, а несколько позже — от аланов, (предков осетин).

При переселениях бывали случаи, когда иранское племя или род, переселяясь на новые места, вело за собою и подчиненное ему славянское племя (или род). Если правящее племя (или род) было малочисленнее подчиненного ему славянского племени, или если оно попадало в область заселенную уже раньше славянами, то оно само довольно быстро ославляива-

В истории славяно-турецких отношений классическим примером подобной комбинации может служить образование болгарского народа.

Как мы видели, Милюков считает названия «хорваты» и «сербы» архаическими именами древних славян. Между тем теперь можно считать установленным, что слово «хорват» — иранское и что предки хорвата и сербов вышли из Хорезма и северного Кавказа.¹¹ Греческий географ Птоломей помешал сербов к Западу от нижнего течения Волги.¹² Если исходить из точки зрения Милюкова, то мы здесь стоим перед дилеммой: или одно из славянских племен уже во втором веке нашей эры жило на северном Кавказе, или предки сербов, оставившие свое название современным сербам, были не славяне.

Иранского же (аланского) происхождения название «канты», (об антах см. у Милюкова стр. 32, 38 и 82-85). В аланско-осетинском языке **анда** значит «вне», «внешний».¹³ Антами назывались «внешние» или «окраинные» племена, оторвавшиеся при переселении от оставшихся в прежних местах «внутренних» племен.¹⁴

«Внешнее» племя часто подчиняло себе племена тех народов, с которыми оно входило в соприкосновение при переселении. «Внешним» аланам (антам) подчинены были славянские племена, которые тоже стали называтьсяантами. Как в случае с Болгарией, славянский язык возобладал, аланские ан-

ты ославянились. Их потомки вошли в круг племен южной Руси, описанный в начальной летописи. Милюков считает уличей и тиверцев антскими племенами (стр. 90). Тут возможны только догадки. Вероятнее мне кажется связывать полян сантами.

В VI веке анты жили в низовьях Дуная, Днестра и Днепра, в позднейшей Молдавии и Бессарабии. Кроме этой группы, по утверждению Византийского историка Прокопия, «бесчисленные племена» антов жили к северу от Азовского моря.

Появление в это время славян в степной зоне противоречит теории Милюкова. Поэтому он считает свидетельство Прокопия «недоразумением» (стр. 85). По его мнению Прокопий «совершенно напрасно» помещает антов «на Дону». «До Дона славянские поселения в это время не доходили» (стр. 32).

Вряд ли правильно со стороны Милюкова отвергать показание Прокопия — современника описываемых событий — только на основании предвзятой теории. При том же, на основании археологических данных известно, что если не на Дону, то во всяком случае на Донце в эту эпоху жили аланы и потому вполне естественно там было оказаться и антам.

IX

Так как Милюков отрицает самую возможность появления славян в степной зоне в первые века нашей эры, то естественно, что историю русской колонизации он начинает с лесной полосы (во второй главе).

В вопросе об исходных точках расселения восточных славян Милюков продолжает пользоваться своей основной схемой, но в дальнейшем изучении путей расселения схема эта имеет уже меньше значения в его изложении.

Естественным географическим узлом, куда сходятся разные потоки движения восточно-славянских племен, проходя через литовскую и финскую среду, является центрально-русское (волжско-окское) междуречье, и освоение его завершает первую стадию расселения восточных по русской равнине. Здесь славяне вошли в область сильного финского племени меря. В северной части междуречья утвердились кривичи (Милюков считает, что новгородские «словене» до междуречья не дошли); в южной — вятичи. В IX веке проникли в междуречье

и варяги. На этом основании, следуя П. П. Смирнову, Милюков помещает в Ростово-Ярославский край и «Русский каганат» IX-X веков (Милюков называет его «норманским»). По мнению Милюкова, столица этого государственного образования была на месте Темирева городища около Ярославля. Как известно по письменным источникам, послы русского кагана появились в 838 году в Константинополе, откуда их направили в Германию при византийском посольстве. Запись о приезде их в Ингельхейм сохранилась в так называемых «Бертинских анналах» (17 января 839 года).

Вопрос о том, где был центр русского каганата — очень запутанный. Что касается книги П. П. Смирнова, Ю. В. Готье подверг ее суворой критике. По его мнению это «только островерхая гипотеза, и здание им построенное, возведено на песке».¹⁵

А. А. Шахматов считает столицей каганата Новгород; А. А. Васильев — Киев; Е. Е. Голубинский и В. А. Мошин — Тмуторокань (это по моему мнению наиболее вероятное предположение).¹⁶

Вопрос о том, где был «русский каганат» не имеет впрочем существенного значения для дальнейшего развития мыслей Милюкова о роли средне-русского междуречья в истории русской колонизации, русского государства и русского языка.

Милюков подчеркивает «особое положение центрального окско-волжского междуречья, как промежуточного или переходного месторазвития между северным и южным. На севере — хвойный лес, переходящий в тайгу и тундру, послуживший территорией новгородской (северо-великорусской) колонизации. На юге — лесостепь и чернозем, в древности — сфера влияния кочевников, а позднее — территория украинской и южно-великорусской колонизации... По средине между севером и югом — полоса смешанного леса на умеренно-подзолистой почве. Она и составляет тот центр, в котором кристаллизировалась и откуда распространилась этническая и языковая амальгама, легшая в основу русского исторического строительства, как целого» (стр. 147). «Язык, образовавшийся на основе этой амальгамы, мы вправе называть просто русским».

Х

«Первой зоной русской экспансии» (на восток) Милюков считает «расселения русских в иноплеменной полосе Приволжья и Приуралья. Сюда входит и колонизация Строгановых (глава III). Продолжением этой стадии русской колонизации является овладение «второй зоной» — Сибирью (глава IV).

Начиная с монгольского нашествия XIII века, созданная им новая политическая ситуация на два века приостановила восточное движение русской колонизации, кроме как в северной полосе, в новгородских владениях. И Русь и тюрко-финские народы и племена среднего Поволжья вошли в состав Монгольской империи, будучи непосредственно подчинены ханам западного «улуса» империи — улуса Джучиева (Джучи был младшим сыном Чингис-хана). Старшая линия потомков Джучи правила теперешним Казахстаном и Западной Сибирью. Русь и Поволжье достались младшей линии Джучидов — ханам Золотой Орды.¹⁷ Ханы эти были монголы по происхождению, но орда и по языку, и по преобладающему составу была тюркская (татарская).

Связи между отдельными улусами Монгольской империи постепенно слабели. В 1360-х годах китайцы восстали против монгольской власти, монгольская династия была свергнута и в Пекине утвердились китайская (так называемая Минская) династия. Монголы ушли в свои степи.

В западном «улусе» бывшей монгольской империи было также неблагополучно. В 1359 году в Золотой Орде произошла «замятня великая» и хотя потом порядок на некоторое время восстановился, в XV веке Орда постепенно пошла под уклон. В середине XV века от Золотой Орды отделились Крымское и Казанское ханства, а в 1502 году распались и остатки «Большой Орды».

Хронологически, этот перелом совпал со взятием Константинона турками-османами (1453). Падение византийского православного царства отозвалось в истории русской культуры установлением самостоятельности (автокефалией) русской церкви (первым толчком к ней был отказ принять флорентийскую унию 1439 года). Утверждение турок в Константинополе было прологом к захвату ими Кафы и Керченского пролива и установлению суверенности султана над крымским ханом.

Крымская орда получила теперь мощного покровителя в борьбе с Россией. Этим надолго было задержано освоение причерноморских степей русской и украинской колонизацией.

По мере того как Орда слабела, росло Московское государство. Отдельные группы татар стали переходить на службу московского великого князя. Около 1452 года великий князь Василий II дал во владение одному из самых верных своих татарских помощников, царевичу¹⁸ Касиму, Мещерский городок на Оке, который затем стал называться Касимовым. Так возникло Касимовское «царство», существовавшее до середины XVII века. Милюков признает это событие «решительным переломом» в возобновлении процесса русской колонизации на юг и восток (стр. 180).¹⁹

XI

Независимость Москвы от Золотой Орды была формально провозглашена Иваном III в 1480 г. Однако это не спасло Русь от продолжения татарских набегов. И Крымское и Казанское ханство были сильные державы, и борьба Руси с ними, даже и с помощью «своих» служилых татар, требовала больших усилий (Астраханское ханство имело меньше значения). Московские дипломаты старались воспользоваться разногласиями среди влиятельных княжеских татарских родов в каждом ханстве, чтобы создать из них дружественную Москве партию, но это не всегда удавалось.

К 1530-м годам Московское правительство пришло к решению, что единственное средство предотвращения губительных татарских набегов — это подчинение Москве хотя бы Казанского ханства («царства» по московской терминологии). После ряда подготовительных мер Казань была взята (1552), а вслед затем подчинена и Астрахань (1556). Все течение Волги до Каспийского моря оказалось в русских руках. Полоса степей и пустынь была разрезана надвое.

Геополитическое и историческое значение завоевания Казани и Астрахани огромно. Создание, столетием раньше, Касимовского царства было только подготовительным шагом для будущего. Будущее это теперь стало настоящим. Исторически, Москва становилась наследницей Джучиева улуса. Характерно, что после взятия Казани, сибирский хан Едигер был челом

Ивану Грозному о принятии его «под высокую руку» московского «белого царя».

В 1560-х годах Кабардинские князья на северном Кавказе признали царя Ивана своим сюзереном (после смерти своей первой жены Анастасии Романовой, Иван Грозный женился на черкесской княжне).

Средина XVI века — поворотный период в истории России. Раздвинулись рамки областного средне-русского месторазвития, начался процесс создания целостного «евразийского» месторазвития.

Царь Иван сознавал историческое значение признания его суверенитета рядом татарских мусульманских властителей. В 1570 году московский посол в Турцию держал от имени Ивана такие речи султану Селиму: «Мой государь не враг мусульманской веры. Слуга его Сайн-Булат господствует в Касимове, царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике (Сурожском стане), Ногайские князья в Романове. Все они свободно славят Магомета в своих мечетях».²⁰

Покорение Казанского царства открыло среднее Поволжье для русской земледельческой колонизации. Вместе с тем устранение опасности со стороны казанских татар создало более благоприятные условия для борьбы с набегами татар крымских. Эта борьба затянулась надолго благодаря отвлечению внимания московского правительства от Черноморья к Прибалтике (Ливонская война) и из-за борьбы с Польшей в смутное время. В первой половине XVII века Польша неоднократно вступала в союз с крымским ханом. За спиной последнего стояла Турция.

Для защиты от нападения крымских татар русским приходилось строить линии засек и укреплений. В течение XVII и первой половины XVIII века эти укрепленные линии постепенно подвигались к югу и под защитой их постепенно распространялась и земледельческая колонизация (Милюков, стр. 156, 160-162).²¹

Покорение Казанского царства сделало возможным и освоение Сибири. Северные пути, которыми русские начали проникать за Урал еще в конце XV века (см. у Милюкова стр. 187-188), были отдалены и трудно проходимы уже по суровости климата. Только после овладения Казанью русским стал доступен водный путь от Волги вверх по Каме. С верховьев

левых притоков Камы возможно было волоками добираться до верховьев левых притоков Иртыша.

Признание западно-сибирским ханом Едигером верховной власти московского царя открывало возможности мирного русского проникновения в Сибирь. Но в 1563 году Едигер был свергнут другим ханом — Кучумом, который сначала отказался от уплаты дани, потом возобновил ее (1571-1572) и затем снова прекратил (Милюков, стр. 193). В течение ряда лет Москва воздержалась от применения силы, надеясь восстановить суверенитет царя над Кучумом дипломатическими переговорами.

Тем временем татары и подчиненные им vogули начали нападать на уральские владения Строгановых (набеги 1573 и 1580 годов). В 1574 году Строгановы испросили разрешение царя «свои обиды мстити». Им предоставлено было право набирать на свою службу казаков и охочих людей из стрельцов. Строгановы пришли к заключению, что коренным средством чтобы «свои обиды мстити» и прекратить нападения сибирских татар и подчиненных им туземцев могло быть только завоевание ядра сибирского татарского ханства.

Для этого Строгановы и организовали поход Ермака в 1581 году (Милюков, стр. 188-189).

«Походы Ермака в 1581-1584 гг. были... последним широкозадуманным предприятием частной промышленной фирмы и сделались первым решительным шагом правительства к завоеванию и колонизации беспредельных пространств Сибири» (стр. 191).

XII

Ход русской колонизации на юг Милюков обозревает кратко, намечая только его основные этапы. Зато колонизации Сибири посвящена целая отдельная глава (IV-я — последняя в книге).

Завоевание западно-сибирского татарского ханства, начатое Ермаком и завершенное мерами московского правительства при Борисе Годунове, открыло пути в среднюю, а потом и в восточную Сибирь. В ряде случаев туземные племена и народы упорно защищали свою независимость. В других случаях племенные князья и старшины, платившие раньше «ясак»

(дань мехами) татарским или монгольским ханам, без затруднений соглашались продолжать платить ту же дань русскому царю.

Милюков последовательно рассматривает первые шаги, предпринятые московским правительством для заселения и обеспечения хлебом Западной Сибири, значение добычи сибирской пушнины для финансов московского государства, общий рост населения Сибири от 1622 года до середины XIX века, систему ссылки в Сибирь и организацию крестьянского переселения туда в конце XIX и начале XX века. В конце главы помещен особый экскурс «Русские за Енисеем» (в XVII веке).

Покорение Сибири осуществлено было незначительными военными силами. В 1635 году в Сибири находилось всего пять тысяч московских «служилых людей» (включая стрельцов), немногим более двух тысяч казаков и две тысячи служилых сибирских татар, т. е. в общем не более десяти тысяч воинов.²²

Численность туземного населения Сибири в половине XVII века по всей вероятности превосходила 200 тысяч,²³ но они были разрознены, а некоторые из них враждовали между собой. Кроме того, до встречи с манчжурами на Амуре в 1680-х годах русским давало перевес огнестрельное оружие. Надо еще добавить, что во многих случаях туземные родовые старейшины поддерживали русских. Из западно-сибирских татар составились целые отряды на русской службе.

Милюков, отдавая должное первоначальной инициативе Строгановых в дальнейшем рассматривает главным образом правительственные мероприятия для колонизации Сибири, хотя и не отрицает существование вольного переселения. Между тем несомненно, что переселение по собственной инициативе играло значительную роль в колонизации Сибири, особенно земледельческой.

Правительственная политика сводилась к трем основным мерам:

1) переселению крестьян, главным образом из Поморья (русского севера) «по указу» (принудительно) и «по прибору» (прием «охочих людей» к переселению);

2) ссылка преступников и военнопленных и

3) устройство на пашне в Сибири крестьян, явившихся по собственной инициативе.²⁴

Практика правительственного перевода крестьян в Сибирь существовала лишь в начальном периоде колонизации — в конце XVI-го и первой четверти XVII века. Точных цифр для определения количества ссыльных в Сибири в XVII веке нельзя установить. П. Н. Буцинский (книга которого о заселении Сибири вышла в 1889 году) считал, что с 1593 по 1645 год было сослано в Сибирь 1.500 человек. В. И. Шунков считает, что во всяком случае для увеличения крестьянского населения Сибири в XVII веке ссылка не имела серьезного значения. Ссылаемые военнопленные верстались в служилые люди, а не в пашенные крестьяне.²⁵

Таким образом основой для развития земледелия в Сибири было вольное крестьянское переселение. Правительственные власти на местах оказывали поддержку переселенцам — отводили подходящие земли и выдавали «подмогу» (безвозвратную помощь — денежную или натуральную) и «ссуду» (подлежащую возвращению). Когда крестьянин был вполне устроен на новом месте, то по истечении льготных лет на него возлагалась трудовая повинность — обработка государственной «десятинной» пашни. В 1624 году Тобольский воевода кн. Юрий Яньшеевич Сулешев установил примерную норму повинности: одна десятина на государя — четыре десятины «собинной» (собственной) крестьянской пашни.

В связи с ростом крепостных порядков в Московском государстве в первой половине XVII века и особенно после издания Соборного Уложения 1649 года, окончательно установившего крепостное право на крестьян, сидевших на боярских и дворянских вотчинах и поместьях, усилилось бегство крестьян в Сибирь. Московское правительство было этим настолько обеспокоено, что даже начало принимать меры для задержания переселения в Сибирь.²⁶

К концу XVII в. количество постоянного русского населения достигло приблизительно 25 тысяч семейств. Около половины этого количества (11 тысяч) составляли крестьянские семьи.²⁷ Более двух третей их осело в Западной Сибири. Наиболее земледельческими были Верхотурский, Туринский и Тюменский уезды. К концу XVII века население Сибири было уже всецело обеспечено местным хлебом.

Милюков подчеркивает произвол сибирской администрации и жестокое обращение казаков и служилых людей с ту-

земцами. Все это, конечно, было, но эти теневые стороны не дают полного представления об условиях русской колонизации Сибири.

Московское правительство, заинтересованное в правильном поступлении «ясака» от туземцев, стремилось обеспечить им мирную жизнь и оградить их от злоупотреблений со стороны русских. Правительство не нарушало исконных обычаяев туземного населения и не вмешивалось в их родовой и племенной строй.²⁸

Московские директивы не всегда соблюдались местными властями, бывали злоупотребления, но в общем цель правительства была достигнута.

Среди Тобольских воевод (в XVII веке Тобольск был главным административным центром Сибири) были выдающиеся люди, как например, вышеупомянутый кн. Ю. Я. Сулемешев, происходивший из знатного рода крымских татар (1623-1625) и Петр Иванович Годунов (1667-1670).²⁹

Промышленники и казаки, открывавтели новых земель, дождшие к половине XVII века до крайнего северо-востока Сибири и до Тихого океана, не тем только могут быть помянуты, что многие из них грабили и совершили жестокости. Своими усилиями они в короткое время исследовали все необъятное пространство Сибири и тем подготовили почву для ее освоения русским народом. Своим пытливым духом они внесли громадный вклад в дело расширения географических знаний.

XIII

Ясачный сбор сибирской пушнины начался еще в конце XVI века и сразу стал приносить большой доход московскому государству. После разорения Смутного Времени сибирские меха (и займы предоставленные государству Строгановыми) спасли Москву от банкротства. В 1624 году по расчетам Реймонда Фишера в государственную казну поступило мехов на 45 тысяч рублей,³⁰ в 1635 году, по расчету Милюкова на 63 тысячи рублей (стр. 201). К 1655 году меховой доход казны дошел до 125 тысяч рублей.

В своем сочинении о Московском государстве, написанном им в Швеции в 1666 году, бывший подьячий Посольского Приказа Григорий Котошихин (бежавший из Москвы в 1664

году) сообщает, что общий ежегодный доход Московского царства равнялся 1.311.000 рублей «окром Сибирские казны» (Глава VII, статья 48). В той же главе (статья 7) Котошихин пишет, что не помнит «сколько числом тое казны придет в году» (т. е. сколько мехов и каких пород зверей поступает ежегодно в Москву в Сибирский приказ), а помнит приблизительно только общую денежную стоимость всех мехов («меховой казны»): «а чаять тое казны приходу в год болши шти сот тысяч рублей». Если эта цифра верна, то значит меховая казна составляла (в начале 1660-х годов) почти третью всего государственного дохода Московского царства.

Милюков усумнился в правильности приводимой Котошихиным цифры ежегодного мехового дохода на том основании, что подытоженные им самим (Милюковым) архивные данные указывают на значительно меньшую цифру. Цифру Котошихина Милюков считает ненадежной также и потому, что Котошихин писал «по памяти». К мнению Милюкова присоединился Реймонд Фишер.³¹

Как подьячий Посольского Приказа (Московского министерства иностранных дел) Котошихин хорошо был осведомлен и о делах других приказов. Разница между его цифрой и подсчетами Милюкова и Фишера может отчасти быть объяснена неполнотой источников, на основании которых Милюковым сделан был подсчет, отчасти же разницей между ценой мехов на месте в Сибири и оценкой их в Москве. Нормально, московская оценка была выше сибирской на 20 процентов, но иногда и гораздо больше (100 процентов), а в исключительных случаях достигала 500 процентов.³² Как бы то ни было, вопрос требует дальнейшего рассмотрения.

Сибирские меха поступали в казну главным образом как «ясак» (дань) от туземных племен. Но кроме того государство получало «десятину» от мехов добывших в Сибири частными лицами — промышленниками и купцами. Эта «десятина» также приносila значительную долю в состав московской меховой казны. По расчетам Фишера в средине XVII века в казну ежегодно поступало мехов в качестве десятинной пошлины на сумму от 30 до 35 тысяч рублей (по сибирской оценке). Это значит, что промышленники добывали ежегодно в это время в Сибири мехов на сумму от 300 до 350 тысяч рублей (по сибирской, т. е. низкой оценке). 350 тысяч рублей XVII века

равняются шести миллионам золотых рублей 1913 г. Это значительно больше, чем ежегодный меховой доход казны по оценке Милюкова и Фишера и больше половины мехового дохода казны, указанного Котошихиным.

XIV

С самого начала процесса освоения Сибири русским народом и в течение всей первой половины XVII века добыча пушнины составляла основную отрасль хозяйственной деятельности русских в Сибири и была главной целью в их неустанных поисках «новых земель».

Постепенно однако, как мы видели, начало расширяться земледелие и стал возрастать его удельный вес в народном хозяйстве Сибири. Уже в XVII веке началась и добыча и обработка металлов — главным образом железа.

Милюков упоминает основанные в XVIII веке горные заводы на Алтае и в Нерчинске (стр. 202-203), но первоначальной стадии развития рудного дела в Сибири не касается.

По мере продвижения русских в Сибирь для существования их требовался не только хлеб, но и металлы — прежде всего железо, а также медь — для ковки и починки оружия и производства хозяйственной утвари. В каждом новооснованном городе или остроге (крепости) поселялись кузнецы и медники.

Первоначально металлы, как и хлеб, приходилось возить в Сибирь из Приуралья и замосковных городов, но сразу же стали приниматься меры для обеспечения Сибири своими металлами. Почти в каждой царской грамоте о постройке нового острога соответствующему воеводе предписывалось искать руду в окрестных местах.

Руду эту искали — и часто находили — поселенные в новых городах кузнецы, среди которых были и рудоплавильщики. Большая часть железоплавлены были мелкого размера. Для плавки найденной в 1622 году около Томска железной руды и изготовления оружия были посланы два мастера из Устюжны Железнопольской. В неделю они выплавляли из руды по одному пуду железа.³³

Со средины XVII века начинают появляться предприятия более крупного размаха. В 1657 г. в Енисейском уезде посад-

ский человек Алексей Тихонович Жилин нашел слюду и завел слюдяной промысел. Через год он обнаружил в тех же местах медную руду, а потом железную. В помощь Жилину был послан медеплавильщик из Соликамска. Каждый десятый пуд со своих рудоплавилен Жилин, по установленному для частных промышленных предприятий правилу, должен был вносить в казну.³⁴

В конце 1660-х годов рудоискатель и рудоплавильщик из Соликамска, Дмитрий Александрович Тумашев, нашел в Верхотурском уезде железную руду и, не дождавшись правительственного разрешения, построил железоделательный завод в тридцати верстах от Краснопольской слободы. Верхотурскому воеводе было приказано найти местопребывание Тумашева, допросить его и составить описание завода для обеспечения

Из описания выяснилось, что на заводе была одна домница «а в ней три горна» и кузница «а в ней два горна и две наковальни». На заводе работало 15 человек, в сутки выплавлялось три однопудовых крицы. На допросе Тумашев показал, что в 1670 году он выплавил 145 пудов железа, десятую часть которого сдал в казну, а за четыре месяца следующего года им было изготовлено 223 пуда железа.³⁵

В нашем распоряжении нет достаточных статистических данных для того, чтобы подсчитать хотя бы приблизительно общее число рудоплавильень в Сибири в XVII веке и установить их ежегодную продукцию. Правительство приказывало сибирским воеводам держать железные заводы на строгом учете. В архивных документах должны были сохраниться — и действительно сохранились — соответствующие сведения. Полной сводки их однако до сих пор не было сделано. Но уже и частичное использование архивных данных А. А. Кузиным обогатило наши сведения по этому вопросу.

Следует только иметь в виду, что далеко не все рудоплавильни могли быть зарегистрированы в воеводских канцеляриях. Большие пространства и редкость населения Сибири способствовали заведению тайных промыслов, владельцы которых уклонялись от учета и от платежа «десятого пуда» и других налогов. Как бы то ни было, во второй половине XVII века производство железа в Сибири было уже способно удовлетворять в значительной мере тамошние нужды войска, а также и город-

ского населения. Собранное правительственными властями в качестве «десятого пуда», (а также скопавшееся ими железо) только частью использовалось на местные нужды. Часть его отсыпалась в Москву. Перевозка железа из Сибири в Москву занимала около трех месяцев.³⁸

XV

«Месторазвитие русской промышленности» (таково заглавие книги П. Н. Савицкого 1932 года) тесно связано с месторазвитием русского народа как целого.

В месторазвитии металлургической промышленности основное значение имеют минеральные ресурсы и их географическое распределение. Исторически «коренное ядро России (Русь XI-XIII столетий) это четырехугольник земель, углы которого, согласно нынешней географической терминологии, с некоторым приближением можно обозначить следующими пунктами: С.-Петербург — Ленинград, Нижний Новгород, Кременчуг, Перемышль (в Галиции)» (Савицкий, «Месторазвитие русской промышленности», стр. 16). Это пространство благоприятно для земледелия, но бедно минеральными ресурсами.

Основные — и чрезвычайно мощные — минеральные богатства России расположены на юге и, главное, на востоке от исторического «четырехугольника» (см. обзор основных местонахождений промышленных производительных сил у Савицкого, стр. 17-92).

В ранние эпохи русской истории железнодельное производство основано было на использовании легкоплавких болотных руд. Такое положение продолжалось до XVII века, когда открыты были и начали использоваться и коренные месторождения железной руды. В 1637 году пущен был в ход около Тулы первый железноделательный завод, основанный голландцем Андреем Виниусом, перешедший вскоре во владение другого голландца Марселиса. Как мы видели, одновременно (даже едва ли не раньше) началось рудокопное и плавильное дело в Сибири.

Сибирские рудоплавильни были меньшего размера, чем Тульские и позже основанные Олонецкие заводы. Тем не менее, начальная стадия роста рудного дела и металлургии в Сибири показала широкие возможности дальнейшего использова-

ния минеральных богатств Сибири. Возможности эти не были однако вслед затем использованы, и рудное дело в Сибири подвигалось очень медленно. В XVIII веке главное значение для русской металлургии получил Урал.

В конце XVIII и начале XIX века мировая промышленная техника перешла к употреблению каменного угля. Русская промышленность не сразу к этому приспособилась, отчего и получилось значительное отставание ее.

Только «во второй половине XIX-го и в начале XX-го века криворожская руда, донецкий уголь и кавказская нефть помогают русской промышленности мало-по-малу выбраться из ямы, в которую она попала» (Савицкий, стр. 104-105).

Несмотря на быстрый экономический рост России, начиная с 1880-х годов, русская промышленность, до первой мировой войны, продолжала быть сосредоточена на территории до-Уральской России. Получилось таким образом несоответствие между рамками месторазвития русской промышленности и границами целостного месторазвития русского народа («Евразии»).

Между тем, как уже было упомянуто, именно к востоку от области тогдашнего развития русской промышленности находятся главные «ресурсоносные площади» России — алтайские, верхне-енисейская, прибайкальская и восточно-забайкальская (Савицкий, стр. 7).

К концу XIX-го века минеральные богатства этих областей были еще недостаточно изучены и значение их не только не учитывалось, но и не сознавалось руководящими течениями русской экономической мысли. Даже в 1916 году (уже во время первой мировой войны), такой видный русский экономист как М. И. Туган-Барановский писал, что «мы очень бедны, сравнительно с Западом, столь необходимым материалом современной промышленности, как каменный уголь». Поддерживая Туган-Барановского, Э. Вулих формулировал его мысли так: «Вопрос совершенно ясен: поскольку современная промышленность связана с углем и железом, Россия не имеет перед собой таких перспектив, как Англия и Германия». На этом основании Туган-Барановский признал неосуществимым «стремление превратить Россию в страну с преобладающим значением промышленности».³⁷

В отличие от большинства экономистов, мысль естество-

испытателей и инженеров в это время уже была направлена на исследование естественных богатств России в рамках не до Уралья, а всего русского государства. Еще в 1879 году Дмитрий Иванович Менделеев в своем докладе на VI съезде русских естествоиспытателей и врачей призывал к систематическому исследованию природных богатств окраин России. «На окраинах России есть немало мест, обладающих суммой благоприятных естественных условий, те места могут со временем сделаться для России новым источником благосостояния... Ни у правительства, ни у русского народа нет надлежащих сведений об отдаленных окраинах России. Предложим им наше разумное действие, а именно — дадим то, чего недостает: знание тех естественных и экономических условий, которые встречаются в наших отдельных краях».³⁸ А в докладной записке, представленной Менделеевым императору Александру III в 1888 году, он писал: «На Днепре, Кавказе и Урале руды едва початы, не говоря о Сибири... Предприимчивости, в промышленных делах неизбежной, довольно у народа, если он произвел колонизацию беспримерного размера. Его тянет на юг и восток, где все сосредоточилось для возможности развития высших видов культуры, заводов, фабрик и торговли».³⁹

Первая мировая война показала недостаточность использовавшихся до тех пор естественных ресурсов России и срочность их систематического изучения. В 1915 году академик В. И. Вернадский выступил в Обществе естествоиспытателей с докладом «Об использовании химических элементов в России».

В этом докладе Вернадский сказал, что «с точки зрения минерального царства... сплошное протяжение территории России... делает чрезвычайно мало вероятным, чтобы в пределах сплошного куска земной коры, составляющего около одной шестой всей суши земного шара, отсутствовали те или иные химические элементы в необходимых для перевода в полезную энергию концентрациях».⁴⁰

Соответственно с этими мыслями Вернадский представил в Академию Наук записку о необходимости привлечь возможно большее число ученых к систематическому исследованию производительных сил страны.

Записка принята была к исполнению в мае 1915 года. Председателем Комиссии по изучению естественно-производитель-

ных сил (сокращенно называвшейся КЕПС) был избран Вернадский, товарищем председателя Н. С. Курнаков, секретарями — кн. Б. Б. Голицын и А. Е. Ферсман. Комиссия действовала с большой энергией и произвела громадную работу.

Что касается аналогичного течения мысли в среде инженеров, в своей книге «Послевоенные перспективы русской промышленности» (1919) В. И. Гриневецкий предложил план реорганизации промышленности и перемещения важнейших заводов ближе к источникам сырья.⁴¹ «ТERRITORIALНОЕ размещение (русской) промышленности — пишет Гриневецкий — в прошлом сильнее отражавшее в себе исторические условия, чем современную экономику, должно подвергнуться глубоким и разнообразным изменениям. Основное изменение должно заключаться в сильном передвижении промышленности и народнохозяйственного центра тяжести к Востоку под влиянием ряда мощных факторов» (стр. 101 второго издания книги Гриневецкого).

В том же 1916 году, когда появились выше упомянутые статьи Туган-Барановского и Вулиха, Савицкий выступил с возражением против их мнений о недостаточности минеральных запасов России и о неосуществимости широкого размаха русской промышленности. В двух статьях (напечатанных в журнале «Русская Мысль») Савицкий тогда же указал, что нельзя базой русской промышленности считать только до-Уральскую Россию, что такой базой должны быть ресурсы производительных сил на всем пространстве русского государства. Статьи эти перепечатаны были в книге Савицкого «Месторазвитие русской промышленности». В этой книге развернуты полностью идеи Савицкого о необходимости промышленной ориентации России в сторону востока. Действительный ход экономического развития России в течение трех десятилетий, протекших после издания книги Савицкого, подтвердил правильность его взглядов в этом отношении. Месторазвитие русской промышленности слилось с месторазвитием русского народа.

Г. В. Вернадский

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ П. Милюков, Очерки по истории русской культуры, том I, часть 2. Посмертное издание под редакцией Н. Е. Андреева (The Hague, Mouton & Co., 1964).

² П. Н. Милюков, Воспоминания (Нью Йорк, 1955), том I, стр. 136.

³ См. Воспоминания, I, стр. 298-300 и 394; II, стр. 51.

⁴ Книга вышла отдельным изданием в 1892 г. (второе издание в 1905 г.).

⁵ Воспоминания, I, стр. 118.

⁶ П. Н. Савицкий, Географические особенности России, часть I: растительность и почва (Прага, 1927); его же: Месторазвитие русской промышленности (Берлин, 1932); его же: *Sestina světa* (Прага, 1933).

⁷ См. также Л. С. Берг, Природа СССР (Москва-Ленинград, 1937).

⁸ Приложение к «Начертанию русской истории» Г. В. Вернадского (Прага, 1927), стр. 234-260.

⁹ См. в особенности «Месторазвитие русской промышленности» П. Н. Савицкого.

¹⁰ G. Vernadsky, *The Origins of Russia* (Oxford, 1959), см. в особенности главу IV. Французское издание книги вышло в том же году в Париже под заглавием *Essai sur les origines russes*. Подготавливается к печати итальянское издание. См. также Р. О. Якобсон, *Slavic Mythology, Funk and Wagnells Standard Dictionary of Folklore*, II (1950), стр. 1025-1028.

¹¹ Vernadsky, *Origins of Russia*, стр. 4, 63, 84; F. Dvornik, *The Making of Central and Eastern Europe* (London, 1949). Appendix I-II.

¹² Клавдий Птолемей, географическое руководство, книга V, глава VIII, 17-25, см. В. В. Латышев, Известия древних писателей греческих и латинских, том I (С.-Петербург, 1890), стр. 239. Птолемей писал в половине II века по Р. Хр.

¹³ Vernadsky, *Origins of Russia*, стр. 22. Подробное же объяснение слова «ант» дает М. Р. Фасмер, Max Vasmer, *Russisches Etymologisches Wörterbuch* I (1953), стр. 246 (под словом («Вятичи»)).

¹⁴ О «внешних» и «внутренних» племенах у кочевников, см. G. Vernadsky, *The Eurasian Nomads and their Impact on Medieval Europe*, *Studi Medievali* IV, 2 (1963), стр. 406-407.

¹⁵ «Новый Восток», 25 (1929), стр. 323-326.

¹⁶ Vernadsky, *Origins of Russia*, стр. 193.

¹⁷ G. Vernadsky, *The Mongols and Russia* (New Haven, 1953), стр. 138-140.

¹⁸ Русские называли татарских ханов «царями», а сыновей их «царевичами».

¹⁹ На историческое значение образования Касимовского «царства» я указал еще в моей книге «Начертание русской истории» (Прага, 1927), стр. 110-111.

²⁰ В. В. Вельяминов-Зернов, Исследование о Касимовских царях и царевичах, часть II (С.-Петербург, 1864), стр. 1-2

21 См. также старые издания первого тома «Очерков» Милюкова (в седьмом издании 1918 года, стр. 56-66).

22 George V. Lantzeff, *Siberia in the Seventeenth Century* (Berkeley and Los Angeles, 1943), стр. 67, 69, 70.

23 Б. О. Долгих, Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке (Москва, 1960) дает цифру туземного населения для конца XVII века 216.875 (стр. 617).

24 В. И. Шунков, Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале XVIII веков (Москва-Ленинград, 1946), стр. 13.

25 Там же, стр. 20-21.

26 Там же, стр. 21-45.

27 Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII век (Москва, 1955), стр. 864 (отдел «Присоединение и колонизация Сибири», составлен В. И. Шунковым).

28 Lantzeff, *Siberia*, стр. 91-104.

29 С. В. Бахрушин, Научные труды, III, часть I, стр. 265-272 (Суслешев) и 273-296 (Годунов).

30 Русский рубль XVII века равнялся приблизительно 17 золотым рублям 1913 г.

31 Милюков, Государственное хозяйство России первой четверти XVIII века и реформы Петра Великого (С.-Петербург, 1905), стр. 113-114; см. также в посмертно изданной книге Милюкова стр. 201; R. H. Fisher, *The Russian Fur Trade 1500-1700* (Berkeley and Los Angeles, 1943), стр. 115-116.

32 Бахрушин, Научные труды, III, часть I, стр. 239; Fisher, стр. 69.

33 А. А. Кузин, История открытий рудных месторождений в России до середины XIX века (Москва, 1961), стр. 36.

34 Там же, стр. 48, 67, 68.

35 Там же, стр. 37-39.

36 Там же, стр. 40-41.

37 Статьи Туган-Барановского и Вулиха были напечатаны в газете «Речь» (февраль и апрель 1916 г.). Цитаты у Савицкого, стр. 122-123.

38 Д. И. Менделеев, Проблемы экономического развития России (Москва, 1960), стр. 102-103.

39 Там же, стр. 69.

40 В. И. Вернадский, Очерки и речи, I (1922), стр. 64. (Цитировано у Савицкого, стр. 102). Доклад В. И. Вернадского первоначально был напечатан в журнале «Русская Мысль», 1916, № 1, стр. 73-88.

41 Второе издание книги В. И. Гриневецкого (которым я пользовалась) вышло в Москве в 1922 году. См. в особенности стр. 91-102.

БИБЛИОГРАФИЯ

«РЕКВИЕМ» АННЫ АХМАТОВОЙ

А. А. Ахматовой исполнилось 75 лет. С этим юбилеем случайно совпал выпуск за рубежом сборника ее стихов «Реквием». Издатели «Реквиема»* предупреждают, что «этот цикл стихов печатается без ведома и согласия автора». Но я думаю, что все эти стихи войдут в подготовляемое в СССР собрание стихотворений Ахматовой. Пусть все стихи «Реквиема» о терроре. Но они ведь о терроре сталинском, а как раз этот период террора (и только этот, так уж вышло по иронии революции) осуждать можно. Поэтому и стихи «Реквиема» партия и правительство могут — как говорится — «взять на вооружение на данном этапе исторического развития».

Семнадцать месяцев кричу
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу
Ты сын и ужас мой.
Всё перепуталось навек
И мне не разобрать
Теперь кто зверь, кто человек
И долго ль казни ждать.

Говорить о высоких достоинствах поэзии Анны Ахматовой не приходится. Ее поэзия давно оценена. Уже несколько десятилетий как Ахматова — эта былая «насмешница» и «царскосельская веселая грешница» — ушла от своей прежней главной темы — любовной лирики, став поэтом разных и больших тем: война, родина иль свобода, Россия, диалог с прошлым Серебряным Веком. И вот теперь — террор.

По классичности музыки, по ее четкости, точности и блеску «Реквием» как раз образец этого перерождения былой музы Ахматовой. От камерности — к всероссийскому голосу. К голосу — ясному, всеми слышимому и по-пушкински в своей высокой простоте незримо сложному, что дается только большим поэтам. В приложении к Анне

*

* Анна Ахматова. «Реквием». Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1963.

Ахматовой эпитет *большого* русского поэта (и в наши дни единственного *большого*) совершенно естественен. Стихи «Реквиема» — одно из подтверждений тому.

Но «томов премногих тяжелей» эта небольшая книжка не только в плане поэзии. «Реквием» неожиданно поднимает некоторые темы историософского и духовного порядка. И прежде всего тему о, так называемой, русской душе. Хотя почему о так называемой? Русская душа существует, это — реальность. И «Реквием» как раз показывает некоторые ее стороны. Касается «Реквием» и темы: — родина иль свобода?

Стихи «Реквиема» помечены — 1935, 1939, 1940 годами. Это — террор. Это стихи о том, как — «Звезды смерти стояли над нами — И безвинная корчилась Русь — Под кровавыми сапогами — И под шинами черных марусь». Темы террора, самой значительной темы полувековой русской революции, по понятным причинам касались немногие русские поэты. В первые годы революции в достаточной мере гнусные стихи, прославлявшие террор, писали В. Маяковский, Н. Клюев («Хвала пулемету несътому кровью — Битюжьей породы батистовых туш!») и некоторые другие поэты. Это были дешевые плакаты, нужные партии и правительству, и как ответ народа на террор они никем восприняты быть не могут. Совсем иные стихи о терроре написал Макс Волошин, издав их заграницей в 20-х годах. Это эпические стихи свободного поэта. Но в них так много преизбыточной патетики и философичности, что гнусность убийств людей они невольно поднимали до каких-то историософских толкований. Откликом народа на совершающую над ним пытку они быть тоже не могли. Но вот пришли стихи о терроре Анны Ахматовой. О них — и только о них — я думаю, можно сказать, что это отклик народа на террор. Да и писала-то их Ахматова именно так: как всероссийский (или — всесоюзный) ответ русской женщины на тюрьму, Сибирь, смерти, террор. Об этом говорится в небольшом предисловии к «Реквиему», как стоявшая вместе с Ахматовой в тюремной очереди женщина «с голубыми губами», узнав кто она, спросила ее на ухо, шепотом — «А это вы можете описать»! — И я сказала — «Могу», ответила ей, стоявшая в тюремной очереди, прославленный поэт России А. А. Ахматова.

И я молюсь не о себе одной
А обо всех, кто там стоял со мною
И в лютый холод, и в июльский зной,
Под красною ослепшую стену.

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ!

О чем же он кричит стомилюонный измученный народ? О своих страданиях. Да. Но что же он кричит? Не разобрать. Это скорее бессловесный вой и воп: «как стрелецкие женки — под кремлевскими башнями».

Уводили тебя на рассвете.
За тобой, как на вынос, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе не забыть.
Буду я, как стрелецкие женки
Под кремлевскими башнями выть.

Старинно-московский образ воющих стрелецких женок под кремлевскими башнями совсем не случаен, он глубоко определяющ.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

Некоторые русские писатели полагают, что русскую податливость к насилию и долготерпимость к страданию выдумал только французский маркиз де Кюстин. Я думаю, людей так думающих не поддерживает ни русская история, ни русская литература, ни полу-вековая история русской революции. Край родной долготерпенья — остается. И «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой — как ответ на террор ленинских «голубых шапок» и ленинских «кровавых сапог» — вой той же покорности родной страны.

Кажется, Розанов когда-то писал, что символом русской истории могут быть некие легендарные результаты битвы на Калке, когда победившие татары будто бы, положив доски на пленных русских, плясали на них. Так и марксизм-ленинизм полвека пляшет на пленном народе под плач и вой «стрелецких женок».

Но тут хочется коснуться одной побочной темы, которую Ахматова сама явно связывает с большой темой о всероссийском терроре. Ведь «Реквием» открывается прекрасным и как бы краеугольным, программным четверостишием, которое дает тон всем стихам Ахматовой о терроре, вставляя их в некую общую внутреннюю раму.

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Это — тема выбора. Выбора родины иль свободы. Мы давно знаем (еще по известному стихотворению Анны Ахматовой 1917 го-

да «Мне голос был. Он звал утешно»), что Ахматова подчеркнуто, решительно, демонстративно сделала свой выбор между родиной и свободой: родина! И от этого выбора она явно не отрекается даже говоря о всероссийском терроре. Что ж, осознанный выбор родины, а не свободы, сделанный еще в 1917 году, в момент предельной осатанелости родины, надо признать героическим. Хотя я думаю, не менее, а может быть и более героичен (хотя бы уж потому, что более активен!) был выбор другой большой русской поэтессы — Зинаиды Гиппиус. Гиппиус тогда же выбрала: разрыв с родиной во имя свободы.

Рабы, лгуны, убийцы, тати ли
Мне ненавистен всякий грех,
Но вас Иуды, вас предатели
Я ненавижу больше всех.

Это — об Октябре, Ленине и ленинцах, от идеологов до мелочи, ходившей в «кровавых сапогах» и ездившей «на черных марусях». И с этой «Свечей ненависти» (так называется это стихотворение) Гиппиус столь же осознанно ушла от родины. И это был геройзм еще потому, что уходившие от родины твердо знали, что без родины они встретят только чужие пороги и горечь хлеба изгнания. Я думаю, — нехорошо, что Ахматова в свое время писала об ушедших довольно-таки надменно:

Но вечно жалок мне изгнаник
Как заключенный, как больной,
Темна твоя дорога, странник.
Полынью пахнет хлеб чужой.

А здесь в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы не единого удара
Не отводили от себя.

Мы знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час;
И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Эта надменность была нехороша хотя бы уж потому, что для изгнанников Ахматова-поэт всегда была дорога и кроме любви и чувства восхищения они ей ничем не платили, хотя Ахматова писала и об этом: «их грубой лести я не внемлю — им песен я своих не дам». Ждановщина, принуждение восхвалить «отца народов»,

аресты и расстрелы близких, всё это было — там «где мой народ, к несчастью, был». То, что жизнь без родины всем трагически тяжела, не должно было быть темой надменных стихосложений. Об этой тяжести прекрасно сказала та же Зинаида Гиппиус, будучи уже заграницей, в стихах «Там и здесь».

Там я люблю иль ненавижу
Но понимаю всех равно:
 И лгущих,
 И обманутых,
 И петлю выющих,
 И петлей стянутых.
А здесь — я никого не вижу,
Мне все равны и всё равно.

Но свеча ненависти к убийцам и предателям у Гиппиус не погасала. И Гиппиус умерла на свободе, но вне родины. Приблизительно в то же время, когда Гиппиус умерла, Ахматова на родине написала страшные стихи, призываая смерть:

К СМЕРТИ

Ты всё равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом
Иль сказочкой придуманной тобой,
И всем до тошноты знакомой,
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне всё равно теперь. Клубится Енисей.
Звезда полярная сияет
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас озаряет.

Как великий вой, как всероссийский воп русских женщин в годы построения так называемого коммунизма останутся в русской литературе и в истории революции стихи Анны Ахматовой о терроре.

Роман Гуль

I REDISCOVER RUSSIA BY ISAAC DON LEVINE. Duell, Sloan and Pearce. New York. 1964. 211 p.

«Я заново открываю Россию». Дон Левин вернулся в Советский Союз после сорока лет. Он уехал оттуда, предугадывая ближайшую судьбу страны. «Я открываю Россию» говорит он, и упор делает на первом слове. Ведь если для России и всего западного мира прошло четыре десятилетия, полных событий, то и для автора прошла большая часть жизни. В двадцатых годах он был молодым, предприимчивым, но еще мало кому известным журналистом, теперь он автор десятка книг, опытный наблюдатель, жадный до новизны человек, привыкший не довольствоваться поверхностью вещей.

Он вышел из самолета на Ленинградском аэродроме, не только как Колумб на Вест-Индийском острове, но и как человек когда-то родившийся в России и владеющий в совершенстве русским языком.

В густом потоке книг о России, написанных людьми, побывавшими там, прожившими от 5 дней до 5 месяцев в стране, книга Дона Левина отличается тем, что она затрагивает никем до сих пор не исследованную область советских архивов и книгохранилищ. Левин поехал в Россию с определенной целью: добиться доступа к двум изданиям (книгам Козловского и Махарадзе), которых в западных библиотеках он найти не мог. Эти книги имеют прямое отношение к вопросу, которым Дон Левин сейчас занимается: дореволюционное прошлое Сталина и его — возможная — служба в царской охранке. Видимо, в книгохранилищах СССР эти книги были своевременно уничтожены (или изъяты) и Левину их увидеть не пришлось.

Попутно он дает нам зарисовки жизни в этих тайниках — в советских архивах. Он встречает людей — старых и молодых — знакомых ему и незнакомых, он видит быт, отмечает его иногда с юмором, иногда с грустью.

В центре книги — посещение Левиным Ек. Павл. Пешковой, первой жены Горького, и его беседа с ней о смерти Горького (а также и о смерти ее сына от Горького, М. А. Пешкова). До сих пор официальная версия смерти Горького, в свое время данная Сталиным, не опровергнута, однако, имеются в этой области любопытные факты, которые живут сами по себе, не разъясненные, и не могут не смущать историков литературы. Так например, в «Летописи жизни и творчества М. Горького» (Москва, 1960), на последних страницах IV-го тома, где прослеживается последняя болезнь Горького и его смерть в малейших подробностях, нет имен ни д-ра Левина, ни проф. Плетнева, во время процесса признавшихся на допросах в убийстве писателя, и погибших. Нет их фамилий и в списке имён в конце книги, очень точно составленном (где есть, между прочим, множество эмигрантских фамилий). Значит ли это, что их

собираются «посмертно реабилитировать»? Или наоборот, хотят их имена предать забвению, тем самым «посмертно реабилитируя» Сталина?

Ек. Павл. Пешкова, на вопрос Левина о смерти Горького, ска-

— Всё это не совсем так, но пожалуйста не спрашивайте меня об этом. Я потом спать не смогу, если начну вам рассказывать, три дня и три ночи не засну.

Письмо Ленина к Дону Левину от 1919 года открывало ему многие двери. Он побывал и на Кавказе, где огромную статую Сталина свалили накануне приезда в Гори Фиделя Кастро. На пьедестале еще можно было прочесть слово «...талин».

Любопытны предположения Дона Левина об охлаждении отношений между Сталиным и Горьким в последние годы (1934-1936). То обстоятельство, что в 1935 г. Горький обращался к Сталину (о приеме Ромэна Роллана) через А. С. Щербакова, а не непосредственно, находит себе объяснение в томе 70 «Литературного наследства», где напечатаны письма Горького к Щербакову. Как явствует из этой переписки, Щербаков, занимавший крупное место в Союзе писателей, был той стеной, которая отделила Горького не только от Сталина, но и от ближайших его друзей-писателей.

В книге Левина мы не найдем невозможного: ответов на такие вопросы, как встреча Орджоникидзе с Горьким в апреле 1936 г., или роль секретаря Горького П. П. Крючкова в последние годы перед арестом и расстрелом, или связь между смертью Горького и началом московских процессов. Основной вопрос остается: когда и кем будут преданы всеобщей гласности архивы Сталина?

Кое с чем в книге Дона Левина не совсем можно согласиться. Несколько мелких неточностей следует исправить: Горький не имел в Нижнем Новгороде постоянного жительства до 1917 года; в Германии он жил не с 1922-го, а с 1921-го года; благодарность Горького Хуверовской организации помощи в СССР не скрывается, а печатается в полных собраниях сочинений. Но это — мелочи.

В книге Дона Левина мы находим много интереснейших сообщений о прошлом, настоящем и будущем советского режима и остроумное предположение о том, что Хрущев держит в секрете целый ряд преступлений Сталина для того, чтобы в нужный момент раскрыть их — в его борьбе с Мао и китайскими сталинцами.

За последний год вышел целый ряд ценных, интересных и талантливых книг о Советском Союзе, среди них есть книги, покрывающие один какой-нибудь сектор советской жизни, и есть книги, говорящие о СССР и России в целом. К первой категории принадлежит книга Франклина Рива «С Робертом Фростом в России». Ко

второй — книга Лауренса ван-дер-Поста, большого южно-африканского писателя, «Взгляд на всю Россию». «Я заново открываю Россию» принадлежит к первой категории. Дон Левин заглянул в тот угол русской жизни, в который до него никто не заглядывал.

Н. Берберова

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» В ПЕРЕВОДЕ НАБОКОВА

EUGENE ONEGIN. By Alexander Pushkin. Translated from the Russian with a Commentary, by Vladimir Nabokov. 4 vols. 1,858 pages. Bollingen Series LXXII. New York. Pantheon Books, 1964. \$18.50.

Английских переводов русской литературы — от «Слова о полку Игореве» до последних новинок из Советского Союза — много. И число их всё растет. В частности довольно много выходит новых переводов уже ранее переведенных книг. Это часто объясняется разными взглядами на цель и технику перевода. Должен ли переводчик стремиться к предельной смысловой точности? Или он должен стараться отразить психологический эффект подлинника? Что делать с архаизмами или с нерусской речью в русском тексте (скажем, украинской у Гоголя или французской у Толстого), или с местными говорами и нарочито неправильной речью отдельных персонажей? Если передавать всё это нормальным, «литературным» английским языком, то теряется красочность русского текста. С другой стороны французская фраза в русском тексте связана с совершенно другими ассоциациями чем в английском. В старой России так говорило высшее общество, аристократы, в то время как в Америке так никто никогда не говорил. А как быть с украинской речью? Некоторые английские переводчики русских классиков пробовали «подменять» украинскую речь шотландским или ирландским диалектом английского языка. Но получалось тогда не то. Также, кстати сказать, пробовали поступать и с крестьянской речью. В результате, Платон Карапаев в «Войне и мире» становился шотландцем, а Пьер — агличанином, и создавалось впечатление, что их разделяет география, а не социальное положение и не культура.

В англо-саксонском мире споры о переводах русской литературы продолжаются. Недавно, кстати сказать, в нью-йоркских театрах с большим успехом шли чеховские «Три сестры» и горьковское «На дне», обе пьесы в новых переводах, несмотря на то, что их переводили уже не раз.

По понятным причинам переводов русской поэзии гораздо меньше. Но вот, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. Почти одновременно в Америке появились два перевода «Евгения Онегина».

Причем, оба издания получили поддержку одного и того же учреждения — Боллингеновского фонда, который субсидирует издания по литературе и искусству, включая и художественные переводы. Ежегодная премия Боллингеновского фонда за лучший литературный перевод была присуждена Уолтеру Арндту, филологу и профессору университета штата Северной Каролины. Интересно, что Арндт — уроженец Германии, и ни язык подлинника, ни язык перевода не являются его родным языком. И всё же Арндт перевел «Онегина» стихами, да еще четырехстопным ямбом и сумел даже воспроизвести знаменитую структуру онегинской строфы. Перевод Арндта вышел массовым тиражем в дешевом издании. Книга заслужила хорошие отзывы в педагогических журналах и, несомненно будет читаться студентами английских и американских вузов.

А несколько месяцев спустя появился еще один перевод «Евгения Онегина». На этот раз переводчик — известный писатель Владимир Набоков-Сирин, автор многих книг на русском и английском языках. Перевод Набокова издан тем же Боллингеновским фондом, который присудил премию профессору Арндту. По внешнему виду издания переводов Арндта и Набокова совершенно разные. Перевод Набокова — это роскошное четырехтомное издание; цена его очень высокая — 18 дол. 50 ц. Это, конечно, не по карману рядовому читателю или студенту. Это — издание, скорее, для подарка.

Что же представляет собой набоковский перевод «Евгения Онегина»? В предисловии к изданию Набоков пишет: «Мой идеал — дословность. Ему я принес в жертву красоту, благозвучие, ясность, вкус, современное употребление языка и даже грамматику». Набоков строго следует этому правилу. Его перевод действительно дословен и с предельной точностью передает содержание пушкинского романа в стихах. Но его перевод — проза с наличием ритма, но без какой бы то ни было рифмы, не говоря уже об онегинской строфе. В результате читатель узнает точно, что сказала Ольга Ленскому, что написала Татьяна Евгению — но отнюдь не как. Конечно, таким переводом не убедишь английского читателя в художественных достоинствах поэмы. Такой перевод, бесспорно, представляет собою некоторую научную ценность, но это скорее материал для будущего перевода «Евгения Онегина», а не законченный перевод. Набоковский перевод интересен, но он не увлекает и не захватывает читателя. А ведь это и составляет прелесть «Евгения Онегина». Ведь само по себе содержание произведения не так уже важно. Не оно владеет вниманием читателя. А так получается что-то напоминающее пародию Козьмы Пруткова: «Ты меня любила — я тебя любил».

Кстати, Набоков уделяет мало внимания тому факту, что русский язык изменился гораздо меньше за последние 140 лет чем анг-

лийский. В результате, «дословный» перевод Пушкина по-английски звучит архаически, в то время как современный русский читатель воспринимает язык Пушкина сравнительно легко: он не настолько уж отличается от современного русского языка.

Несмотря на четыре тома набоковского перевода «Евгения Онегина» перевод нельзя назвать ни «научным», ни «академическим». Переводчик почему-то, например, решил не пользоваться русским шрифтом в сносках к тексту подлинника. В результате, длинные русские цитаты напечатаны в латинской транслитерации. Кстати, научно необоснованной — что приводит к крайней неудобочитаемости издания. Непонятно, какими соображениями руководился переводчик: вряд ли найдутся читатели, знающие русский язык, но не знающие русской азбуки!

Серьезным недостатком издания надо считать и то, что Набоков, работая заграницей, не имел доступа к пушкинским рукописям, хранящимся в архивах и библиотеках Советского Союза. Крайне неприятное впечатление производит резко-полемический тон Набокова по отношению к другим переводчикам Пушкина и небрежно высокомерное отношение к советским пушкиноведам, чьими достижениями, несмотря на исключительно трудные условия работы, вправе гордиться мировая наука. Об этом, кстати, подробно писал несколько лет тому назад в изданной в Нью-Йорке книге, бывший член редакционного комитета академического издания полного собрания сочинений Пушкина Людвиг Домгер, после войны оставшийся на Западе. Читая комментарии Набокова, создается впечатление, что до него никто серьезно не изучал «Евгения Онегина», что не было таких пушкиноведов как Модзалевский, Томашевский, Бонди, Щеголев, Гофман и многие другие.

Издание включает фотопродукцию последнего при жизни Пушкина изданного «Евгения Онегина» в январе 1837-го года — несколько небольших статей (включая интересное исследование биографии предка поэта Абрама Ганибала, знаменитого «арата Петра Великого» и хороший общий обзор русской поэтики в целом, и поэтической структуры «Евгения Онегина» в частности). Эти статьи, и особенно примечания, в которых сказывается большая эрудиция Набокова в области западноевропейской литературы, и составляют главную ценность издания. Они занимают около 600 страниц, в них много нового и интересного, хотя зачастую и спорного.

Набоков известен также как переводчик других произведений русской литературы. Так, ему принадлежат лучшие английские переводы «Слова о полку Игореве» и «Героя нашего времени». Но, увы, его перевод «Евгения Онегина» нельзя считать удачным, хотя, как мы уже сказали, комментарии и примечания содержат много интересного материала и метких наблюдений.

В предисловии Набоков говорит, что его перевод предназначается не для ученых, не для специалистов, а для студентов, не владеющих русским языком. Если эти студенты, заявляет Набоков, — будут пользоваться его переводом в качестве шпаргалки, он будет

Что ж, и шпаргалка, как известно для любого студента — дело полезное, хотя и нелегальное. Но много ли пользы от четырехтомной шпаргалки, к тому же стоящей 18 долларов?

Морис Фридберг

VICTOR ERLICH. *The Double Image. Concepts of the Poet in Slavic Literatures.* The John Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1964.
Pp. VIII = 160. \$5.00.

Виктор Эрлих — автор замечательного труда о русском формализме. Напомню: формалисты были осуждены в конце 20-х гг. Лет десять тому назад о них опять заговорили в России, но не реабилитировали. Всё же вышла книга Томашевского о Пушкине, были переизданы работы Эйхенбаума о Толстом, появляются труды Виноградова, Шкловского и часто цитируются другие формалисты. Иначе на Западе, в особенности в Америке. Выдающиеся ученые Д. И. Чижевский и Р. О. Якобсон применяли формальный метод в Харварде, и целая плеяда их учеников преподает теперь в американских университетах. Чешский ученый Ренэ Веллек — в своей английской книге по теории литературы неоднократно ссылается на русских формалистов, а упомянутый выше труд Эрлиха о русском формализме стал настольной книгой не только славистов, но и специалистов по сравнительной литературе.

В отчетной книге Эрлих допускает анализ идей и образов, но преимущественно в пределах данного художественного произведения. Однако, его интересует и литературный быт, даже факты биографические, исторические. Всем этим вне-literатурным материалом не пренебрегали и старые формалисты 20-х гг., хотя больше внимания они уделяли литературным приемам, анализу «литературности», стилю и структуре.

Основная тема Эрлиха — образ поэта, не психологический, а идеальный, формирующий его творчество. Иначе говоря — это образ поэта в его собственной поэзии. Этот образ — «двойной», иногда и тройной, даже множественный, например, в пушкинской поэзии. Поэт Пушкина — это веселый «Анакреон» лицейского периода, гражданин в «Вольности», «чистый» поэт в «Черни», и он же — «Пророк», а в «Египетских ночах» — это русский дэнди и итальянец-импровизатор; наконец, это сам автор — в лирических отступлениях («Евгений Онегин», «Домик в Коломне»).

Поэт польского романтика Красинского — одаренный, но бездушный, ни во что не верующий нарцисс. В противоположность Байрону Красинский это хорошо знает и оплакивает судьбу такого поэта. Граф Генрих в его «Небожественной Комедии» — фигура более трагическая, чем байроновский Манфред: он пеняет на самого себя, а не на других, не на общество, которое его не понимает. В этом смысле он отличается и от многих романтических бунтарей.

Поэт в поэзии Брюсова тоже упивается своим эстетическим эгоцентризмом. Для него всё в жизни «лишь средство для ярко-певучих стихов», а то, что за пределами искусства — ему чуждо, и он этим горд, он об этом не сожалеет подобно Красинскому. Блоковский поэт — пророк, тайновидец и в творчестве, и в жизни. Его маска поэта стала его лицом в литературном быту. Поэт в поэзии раннего Маяковского — индивидуалист, богема, а позднее пропагандист, трибун. Он тоже подражал *своему* поэту в жизни.

В очерках, посвященных этим поэтам Эрлих очень убедительно вскрывает то, что можно было бы назвать имманентной диалектикой поэта в поэзии, и при этом часто оперирует привычными представлениями об этом образе у Брюсова, Блока, Маяковского. Но есть немало новизны в его подходе к Пастернаку (а также к Пушкину, Красинскому). Пастернаковский поэт, пишет Эрлих, не проповедует, не изживает свою биографию в стихах, как это, очень по-разному, делал Блок и иногда Маяковский. По верному замечанию Эрлиха Пастернак отказывается от романтического утопизма, вдохновлявшего многих символистов и некоторых футуристов. Он со стороны наблюдает свои же собственные поэтические эмоции, которые «смецают действительность» (это определение самого Пастернака в «Охранной грамоте»).

Пастернаковский поэт, утверждает Эрлих, — *свидетель*, правда, не равнодушный, а сочувствующий. Он помогает эмоциям и стихиям выразиться в поэзии. О себе он мало думает, не изливает свои личные переживания. В этом, повидимому, заключается основная мысль Эрлиха. Он прав, хотя ему и можно было бы возразить, что в стихах Юрия Живаго, в особенности, в «Августе» заключена личная исповедь Пастернака — его восхищение, его боль, его прощание с жизнью, с поэзией. Но в целом — поэт Пастернака не эгоцентричен, а скорее космоцентричен. По его стихам нельзя было написать его биографию.

В заключение Эрлих говорит, что романтизм Пастернака особого рода — в его творчестве художественному произведению придается большее значение, чем художнику, или же — самой поэзии, а не мифу о поэте.

Эрлих, не переставая быть формалистом (или структуалистом), стал гуманистом. Его книга посвящена человеку. Но повторяю —

это не психологический этюд. Его герой — человек-творец, человек в творчестве, поэт в поэзии; и Эрлих вскрывает не только диалектику этого «образа», но устанавливает его функцию в структуре стихотворения, поэмы, во всем творческом мире поэта. Так, разбирая «Эхо», он говорит, что это стихотворение далеко не исчерпывает пушкинского подхода к творчеству. Пушкин не только *отзылся* на разные явления, но и реагировал на то, что привлекало его внимание. Он умел на всё откликаться, умел видеть с разных точек зрения (плурализм), но была у него и творческая заинтересованность в том, о чём он писал, была «вовлечённость». Эта антиномия, по замечанию Эрлиха, является конструктивным признаком пушкинского канона и в поэзии, и в прозе.

Вероятно, по соображениям тактическим, желая ограничить тему, Эрлих почти не касается вопросов стилистики, поэтики. Он, конечно, хорошо знает, что, например, у Пушкина разные образы поэта были подсказаны, даже предопределены стилистическими и жанровыми признаками. Пушкин-лицеист веселится, ибо избранный им жанр — «анакреонтический» (это батюшковская «легкая поэзия»). А его «Пророк» высокопарен, ибо того требует библейская тематика, торжественный язык церковно-славянской Библии, а также жанр оды. «Евгений Онегин» — роман в стихах, т. е. новый род поэзии, допускающий переходы от рассказа о героях к лирическим отступлениям, в которых появляется поэт, выражающий разные мысли и настроения. Но, конечно, самый выбор того или иного жанра, стиля — выбор личный. Выбирает человек, но творит поэт.

Другая реалия творчества — не формальная, а таинственная, мистическая, скрытый источник поэзии. У Пушкина это «сумрак неизвестный» или «темный язык» бессонницы. Иначе говоря, поэзия не только стиль, конструкция, организующие образы, идеи, но и тайна, чудо, что хорошо знал и Пушкин, хотя мистиком он не был. Вообще же — почти все поэты (в своей поэзии) часто говорят и о форме, и о тайнах творчества.

Конечно, в одной книге нельзя охватить все проблемы, связанные с образом поэта. В рамках своей работы Эрлих очень четко и убедительно обрисовал разные лики и личины поэта в поэзии Красинского и пяти русских поэтов. Очень интересны все его экскурсы в мировую литературу и культуру, начиная с Платона, и аналогии между разбираемыми им поэтами и Байроном, Китсом, Гейне или Диланом Томасом. Немало внимания уделяет он и образу поэта в прозе Томаса Манна.

В введении Эрлих часто ссылается на немецкую книгу Криса и Куцца «Легенда художника» и на работу голландского ученого Хойсинга об «Играющем человеке», для которого искусство — «священная игра». Эрлих этим определением пользуется, но критически,

как и другими источниками. Вообще же его книга многое выясняет в поэзии и стимулирует дискуссию по самым разнообразным проблемам искусства.

Некоторая поправка: на стр. 7-ой Эрлих говорит об отрицательном отношении к Вергилию в средние века. Но ведь в этом язычнике многие видели тогда пророка, предсказавшего пришествие Христа!

Юрий Иваск

«В ЗАЩИТУ БУДУЩЕГО»

Три года тому назад в Париже вышла интереснейшая книга — «В защиту будущего».* В русской зарубежной печати о ней почти не писали. А ее нужно отметить. Эта книга прежде всего необычна уже потому, что, собственно, в точном смысле слова она не была написана. Ее автор — французский инженер Луи Арман, выдающийся деятель Европейского Экономического Сообщества и первый президент Общеевропейского центра атомных изысканий для мирных целей, так называемого ЕВРАТОМ'а. Но Луи Арман не кабинетный теоретик, а человек действия. Это он реорганизовал французские железные дороги и добился того, что теперь французские поезда самые быстрые и точные в мире. Он был и вдохновителем Африканского промышленного бюро. А позднее — он один из руководителей идейного движения, которое играет все большую роль во Франции. Это движение издает журнал «Проспектив» («Взгляд на будущее»), вокруг которого объединилась та часть французской интелигенции и особенно молодежи, которая смотрит в будущее с надеждой и верой. В продолжении нескольких лет Луи Арман пропагандировал свои идеи в лекциях и докладах. И вот однажды постоянный его слушатель Мишель Дранкур сказал: «Из этих лекций надо сделать книгу». И он стал записывать лекции Луи Армана на ленту магнитофона. Так и родилась эта книга. В чем же основная идея Луи Армана, которую он неустанно повторяет? Он говорит:

«Мы вышли из статических веков и поэтому должны создать новые эволюционные и гибкие экономические, социальные и политические формы. Мы живем в эпоху быстрого изменения всего образа жизни большинства людей, в эпоху, когда лейтенант знает больше, чем полковник, потому что он окончил школу несколькими годами позже. Ничего подобного этой эпохе в истории еще не было. Без всякого сомнения, причиной этого переворота, является необычайный научный и технический прогресс. В двадцатом веке в нашем обществе техническая революция произвела радикальные изменения. Поэтому необходимо пересмотреть и наши социальные и экономиче-

* Louis Armand. *Plaidoyer pour l'avenir*. Calmann-Levy. Paris. 1961.

ские теории. Больше того. Техническая революция продолжается, все более ускоряясь. Мы должны понять, что мы вступаем в эпоху быстро меняющихся социальных структур».

Далее Луи Арман пишет, вернее говорит:

«Перед лицом этого факта мы должны признать окончательно устаревшими все идеологии, связанные с более несуществующими политико-экономическими условиями. Нелепо развивать и углублять теории мыслителей 19-го века, когда исчез социальный базис, эти теории породивший. Это такая же ошибка, как если бы мы старались после открытий Кеплера развивать древние космогонии, авторы которых несомненно бы сами теперь от них отказались».

«В 1830-ом году, — говорит Луи Арман, — максимальная скорость передвижения была 20 километров в час, теперь она превышает скорость звука. Или возьмем кривую мирового производства стали. В 1870-ом году — 4,3 миллиона тонн, в 1913-ом — 72 миллиона, в 1954-ом — больше 180 миллионов. Этому изобилию стали и энергии соответствует и растущее изобилие предметов ширпотреба, которое будет все увеличиваться с введением автоматизации».

Луи Арман стал одним из вдохновителей Европейского экономического сближения, так как он считает, что современное производство требует широких масштабов и больших рынков. Он говорит: — «Чтобы производить хорошие моторы, нужно производить много моторов. В век гигантов у Европы нет выбора — или объединиться или погибнуть».

Но новую, объединенную Европу Луи Арман вовсе не представляет себе, как какую-то замкнутую организацию, противостоящую всему остальному миру. Наоборот, по его замыслу это первый шаг к мировому объединению.

«На Западе, — говорит Луи Арман, — сельское хозяйство, ставшее научным, страдает от перепроизводства. С другой стороны, в экономически слабо развитых странах все еще массовое недоедание. Единственный выход — организация распределения в мировом масштабе. И это верно не только для сельского хозяйства, но и для всей экономики».

Но, защищая планирование, Луи Арман напоминает, что никогда не нужно забывать о необходимости равновесия между планированием и личной инициативой. Так, по его мнению, пример отставания советского сельского хозяйства наглядно показал, что планирование не может разрешить всех проблем.

Вот основные идеи Луи Армана. В свое время Поль Валери говорил, обращаясь к молодежи: «Задача заключается в том, чтобы сделать из вас людей, готовых встретиться с небывалым». Эти слова можно было бы поставить эпиграфом к книге Луи Армана «В защиту будущего».

B. B.

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1964 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 долл. 50 цент.

Во Франции — 8 франков.

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

**The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.**

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

**Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.**